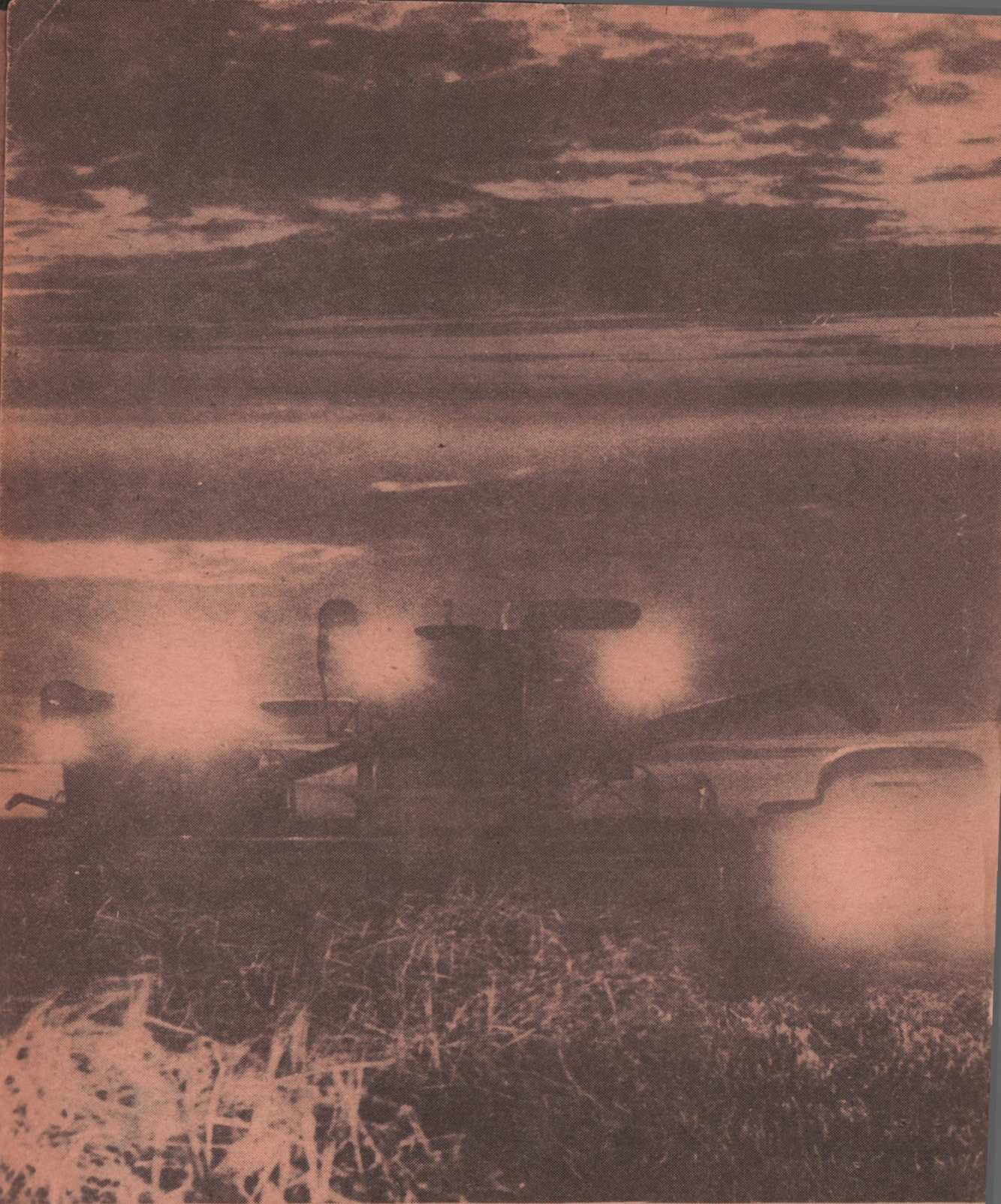


Д
АЛЬНИЙ
В **ОСТОК**

10

1976



Ночная уборка сои

Фото В. Пильгуева



Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ХАБАРОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОД ИЗДАНИЯ 44-й

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- Людмила Миланич** — НОВЫЕ СТИХИ: «РАЗМАТЫВАЕТСЯ КЛУБОК...», «ТОЛЬКО ВЫЙДЕШЬ В ЧИСТО ПОЛЕ...», В ГОСТЯХ, СКАЗОЧКА, «ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ В САД РОССИЙСКИЙ...», «ПЛАСТЫ ВОДЫ И ВОЗДУХА, И СВЕТА...», «МОЙ ОТЕЦ... ОН ВЧЕРА ОБЕЗНОЖИЛ...», «ПОТЕРИ. ПОТЕРИ. ПОТЕРИ...», «КВАРТИРА ПУШКИНА...», «ОПЯТЬ СУДЬБУ И ВРЕМЯ ПРОКЛИНАЮ...», «НЕЖДАННЫЙ АНГЕЛ ДНЯ ВОСКРЕСНОГО...», «ТАК РАССВЕТА...», «БЫЛ ЗАКАТ ТРЕВОЖНО НЕЖЕН...», «ОТ ЛИЧНОЙ ОБЫДЕННОЙ ДРАМЫ...» «ТЫ НАЗЫВАЛ МЕНЯ ЛЮБИМОЙ...», «НОЧНОЕ НЕБО - СЛОВНО ШАПИТО...», «РАСКРЫЛСЯ ПАРАШЮТ ЗИМЫ...», «КАК ХОЛОДНО НА СВЕТЕ!...», стихи 3
- Вячеслав Горбачев** — ЗА ДАЛЬЮ НЕПОГОДЫ, роман. Окончание 8
- Виталий Нефедьев** - ВЫСОКОЕ ЛЕТО: «ВЫСОКОЕ ЛЕТО...», «КАК ВЕСЕЛО СОЛНЦЕ ВСТАЕТ...», «В РАЗГАРЕ ТАЕЖНОЕ ЛЕТО...», «СРЕДЬ КЕДРОВ И ЕЛЕЙ...», «В РАЙОНАХ ОХОТСКОГО МОРЯ...», КОМСОМОЛЬСК, «ВНЕЗАПНО НОЧЬ БЫЛА НАСКВОЗЬ...», СОПКА ЛЮБВИ, АПРЕЛЬ, «ТАНЯ, ДОРОГАЯ...», «СНЕГОМ ПОКРЫТЫ ВЕРШИНЫ...», «СНЕГА УХОДЯТ. ТИХИЕ СНЕГА...», стихи 82
- Анатолий Липицкий** — ЗАПАХ СНЕГОВ, рассказ 85
- Николай Портнягин** - ДВА РАССКАЗА: ПРОСТОЕ ЗАДАНИЕ, САШКА ПЕРМЯК 99

ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

- Надежда Никульшина** — В МОРЕ — НА ПРОМЫСЕЛ 112
- Ефросинья Халилецкая** — ЖЕНЩИНЫ СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ.
очерк 120
- Арнольд Пушкарь** — СОЛДАТЫ БАМа, очерки Окончание 124
- Анатолий Малый, Василий Голубниченко** — ЗДЕСЬ ОТЧИЗНА МОЯ, очерк 128



ОКТАБРЬ • 1976



УГОЛОК КРАЕВЕДА

И. Меркушев - НИВХСКИЕ ТОПОНИМЫ	133
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
Ю. Бриль - ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО, ОТКРЫТИЕ НОВОГО	135
А. Москаленко - О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИШАХ	142
Н. Бутенко СЕВЕРНАЯ ЛЕНИНИАНА	144
И. Спивак - НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ - ДОВОЛЕНКА	146
Н. Митрофанов - ГЛАЗАМИ САМИХ АМЕРИКАНЦЕВ	149
КНИГИ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА ВОСТОКЕ	153
НОВЫЕ КНИГИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ	156
КОРОТКО О РАЗНОМ	157

Главный редактор Н. М. РОГАЛЬ

Редакционная коллегия:

В. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, В. М. ЕФИМЕНКО,
Н. Д. НАВОЛОЧКИН (зам. главного редактора),
В. Е. РОМАНОВ, В. М. САНГИ, П. В. ХАЛОВ.

Ответственный секретарь К. С. ОВЕЧКИН

Рукописи объемом меньше авторского листа не возвращаются.

Технический редактор *И. А. Лызова*. Корректор *А. Е. Москвитин*.
Адрес редакции: 680610, г. Хабаровск, Комсомольская ул., 80. Телефон 33 13-63.

Подписано к печати 23/IX 1976 г. ВЛ 00294.
Бумага 70X108/16. 5 б.л., 14 усл. печ. л., 15,68 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.
Заказ № 552. Цена 50 коп.

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Типография № 1 Краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.



«Дальний Восток», 1976

Людмила МИЛАНИЧ



НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Разматывается клубок,
И строчка тонкой нитью вьется.
Она выводит за порог,
Где кто-то плачет и смеется.

И, став антенны острием,
Она сердец биенье ловит,
Чтобы мое и не мое
Вернее выразилось в слове.

Крепка невидимая нить:
Я с миром связана навечно.
Нас с ним нельзя разъединить,
Пока мы пользуемся речью.

Пока наполнены слова
Живою радостью и болью,
Пока отпущены права
Мне пользоваться хлебом-солью.

* * *

Только выйдешь в чисто поле,
Небо рядом ощутишь.
Полон радости иль боли,
Травку каждую щадишь.

Чисто-чисто говорится
Здесь — без домислов и лжи.
Тот, кто в чине, не чинится:
Просто поле — просто жизнь.

И, как это чисто поле.
Где-то кончится она.
Чисто жить еще не поздно,
Лишь бы только не война...

В ГОСТЯХ

Что это было?
Чье-то рожденье?..
Руки в мозолях,
Дед пьяноватый,
И балалайки
Тихие струны,
И гости.
Глядящие виновато.
Что это было?
Преображение?
Высвобождение души

Из тела?
Голосом тонким
От напряженья
Бабка с ним
Плакала или пела.
Где это было?
Не в старой сказке,
Там вот такое
Случится едва ли:
Двое, что в жизни
Стеснялись ласки,
Так на прощанье
Заворковали.
Пели, как жили, —
Сквозь все невзгоды,
Не разглашая.
Что значит — счастье.
Кем они были?
Моим народом,
Моим уроком —
До смертного
Часа.

СКАЗОЧКА

Испекла баба
Колобок луны.
Кинула в небо,
Глядит со стороны —
Козырьком руку,
Другую — в бок:
То ли она баба?
То ли она бог?
Испекла баба печенья
Сто пудов —
Вот тебе и звезды.
Всего-то и трудов!
Из остатков теста
Слепила мужика.
Он еще печется,
Не готов пока.

* * *

Впервые в жизни в сад российский
Вступила я в начале дня.
Он нежным был и все же сильным,
Как будто только для меня.

Деревья мне шептали: «Слушай,
Нам было трудно: мы росли...»
И кулачки сжимали груши —
Смешенье неба и земли.

Казалось яблоко — вселенной,
В которой наступал рассвет.
И в нем тревожно и нетленно
Дрожали зернышки планет.

Я ничего не смела трогать:
Но бог ли это сотворил?
А вот и он, седой и строгий.
Калитку молча отворил.

И мне с мифического древа
Он сам сорвал познания плод.
Идет за садоводом Ева
И грустно яблоко жует.

А сад несколько не в обиде.
И так он солнцем напоен,
Что самый малый листик виден,
И от дерев исходит звон.

А сад, как дом, распахнут настежь:
Входи, дыши, смотри, бери,
И запасись надолго счастьем,
И им другого озари.

* * *

Пласты воды и воздуха, и света
Перемешав на грубом полотне.
Опять моя суровая планета
Себя прекрасной показала мне.

Над легкими осенними лесами —
Спокойный дождь, а в глубине его,
Рожденная родными небесами,
Нас радуга зовет на торжество.

В зеленой тьме травы, из душной влаги —
Огни грибов, как мордочки лисят.
И кленов пламенеющие флаги
Над всей землею празднично горят.

И я — живинка молодого мира —
Пытаюсь это навсегда сберечь.
Пусть передаст неповторимость мига,
Моя душа, переливаясь в речь.

* * *

Мой отец... Он вчера обезножил,
А так лихо, бывало, плясал,
И кларнет, словно шпагу без ножен,
Очень весело в воздух бросал.

И воспитанником муззвода
Он казался тогда мне опять.
Что в оркестре играл на разводах
И пытался стихи сочинять.

Сколько сыграно маршей и полек,
И симфоний, и легоньких пьес,
Сколько музыки — целое поле,
Сколько нотных значков — целый лес...

Черный вечер в больничном окошке,
Черный, словно привычный кларнет,
Светят клапаны звезд понемножку,
Только силы для музыки нет.

* * *

Потери. Потери. Потери.
Все ближе к последней черте.
А время — по нервам, по телу,
И силы, и годы не те.

А что остается? Бумага,
Садись — и любое пиши.
Отвага нужна лишь, отвага.
Чтоб все — от души, из души.

Чтоб вышло и честно, и прямо —
Сквозь боли, ошибки, бои,
Чтоб дочь моя, ставшая мамой,
Стихи вспоминала мои.

Чтоб — пусть безымянная — строчка.
Кому-то потом помогла.
Чтоб после сказала бы дочка:
Не зря она жизнь прожила.

* * *

Квартира Пушкина.
Ну, да — квартира Пушкина.
Не в гости — я в музей сюда допущена
А он ведь был неистово живой.
Молчу. Хожу с поникшей головой.
Вот книги. Вот кушетка.

Вот перо.
Года прошли, а горе не прошло.
И вдруг, нарушив всяческие правила,
Я, протестуя, что-то там расправила,
И стол его погладила рукой.
И выдворена...

Над его рекой
Стою, и он — не там, не в тишине, —
Он этот город возвращает мне.

Полет вот этих улиц над Невой —
Живой! Живой! Живой! Живой!
Живой!

А был и город мне
музейный зал,
Но Пушкин с ним навек меня связал.
Здесь для меня и камень мостовой
Теперь — живой! Живой!
Живой! Живой!

* * *

Опять судьбу и время проклинаю.
Опять дожидаться вечера спешу:
От спешки и усталости оттаю —
И, может быть, такое напишу...

Но только дню отсуеиться стоит,
Решаю я, что утро мудреней.
Вот так. Моя поэзия в простое
Уж сколько дней. Похожих сколько дней)

Ведь утро вновь берет меня за плечи.
И я вливаюсь капелькой в поток —
Спешащий, сумасшедший, человечный...
А может быть, лишь так и выйдет толк.

Когда живешь-живешь без перерыва.
Когда судьба твоя — с другими в ряд,
И строчки просветленья и порыва,
В свой час явившись, на листе горят.

* * *

Нежданный ангел дня воскресного —
Вошла ты, тихая, светясь.
Взметнулось белое над креслом,
Сложила крылья, напряглась.

Глядишь наивно и доверчиво
И ждешь, что все разобъясню, —
Как будто шар земной доверчивать
Умею я навстречу дню.

И тут же будет все разгадано,
И ты немедленно поймешь,
Что там в любви твоей неладного.
Где деготь в ней, а что в ней — мед.

Какая мудрость? Где там... Выучка!
Вот мир — владей и обживай...
Ах, до чего же славно выпечен
Сегодня солнца каравай!

* * *

Так рассвета
Развернуты плечи,
Так звенит
И зовет горизонт,
Словно жить надо
Целую вечность.
А иначе —
Совсем не резон!

* * *

Был закат тревожно нежен,
Над заснеженной землей
Самолетик наш железный
Поспешал к себе домой.

Заходящему светилу
Или ангелам в раю
Изо всей щенячьей силы
Пел он песенку свою...

Что вдруг хлынуло в оконце.
Перепутав все цвета?
То ли небо, то ли солнце,
То ли просто красота?

И в угрюмых нас и сонных —
Просидели день в порту —
Разглядело что-то солнце
Светлое сквозь маюту.

Каждый стал и юн, и розов,
И тепло взирал на мир.
В нас поэзия сквозь прозу
Пробивалась в этот миг.

* * *

От личной обыденной драмы,
От грустной осенней земли
Меня уносили упрямо
На крыльях своих журавли.

Полет их — не малость, а милость,
Далекое пенье трубы
Ко мне с высоты доносилось,
Как голос высокой судьбы.

Вчерашняя, стала я — давней
(Тогда — и бедна, и одна),
А нынче — распахнуты дали.
И Родина вся мне видна.

И люди понятней и ближе,
И боли чужие больней,
И мною не будет принижен
Высокий полет журавлей.

* * *

Ты называл меня любимой,
И падал дождик в тишине —
И это так необходимо
И недоступно было мне.

До этой праведной минуты,
Где не солгать, не повернуть,
Но почему-то, почему-то
Я продолжаю прежний путь.

Привычек сор, и годы... годы.
Куда идти? Чего искать?
И воля есть во мне, и гордость.
Себя бы мне не расплескать.

Тревожно, милый мой, тревожно,
Мир для меня лучист опять.
И все возможно, все возможно.
Себя бы мне не расплескать.

* * *

Ночное небо — словно шапито,
Но все всерьез — пусть даже неумело —
Я говорю и делаю не то,
Ведь никому до этого нет дела.

Здесь, в этом зале, только я да ты,
И дальних звезд расплывчатые лица,
А миг таких речей и немоты —
Он не спектакль. Ему не повториться.

Благословенно тихо на земле,
Чтоб ничего меж нами не разрушить.
Вселенная рождается во мгле,
Любовь переиначивает душу.

Об этом ничего не говори,
Мы до утра еще должны расстаться.
Да сбудется далекий свет зари,
Чтоб мы могли и жить, и состояться.

* * *

Раскрылся парашют зимы,
Земля под ним летит куда-то,
Но ту, тревожащую дату,
С тобою не забыли мы.

Тот год, тот город — все прошло...
Шел дождь, а мы почти летали,
Когда друг друга обретали
Себе во благо и во зло.

И я равнодушия, из тьмы,
С трудом друг друга узнавая,
К родной душе — душа живая,
Друг к другу потянулись мы.

Пусть вместе быть нам не дано,
Благословляю эту встречу,
Тот миг — во мне он будет вечно,
Хотя прошел давным-давно.

* * *

Как холодно на свете!
Какая кутерьма!
Чему вы рады, дети?
Ведь это же зима!

Навьюжено, накружено
На все века,
И белым понагружено —
Под облака...

Вот так вот я ворчала
На весь на белый свет.
Ребенок мой печально
За мною плелся вслед.

Как дети все, философ,
Хоть был пока что мал,
Суть данного вопроса
Он, видно, понимал:

При чем, мол, здесь погода?
При чем, мол, здесь зима?
В любое время года
Бывают свет и тьма.

А вслух сказала дочка,
Товарищ мой большой:
«А снег-то, мама, добрый,
Все будет хорошо».



ЗА ДАЛЬЮ НЕПОГОДЫ

РОМАН

VII

После ухода Малышевой и Одарченко из редакции, Скварский плотно прикрыл дверь. Чувствовал он себя неважно. Вроде бы ничего не случилось, и в то же время он не мог отделаться от ощущения, что допустил ошибку. Неприятный холодок подкрадывался к лопаткам, и руки не находили места. Юрий Борисович не сразу заметил за собой, что бесцельно перекладывает на столе гранки, то вскакивает и ходит из угла в угол по кабинету, и, крадучись, отодвигает с окна штору, высматривает кого-то на улице... Глупо. Кому понадобится следить за ним! А с другой стороны — забавно: они ушли, а он мечется тут, как в клетке.

На шее, на лбу проступил пот... Юрий Борисович задернул штору, вытащил носовой платок, промокнул голову, обтерся. Страшное сейчас не в Малышевой и не в Малышеве — наплевать на них. Но если узнает об этой истории Басов — ему останется только собрать поскорей вещишки. Хорошо, если отпустит по собственному желанию... Перспектива не из приятных. К Басову отмычек у него нет. И Гатилин, лапушка, не ринется из-за него обострять отношения.

После многих передраг Юрий Борисович привык наблюдать жизнь с холодным скукающим равнодушием, отчасти даже с презрением — «кино!» Он иронизировал над «героями суровых будней», понаехавшими сюда за деньгами, за славой, легкомысленное бабье — за женихами, и уж эти-то удовлетворялись сполна тут. Подавляющее большинство тут были люди, впавшие в романтику, готовые скормливать себя гнусу в расчете на то, что страдания и жертвы вознесут их к идеалам добра. Скварский уважал личность, но тогда, когда личность есть в человеке, скажем, с Басовым он считался, остальные же для него — мелкота. Они убийственно похожи один на другого.

Басов неглуп, но раздражал самоуверенностью, удачливостью, а более всего — узостью интересов. Он не понимал и не хотел понимать широты и сложности жизни, обилия тенденций, он был прямолинеен и категоричен, — пожалуй, единственный в Барахсане, с кем исключались всякие компромиссы. Алимужкин — квашня, бессребреник. Наивно честен, и будь у него жена, он бы отчитывался перед ней за каждый коробок спичек. Странно, как мог он ладить с Басовым: тот любит инициативные развороты, не предусмотренные директивами. Алимужкину же это нож в сердце. Эх, было бы у Юрия Борисовича время в запасе, он попытался бы столкнуть их лбами.

Роясь в карманах в поиске ключей, Скварский остановился перед железным шкафом, выкрашенным под цвет стен светлой охрой. В нижнем отделении сейфа хранились папки, привезенные еще с Карадага.

Самым пухлым было гатилинское досье, но хотеевская папка не тоньше, да и его, заведенная Скварским самим на себя, не уступала этим в объеме.

Юрий Борисович оберегал архив от постороннего взгляда. Кадровики могли бы позавидовать полноте собранной им документации, могли поучиться умению находить и систематизировать противоречивые подчас, но тем и ценные материалы. Однако можно ли научиться терпению из года в год сносить в одну нору анкетные листки, всевозможные справки, автобиографии, выписки из приказов, служебные характеристики, вырезки из газет и даже письма — все, что прямо или косвенно характеризует человека. Официальное мнение — фасад, как любил говаривать Скварский, — было представлено в его бумагах всегда полно, но с особой тщательностью отбиралась и хранилась за фасадом информация о всевозможных странностях и привычках, наблюдения характера, сводки проступков, сомнительных связей, — короче говоря, все от перечисления выпитых где-либо вин до сведений о разводах, уплате профсоюзных взносов и ссор с соседями. До намеков об отношениях его подопечных с прямым и вышестоящим Начальством. На каждой странице эта фактура была помечена Скварским соответствующим грифом: достоверно, подтвердилось, или более скромно — предположительно... Время от времени Юрий Борисович учинял в бумагах ревизии, проверял собственные прогнозы, но чаще оправдывались худшие предположения, — не те люди занимали места в жизни.

Перетряхивая сейчас архив и немного успокоившись, Юрий Борисович думал, что в теперешней ситуации его следует спешно перебазировать в другое место. Пожалуй, к Шурочке Почивалиной. Никому не придет в голову искать что-то компрометирующее Скварского в тряпках столовской поварихи.

Скварский отложил отдельно барахсанские папки. Отряхнув обшлага рукавов от пыли, он, не глядя, перекинул дела Коростылева, Силина, Одарченко. Поразмыслив, Анкино «дело» вернул назад. Кто его особенно интересовал — Елена Басова. Он перелистал анкетные данные, отзывы по работе. Самые нелестные для нее — за подписью мужа. Юрий Борисович давно обратил на это внимание. Что это, следствие щепетильности или чего другого?! Понаблюдав, он решил, что Елена ревнует Басова. В ее деле лежит почти чистый лист, на котором одна фраза, понятная лишь ему да Елене:

«А-а-а! Елена Ильинична и... Анна Федоровна?!».

Главное тут не в словах, а в том, как он — многозначительно, радушно-удивленно и чуть снисходительно — произносил их при встрече с Еленой. Довольно удачно получалось это и на собраниях, когда он приподнимался со стула и, неизменно улыбаясь, приветствовал ее:

— А-а-а, Елена Ильинична и... — поворачивался, шарил глазами по рядам, будто искал Одарченко, — и Анна Федоровна?!.

Как тут не понять, что Скварский, шутя или серьезно, но ставит обеих женщин в неразрывную связь. И Елена нервничала. Бледнела, краснела, дулась на него. Делала вид, что не замечает Скварского. Но капля камень точит...

Ладно, что там еще?! Басов с его безупречными данными — в сторону пока. Алимускин?.. Тоже смотреть нечего. Гатилин... Гроссбух! Чего в нем только нет. Попади папка к Виктору Сергеевичу, тот теперь и сам не поймет, где начала, а где концы его правды.

Одарченко...

С виду вальяжная женщина, а недотрога. Каждый, кто хотел бы поволочиться за ней, легко допустит, что другой (например, сам Басов!) добился успеха. А почему бы и нет?! И разве недостаточно на-

мека на интим между ними, чтобы Елену понесло, как на парусах. Ведь Елена вынуждена считаться и со своим положением, и с положением Басова. Бот тут, товарищ Алимешкин, и вам слово! Вы собираетесь представить Басова как героя перекрытия?.. Допустим. А герой то — бабник! Так как, Петр Евсеевич, с вашими принципами это согласуется? Скварский усмехнулся. Ничего... Но лучше, если Гатилин сам перехватит инициативу.

План был неважный, но давал Юрию Борисовичу хоть маленькую надежду: низверженный Басов для него уже не страшен. К тому же в датском королевстве не все благополучно. Гатилин ухватится за любой предлог, чтобы восстановить себя в правах. Аморальность на фоне морали должна заиграть! Тем более, что ему, Скварскому, терять нечего. Остается лишь создать такую очевидность, которая не потребует рассмотрения.

Листая дело Одарченко, он вспомнил, что где-то должна быть его запись о том, как Никита с Анкой вдвоем прошли на плотях. Случилось это еще до приезда Елены, и та, скорее всего, не знает. Ага, нашел! Юрий Борисович пробежал заметку глазами, задержался на концовке: «...так родилась в народе молва, что отважные сердцем, покоровшие Порог, нашли на Аниве счастье!»

Случай легко увязать с перекрытием. Перекрытие — повод, а преодоление Порога есть не что иное, как символическое покорение Анивы. Материал в номер... в набор!

Скварский, всегда старательно оберегавший от тряски свое округлое пузо, опрометью кинулся в цех. Печатница, заметившая его еще в коридоре, недовольно предупредила линотиписта:

— Вот отсохни мои руки, я больше переверстывать не буду.

— Пускай сам верстатку берет, — засмеялся тот, — а то до обеда не выйдем.

— Стоп, стоп, стоп! — Скварский подбежал к машине.

— Чего еще?..

Молодая рыжая печатница методично накладывала на барабан машины газетные листы. Шел внутренний разворот. Наружный она уже прогнала и теперь наставительно выговаривала Скварскому:

— Номер подписан, нечего теперь... Раньше надо было блох ловить.

Выключила мотор. Спокойно слезла с помоста. Глянула в зеркальце из кармана.

— Чухайтесь, Юрий Борисович, сами. Я свои часы отработала. Еще и поспать надо, а то с утра праздник, гулянье. — Она зевнула.

Скварский, наклонившись над набором, сердито сопел, изучая полосу. Прикидывал: если выкинуть клише в углу, а свой материал разверстать трехколонником, как раз ляжет в окно. И отлично смотреться будет.

Печатница стояла в дверях уже одетая, с сумкой в руке.

— Вы понимаете, как это называется? — строго спросил он. — Сорвете выпуск... Саботаж?!

— А еще начальник, — вздохнула она. — Никакого уважения к рабочей женщине. Зря грозите. Пишите, что ли, распоряжение на сверхурочную!

— Я отгул дам!

— А это само собой, по закону. Нет? Ну, как знаете...

«Уйдет, зараза рыжая!..» — Скварский оторвал от газетного сры-ва лист, стал писать.

— И его включайте! — печатница кивнула на линотиписта, тихого парня.

— Да я и так... — сказал тот, но Скварский включил.

Он ушел писать быстро, самозабвенно! Сейчас не до стилистических тонкостей, важно не задержать номер. А еще ведь гранки надо тиснуть, поправить, потом уж в печать... И Юрий Борисович спешил. Начало ему далось без правки, он лишь расставлял кое-где акценты: подчеркнул, что Никита с Анкой шли на плоту вдвоем, что ночь они одни провели в лесу, риск был сознательный. Остальное все чепуха. А чтобы автора не представили злопыхателем, он уберет собственные имена, оставит только инициалы, прибавит мажору, тогда от упреков легко отделаться: цените юмор, друзья! Уже предвкушая впечатление, какое заметка произведет на Елену, он незаметно отдавался во власть бушевавшей в нем страсти, чаще и чаще перечеркивалось написанное, подыскивались новые слова, чтобы весомее звучали намеки, и многочисленные отточия должны были сказать читателям больше, чем мог он позволить себе открытым текстом.

Редко кто видел Скварского в таком возбуждении. Если что-то не нравилось ему, он отваливался на спинку кресла, нетерпеливо ерзал, мучился, пока не находил наконец подходящее слово. Это был уже не тот человек, который час или два назад являл само благодущие перед столичной гостьей.

Но где-то в душе шевельнулось сомнение: стоит ли?! А дело-то сделано уже. Есть оттиск. И он успокоил себя: «Может, и малышевское сердце тронет вот такой вот конец Басова!» А тем временем пришел и его старый друг — Иванецкий, вызванный им по телефону, чтобы отнести свежий оттиск на гидрометеостанцию до прихода Елены — жены Басова.

Остается Шура Почивалина... Вот бы кого натравить на Елену, почище любой газеты подействует! Но не та девка, жаль. На испуг ее не возьмешь. Видала виды. А все-таки?! После глупейшей ссоры с нею накануне придется сыграть раскаявшегося грешника. Грешникам почему-то больше веры, чем порядочным людям. Да и она рада будет: ну-ка, сам пришел...

* * *

Из-за нагрянувшей внезапно шуги вода в Аниве убывала медленно. Никто не знал, совпадет ли начало перекрытия с намеченным сроком — на девять утра по-местному. Все меньше времени оставалось до намеченного рубежа, и то благодушное настроение, в котором пребывал Гаврила Пантелеймонович Силин, сидя в коростылевском вагончике и греясь возле буржуйки, заметно остывало в нем. Отгоняя тревожные мысли, Гаврила Пантелеймонович убеждал себя: зря, мол, волнуешься, сивый черт! Все как надо пока, все путем.

С улицы доносились неразборчивое бухтение Васи Коростылева и тонкий хохоток Любки. «Спелись уже, — с усмешкой думал о них Силин, — а дело договорить не дали». И вроде бы осудительно качал головой, вспоминая, как метнулся Вася селезнем на крик утки, услышав за вагончиком ее смех. То-то, что молодые.

В отблесках несильного, но жаркого пламени Гаврила Пантелеймонович смотрел на свои руки, загрубевшие и чуть припухшие. Ладонь у него крупная, широкая, как совок, широки тоже и пальцы с тупыми наклепками ногтей, битыми и перебитыми, но, бог дал, пальцы все уберег. Не один десяток машин ощущал ими, перебрал все внутренности, и, грех жаловаться, ни разу не подвели.

Мотаясь по стройкам, Силин приобрел много навыков, многое

знал и умел, и все, что знал, все, что умел, укладывалось в одно понятие — механик. Именно такой механик и был нужен Барахсану, а Силин собирался, надеялся еще и после Анивы поработать, но вот за руки свои теперь боялся — могли подвести: то ли пружина какая ослабла, то ли болт где отошел, — тешил он себя, — но, когда горячился, стали они выдавать его неумной дрожью, не сладить было. Кожа на руках от постоянного общения с металлом, с въедливым машинным маслом блестела свинцовым блеском, и оттого согнутые ладони были похожи на баббитовые вкладыши подшипников, неровные, изъеденные глубокими бороздами. Вкладыши такие он выбросил бы не задумываясь, но руки не заменишь, — какие есть, такие и беречь надо. Прежде не думалось, в молодости, в те дальстроевские времена, когда кожа пристывала к железу на пятидесятиградусном морозе, а он, мальчишка, выгрызал из барабана полетевшую шпонку. Руки побил, поморозил, зато его экскаватор, единственный на участке от Низовой до Верхнего Выдыбая, остался в строю и прошел трассу в срок, к 21 декабря.

Время тогда летело быстро, не замечалось как, — это вот сейчас можно посидеть у печки, погреться, пождать. Или оттого кажется так, что поизносился он, немного устал?! И то, старому мерину за молодыми жеребцами не угнаться. Но приятно все же сознавать, что этот час на Аниве, один из немногих в твоей жизни, когда все удалось, все готово к началу больших работ. Гаврила Пантелеймонович как бы со стороны посмотрел вокруг, понимая, что необходимая, нужная работа — как и прежде, как и всегда — идет, только не он в эту минуту главный работник: работало время. Оно несло Барахсан, строителей, силинские машины и его самого к той отметке, где должны были сойтись человек и Анива.

— Да-а, это будут скачки, — добродушно проворчал Гаврила Пантелеймонович.

Резкий звонок телефона заставил Силина разогнуться, он недовольно посмотрел на дребезжащую коробку аппарата, поднял трубку. Говорила Валька Гордеева, дежурная по метеостанции. Тоже, проснулась когда, кукла: шуга идет, шуга!.. — передразнил он. Бестолочь, вертихвостка, не спросила даже, кому докладывает, а все туда же, за большими — губы красить, шиньон, на сцену первая. Отчитав девушку, Силин занес в журнал ее показания. Шуга пока перла, и черт знает, сколько набралось ее там, на Верхнем озере! — узнать бы, да не у кого спросить.

Отметив на полях время Валькиного звонка, Гаврила Пантелеймонович решил, что ему пора. Захлопнув журнал, попутно сунул в карман коростылевское курево, нахлобучил на голову изрядно потертый пыжик. И только он к порогу — навстречу Вася Коростылев, грудь по-бородулински — нараспашку.

— Что заполошный такой?! — спросил Силин.

— Да дела... — махнул Коростылев, а сам шаст-шаст глазами по столу. — Гаврила Пантелеймонович?!

— Ась?... — смеется тот.

— Ты, что ли, курево прикарманил?! Вот охотник.

— А на что оно тебе? — Силин нехотя отсыпал из пачки несколько сигарет, хотел оставить их себе, а пачку Коростылеву, но передумал, сделал наоборот. — На, хватит тебе этих! Я бы с девкой — дак и без курева обошелся!

— Я бы... Ты бы... Может, мне человека угостить надо!

— Любку?! — изумился Силин. — Я вот сейчас ей нашлепаю по губам!

— Тише, тише... — Вася испуганно перегородил дверь. — Шуток не понимаешь.

— А-а... Испугался. Ну то-то мне... — И уже серьезно: — Погоди-ка! Да успеешь, не убежит твоя Любка. Ты слышал, что ребята мои Бородулю забраковали?

— Как так? — думая о Любке, не сразу сообразил Коростылев.

— К перекрытию не допустили... Рвался и метался малый, а они его срезали.

— Знаем, как он рвался... на арапа! Ты жалеешь?

— Он меня после собрания за грудки взял. Я, дескать, старый хрыч, ему все подстроил. Ну, ты ж меня знаешь. Он — заявление, я подмахнул. А сам вот сижу ночь, думаю. Ведь за битого... Ты его приголубь, а то он, как шальной, ходит. И мужик-то неплохой, только дурь из него трошки повыбить! Я бы сказал, что ты не против, а?!

Коростылев, торопясь на улицу, вздохнул.

— Ладно, скажи. Но под себя копаешь, Гаврила Пантелеймонович! Если Бородуля у меня будет, не видать тебе первого места.

— Небось, — отлегло у Силина, — я Гиттаулина против него поставлю, он свое возьмет.

Они вышли из штаба вместе, Василий как-то опередил Силина, и Гаврила Пантелеймонович услышал с другой стороны вагончика капризно-недовольное Любкино: «Ну где ты там запропастился?» С характером. А вообще эта девушка хорошая, самостоятельная, хоть и рыжая, и хохотушка. Да не болтушка, не пустомеля, а-а! Не то, что та пустышка со станции — Валька Гордеева. И скажи, как нарочно, гусь ей в пару подобрался вполне подходящий — его же техник — Эдька Перчаткин. Тому бы, правда, только в перчатках и ходить. Делец! Каких ма-а-ло. «И почему это все несерьезные ко мне липнут?!» — удивился Силин. — Что Перчаткин, что Бородулина взять... Видно, вьедливый я стал, как свекор, — решил он, — оттого такие и попадаются».

На приделанном к вагону крылечке он громко обил о перила рукавицы и, когда выглянули сперва, а потом и вышли к нему Василий с Любкой, сказал им:

— Молодняк! Шли бы греться пока, а то и дровишек подкинуть некому.

Сойдя с крыльца, добавил Василию:

— Значит, договорились! А я, если что — думаю на карьер смотреться.

— Вы бы в колонну заглянули лучше, Гаврила Пантелеймонович, — посоветовала Люба.

— Что так?

— Как бы не забаловались ребята, праздник ведь.

— Но-но! Все-то ты знаешь, воструха! Ладно, Коростылев, я, значит, в колонне... А тебя, — посмотрел он на Любку, невинно тарашившую зеленые зенки, — попрошу: зайди, пожалуйста, утром к Клавде Пеговой, возьми у ней «Беломору» на мою долю, пачки три, а то когда сам-то в поселок вырвусь. Денек светит горячий.

— Будет сделано, товарищ командир! — засмеялась Любка, поднося руку к платку, из-под которого выбились короткие огненно-рыжие волосы. «Пук соломы!» — подумал Силин. Не мог он смотреть на эту девку — огонь! — и не улыбаться. Однако и у Коростылева губа не дура.

...Автоколонна да и все хозяйство Гаврилы Пантелеймоновича с самого начала строительства было вынесено за черту поселка, располагалось за сопками, покрытыми редколесьем. Гравийно-асфальто-

вая дорога, по которой шел Силин, от створа плотины вела сначала к северному склону скалы Братства, а потом разветвлялась на две: одна круто забирала в гору, к центру Барахсана, другая — низом, по подножию сопки, к его владениям. Эта ветка давала еще два отвилка: на бетонный завод и к каменному карьере. Завтра на них будет жарко от самосвалов. Заходя, не ожидая решения штаба, Силин распорядился подновить дороги. Он знал, когда на спине четвертак, машина должна идти как по зеркалу. Поэтому ремонт произвел основательный: продрал полотно грейдером, заново отсыпал подстилку, уклоны и виражи залил битумом с крошкой и на трамбовку поставил тяжелые катки. Ни от кого не ждал он за это спасибо, но и не ждал, что напорется на скандал, когда Виктор Сергеевич Гатилин потребовал прежде покрыть асфальтом управленческий двор. Гатилину шикануть хочется, вертолеты туда, чтобы провести гостей по ковровой дорожке от трапа до двери своего кабинета, а Силин так и сказал: «Раньше надо было, Виктор Сергеевич. Теперь, пока на путях марафет не наведу, катки не сниму, не дам!..» Он ли не представлял, что, когда начнется штурм, все как один орать станут: «Давай! давай!», а по колдобистой дорожке не разгонишься, дорогой товарищ. Можно, конечно, плюнуть, давить на шоферскую совесть, на психику, но лучше не надо, у ребят перед перекрытием нервы и так на пределе.

До Басова, слава богу, не дошло, но Алимускин обоих отчитал: Гаврилу за крик, Гатилина за недоразумение. Ну не зуб же им за зуб! А дорогу Силин сделал наять.

Со стороны поселка слышались визг, истошные крики девок, которых тискали под шумок храбрые в темноте парни, не боясь, видно, схлопотать лишнюю оплеуху, и все это сопровождалось топотом ног, гиками, будто катила с горы лавина и мало им было ровной дороги. Гаврила Пантелеймонович вовремя посторонился — ватажников пронеслось человек десять-двенадцать, молодец к молодцу, и все — бетонщики знаменитой на стройке мамаевской бригады, а с ними и девчонки-бетонщицы из бригады Надьки Капустиной. Однако девчата обставили мамаевцев к перекрытию, те вон и на игрище смириться не могут.

— Да вы бы ни за что нас! Это мы сами... — слышит Гаврила Пантелеймонович запоздалое оправдание бригадира дружка Колки Соколенка, пожалуй, самого писклявого паренька в Барахсане. А в ответ снисходительный — взрослый! — смешок Надежды, подхваченный подругами, и слова ее:

— Ну да! Вы как рыцари первенство упустили... Мы так и поняли. Ха-ха-ха... девочки, слышите?

Девочки тоже: ха-ха-ха.

А Колян молодец, не растерялся:

— Смейтесь, мы даже рады, а то думали, — вы не поймете, не оцените!

Им бы друг к другу с уважением, с почтением: а какой у вас секрет, уважаемая Надежда Григорьевна, как это вы сумели во главе слабого пола нам нос утереть? И тому подобное. А то никакой гордости у мужиков. Хотя бы на простой спирали, машин, мол, раствору не было, а они...

И, осуждая мамаевцев и Соколенка, которым только что восхищался, Гаврила Пантелеймонович вздохнул, заворчал по-стариковски:

— Бабий век наступает! Эти уже там учат, там впереди, где серьезного мужика вовек нельзя было обойти — на бетоне! Надо же...

...Пролетела сломя голову одна стая — будто голуби, поднятые заполошным свистом, глядь, уж и другая вдогонку — порскнули, чи-

рикакая о своем, девчонки-отделочницы. После них Гаврила Пантелеймонович уже не думал о тишине, все шел народ. Мало кого не узнавал он по голосу, еще реже встречались такие, кто не знал главмеха стройки — простоватого да с хитрецей, и поклонам, и приветам не было конца. Прошли взрывники и бурильщики — самые степенные вроде, уж эти-то зря не забалуют, а тоже с музыкой. И откуда у них мода такая? Понацепят блестящих ящиков — магнитофоны, транзисторы — и глушат ими друг друга. В выходной день от их музыки спасу нет (на Ломоносовском проспекте и не показывайся, оглохнешь от твистов), так теперь еще дорогу оккупировали. Пожалуй, они своей музыкой перекроют Аниву. Ну, не цыганское ли племя?!

И все-таки, хотя и ворчал старик, он не серчал. Радостны и веселы люди не с гулянья и не с похмелья, а от праздничного чувства, которое далось им с нелегкой работой. И жизнь у них впереди ясная, и, может, не раз еще погордятся и перекрытием, и плотиной, и городом, построенным ими на мерзлоте.

Старый механик не обольщался мыслью, что, может, и его имя запишут в скрижали истории. Честь, понятно, великая, да ведь это же надо признать себя лучшим из всех. На такую смелость какую же совесть иметь! А история и сама отсеет сделает поименный: кого с большой буквы, кого с маленькой. Он за молодых рад. К старости, когда заблестят седины, слава не так греет, как этот морозчатый полярный утренник и хлопотный, с криками до хрипоты, с ревом и копотью самосвалов, скрежетом железа и камня сентябрьский денек.

Встретились Силину горбоносый молчун Саня Серебриков, архитектор, в обнимку с дружком своим Валентином Бескудиным, поэтом и футболистом, а уж потом по совместительству чертежником. Тоже на Аниву ни свет ни заря, тепленькие оба.

— А-а-а, Гаврила Пантелеймонович! — Бескудин раскинул руки, пытаясь обнять Силина. — Покорителям! Наше вам с кисточкой.

Надув губы, проиграл туш, перешел на стихи:

Во всей красе Анива встала,
Бушует бешеный поток...

— Ты, малый, совсем зарапортовался, — нахмурился Силин. — Поддатые уже...

— Ну а как же! Саня, подтверди!

— Саня, Саня... Ты вроде в себе, — сказал Силин Серебрикову, — веди-ка его домой, нечего народ баламутить. Гулянки после справлять будем.

Бескудин пошатнулся, и Серебриков подхватил, поставил его, как сноп, чтобы не качался.

— Слышь, Валь, — предложил он, — а правда, рано мы с тобой... Пошли назад?!

— Т-с-с-с! — Бескудин приложил палец к губам и подмигнул другу. — Вперед, не отставая от масс!

«Ну, баламуты...» — покачал головой Силин, уходя от них. Валька Бескудин простак, стихами балуется. Иной раз, правда, слово скажет — так на нем хоть терем клади, а другой раз язык как помело... Серебриков посерьезнее мужик. Как стал Гатилин народ отсеивать, кого поближе к себе, кого подальше, Серебрикова по правую руку. Зачем бы?! А затем, что Сане на ВДНХ медаль дали за «баллон» — круглый стадион под стеклянным колпаком, под ним и зимой ковер зеленый. Но Виктор Сергеевич решил весь город под колпак спрятать. Еще бы: самый уникальный в мире. Заполярье, минус пятьдесят, а под стеклом вечное солнце! Пальмы, лужи с морской водой и

все прочее. Сане это не по душе, но куда там, Виктора Сергеевича уже понесло. Помчался в Норильск, там ему на один стеклянный дом проект сделали, но ребята осторожные, говорят: попробуйте... А ему одного стакана мало, полетел — с красноярскими «химиками» договорился. Тем, что, самим не жить, — на тебе колпак на город! — и выдали документацию. А когда в клубе стали обсуждать — народ его колпак на смех поднял. Соответственно, и партком за строителей, и Саня Серебриков постарался... Гагилин с той поры на дистанции с ним, а Серебрикову хоть бы что, работает, клепают дома, от своего порядка не отступил.

...Все больше светало, блекла звездная чернота ночи. Налетал сухой, порывисто-тягучий ветер, рвал лоскутами воздух, растаскивал по небу тучи, и трещала в придорожных кустах рано зачервивевшая подмороженная листва. Завивался песок с обочины, змейчатыми струями переползал дорогу, и казалось, что джазовые мелодии из транзисторов вплетались в него, как ленты в косу. Кое-где песок закручивался и поднимался столбом, — обойди стороной, чтобы не секло глаза.

А народ шел и шел. Силина узнавали издали по тяжелой осанистой фигуре, по неспешной — в гору — походке, по скрипучим кирзовым сапогам с подковами, высекавшими искры, по надвинутому низко на лоб пыжику, и он, степенно приподывая шапку, отвечал со спокойным достоинством, кивал, улыбался, шел дальше.

— Никак Гаврила Пантелеймонович? — остановил его знакомый голос. — Доброго утра, товарищ начальник, а вы уже с прорана? Перекрыли втихаря, а теперь по домам расходитесь?

— Ну да, штанами! — отбрехнулся было на ходу Силин, но остановился, узнав своего из колонны — Веретенникова.

Домосед, не ожидал встретить его, а он еще и с женой. У Марушки, как всегда, рот подсолнухами забит. Веретенников в дорогой обнове — кожаный реглан, сам стройный, румяный — прямо в журнал на обложку такого, жаль только, не ударник, середнячок. Ан и Марушка хороша, — Силин приподнял шапку, здравствуйте и вам, работнички, — шелком переливался на ней белый полushалок с цветками, с рассыпчатой бахромой по плечам, поверх черной плюшевой жакетки, уже не модной теперь.

— Что, Марья, — усмехнулся Гаврила Пантелеймонович, — от плюшки молью несет, или первый раз после свадьбы надела?

— Дак она еще годная и теплая совсем... — не обиделась та.

— Говорил я тебе: надень болонью сверху! — нахмурился и с мужней строгостью попрекнул Веретенников. — Ходи теперь с тобой, чучело огородное.

— А и не ходи, больно-то надо! — засмеялась. — Я с Гаврилой Пынтелеймонычем отверну. Вы в колонну, Гаврила Пантелеймонович, или на механизаторский участок?... — и бочком к нему, бочком.

— Ты, Маруся, иди. На Аниву ведь! Да не вертись при муже, а то провертишься.

— Мне-то ваша Анива, — обиделась Маруся. — Я б ее подолом перекрыла, захотеть только!

— Видал?! — восхищенно переспросил Силина Веретенников. — О, баба! Завелась уже, теперь не остановишь! Пошла, пошла...

Маруся, виляя широкими бедрами, резко тронула от них, как трактор, но шага через три затормозила, прислушиваясь.

— Баба у тебя — золото, — согласился Гаврила Пантелеймонович, — ты ее только оберегай, не спускай с рук, а то подол-то у них, правда, широкий.

— Ничо! Нам бы Аниву перекрыть, а уж там я задам ей... Три шкуры спущу, если дурить вздумает.

— Ну, разогнался на ровном месте. Переключи скорость! Машина — и та хочет, чтобы с ней ласково обращались, а ты... — Гаврила Пантелеймонович удрученно махнул рукой.

— Я та-ак, к слову, — улыбнулся Веретенников, — я гайки не перетяну... А вообще-то остратку время от времени давать надо.

— Как там в колонне, не слыхал? — перевел Силин на беспокоившее его.

— Да откуда там быть чему, ларьки закрыты, — неискренне удивился Веретенников, опуская глаза и спеша пожать Силину протянутую руку.

«Вроде и так, — подумал Силин, — или боится сказать, если бедокурят...»

Дорога с подъемом — вроде не крут, но для немолодых ног чувствительно. После развилки особенно тягостно: народ стороной шумит, а одному идти — только думы ворошить. Гаврила Пантелеймонович приостановился на минуту, вглядываясь в горбатую вершину сопки, которую он обходил низом. Покрытая жиденьким редколесьем, она ершисто прорисовывалась на темном фоне, слабо подсвеченном огнями Барахсана. Тут тихо, не мешал транзисторный шум, даже гул водопада доносился сюда глухо, да и то, когда ветер дул с юга.

Сквозь реденький кустарник впереди запросничивали огоньки в окнах конторки. Что там его дежурные? Забивают поди козла или в карты режутся... Только бы не водка.

Заволновавшись, Гаврила Пантелеймонович на ходу вынул из кармашка пачки сигарету, привычно прикрыл в пригоршне огонек спички, закурил. Ему оставалось обогнуть чертов палец — действительно «палец» — столбом выпиравший из земли голый базальтовый стержень диаметром в несколько метров, а там и рукой подать, шагов четыреста или пятьсот до ворот автоколонны. Ворота никогда не запирались, только на ночь навешивалась на них на крючьях побрякушка — цепь, тоже в общем-то ненужная, но для шоферов без нее гараж не гараж, — с материка еще привычка.

Глухой нарастающий гул за поворотом дороги насторожил его. Брызнувшие светом фары грузовика полоснули по лицу, он ошалело кинулся с дороги в сторону, сообразив, что зазевался, а самосвалище с рыком проскочил мимо. Поднявшимся воздухом выбило из зубов сигарету, и она закрутилась в убегающем потоке, рассыпая искры, и долго еще не гасла.

«Да что ж это такое, — подумал Гаврила, — кого это понесло, куда?!»

Над кузовом громадилась глыба, из тех, что были приготовлены к перекрытию, и, как только он понял это, стало ясно, что пошли первые, стоявшие на линейке готовности самосвалы. Началось, значит... Что же остальные медлят, чего они копаются там, копуши!

Гаврила Пантелеймонович сам не заметил, как побежал к гаражу, и только возле ворот сильная одышка подкосила его, ноги сделались ватными, и он, ковыльнув, едва дотянулся, повис на скрипучей решетке, чтобы не упасть, перевести дыхание. А во дворе колонны шла непонятная суета вокруг машин. Он слышал матюки и злую перебранку, пронзительные, по-бабьи визгливые окрики дежурного техника Перчаткина и не мог еще подойти к ним — держало сердце, и не мог понять, что происходит.

— А я говорю, сидите и не р-рыпайтесь! — размахивал руками Перчаткин, отгоняя водителей от машин.

«Кто же умчался?..» — пытался догадаться Силин. Он наконец справился с собой и осторожной походкой, почти на ощупь, вышел из темноты в освещенный круг под лампочкой возле конторы, резко глуховато спросил:

— Что случилось, кто уехал?!

И тут же, чувствуя прибывающую к ногам твердость, не останавливаясь, прошел в контору; шоферы, гудя, гурьбой за ним.

— Машину угнали, — срывающимся голосом доложил Перчаткин, — сейчас только...

— Кто? Зачем?!

На столе валялись разбросанные как попало черные костяшки домино, а на самом краю лоснилась зеленоватым покатым боком распечатанная, но вроде, не начатая еще бутылка спирта. На тумбочке напротив стояли граненые стаканы, желтые от чайной заварки. «Значит, не пили», — отметил он про себя, но вслух с укором сказал:

— Пили?!

— Да что вы, Гаврила Пантелеймонович. Любой вот пусть дышит... Это все Бородулин... Приперся, говорит, с праздничком... Сам бутылку, мы молчок, отказываемся. А он тут: на спор, что я Аниву перекрою! Мы его в шею, домой иди. Посопел, стукнул дверью, а погода рр-ры-ры, р-ры-ры... — выбежали: машины нет.

— Он у нас главный камень спер, — добавил кто-то к словам Перчаткина.

— Какой еще главный?

— Какой-какой... «Заткнись, Анива!» — отозвался все тот же сердитый голос, и Гаврила Пантелеймонович, думая об уехавшей машине, пытаясь разгадать, что задумал Бородулин, к чему это приведет, машинально отметил, что не узнает говорящего, а переспрашивать не время.

— Не «заткнись», а «покорись!», дура, — поправил Перчаткин и виновато добавил, для Силина: — Они вдогонку за ним хотели, а я не разрешил. Только шум поднимают.

— Правильно, — заметил Гаврила Пантелеймонович с полным равнодушием, хотя сказать ему хотелось другое — лопухи! Однако действительно гонка по трассе наделала бы бед. Возле Анивы сейчас не протолкнешься, все на мосту. И Бородуля на мост поедет, чтобы все видели, — в кузове-то симфония: «Покорись, Анива!» Ох, и любит фокусничать малый, так его перетак! И казалось Гавриле Пантелеймоновичу, что судьба камня занимает его сейчас больше, чем судьба Бородулина, но одно было неотделимо от другого. «Донянулись!..» — подумал он о Бородулине и о себе тоже, а рука сама потянулась к кнопке вызова на панели селектора. Глядя, как нервно помигивает зеленым глазком лампочка, он боялся, что Васи в эту минуту не окажется в штабном вагончике.

В динамике раздался треск и спокойный голос Коростылева:

— Штаб слушает. Коростылев, — назвался он и тут же спросил:— Это ты, Гаврила Пантелеймонович? Я сдал дежурство. Заступила Одарченко, пошла посмотреть уровень... Не нравится ей шуга, — он усмехнулся. — Я думаю, лед проходит. Ну, а как у тебя, порядок полный?!

Гаврила поднял руку — знак обступившим шоферам, чтобы не перебивали, и, облизав пересохшие губы, поднял микрофон.

— Вася, — он прокашлялся. — Тут, Вась, у меня ЧП... Бородулин самосвал угнал, видно, перекрывать будет. В общем, погнал к прорану. Панику там не порите, вот что. А то, бешеный черт, людей подавит.

— Та-ак... — произнес Вася. — Что ж делать?! За передок его не ухватишь.

— Я думаю, он на левый банкет пойдет, чтоб его как на ладони все видели.

— Допустим...

— Ну вот и включи полное освещение. Пусть посмотрят на дурака! А может, он один и перекроет, а?!

Коростылев облегченно засмеялся:

— Ладно, мы ему устроим люминесценцию.

VIII

С вечера Шура Почивалина прибралась дома, как перед праздником, но все чувствовала, что недовольна собой, — то не так сделала, и это бы надо иначе как-то, — на самом деле скрывала от себя и боялась, что придет Юрий Борисович. Как подумает о нем, сердце так и захолонет, будто предчувствие какое томит душу. Уж не поспешила ли она, указав ему, где дверь? Если разобраться, так-то он мужик ничего, — думала она, — терпеть можно, если б по закону, да не пугал бы, что вот разойдемся, вот брошу... Законных тоже бросают... А кобеля и на цепи не удержишь, не то что бумажкой с печатью. Вся же беда, что нет, не было у нее другого подходящего человека, кроме Скварского, от этого она и держалась за него, а так бы...

Еще в, первый раз, когда Шурочка по своей воле и скорее из любопытства сошлась с Юрием Борисовичем, уступила пьяненьким приставаниям, верно угадав бабьим чутьем, что он придет к ней не раз, она уже и тогда не сомневалась, что забава ему и только. И что бабник он — тоже поняла, у бабников-то рожа всегда масляная, да вот польстилась, не отогнала сразу, не отватила.

Зябко, неуверенно она тем обнадеживала себя поначалу, что считала его умным. С таким не добра, дак ума нажить можно. А ей притом очень хотелось вернуться с Анивы в родные свои Красные Дворики на Смоленщине женщиной обходительной и с культурным супругом, чтобы ахнули деревенские: не иначе, мол, директора или завхоза Шурка Почивалина отхватила! Вот тебе и лындра голоногая!

Со Скварским ей, конечно, Красных Двориков не видать.

Сколько уж она ошибалась в людях, а никак не могла привыкнуть делить их на плохих и хороших. И Юрий Борисович учил! Дух захватывало, когда она пробовала проворачивать тяжеловесные мысли Юрия и они не рассыпались на отдельные слова, а сходились, как намагниченные, к чему-то важному, уже тем притягательные, что касались не только его или ее одной, а были как бы обо всех людях сразу. И она гордилась Юрием Борисовичем так, как если бы сама поднялась до его высоты.

Познакомились-то они смешно. Открыли редакцию в доме напротив столовой, и, пока они там налаживали свое производство, кто-нибудь из газетчиков (только не Скварский) ночь-полночь прибежал в столовку: «Александра Михайловна, пожевать нечего?..» Она давала, потом уж привыкла — чего послаще готовила, ждала. В одну ночь отчего-то не идут. Свет, смотрит, горит, а не идут... По простоте душевной сама к ним. А у них там праздник, газету печатают. Там еще Валька Бескудин был, поэт, его стихи напечатали на первой странице, и он прочитал их Шуре, она до сих пор помнит некоторые строчки. Так этот черт заметил у нее в кармане фартука карт колоду, пристал: погадай да погадай. Только разложила, а тут Скварский. Шура смешалась. Да и остальные стихи. Он обхватил рукой подбородок, и,

довольный и смущением их, и тем, что номер выйдет к утру, задумчиво обратился к Шурочке:

— Ну, старая, гадай! Тоска мне сердце гложет, —
Веселой болтовней меня развесели
Авось твой разговор убить часы поможет,
И скучный день пройдет, как многие прошли!..

Она не знала, не поняла сразу, что это стихи, смущенная и замороженная сладкой складностью его речи, и совсем не обиделась, что назвал ее старой, только удивилась:

— Чего ж вам скучать, когда у вас свой праздник.

Скварский засмеялся, выставил из сейфа коньяк, и снова стало хорошо всем и весело...

Он любил рассуждать, что счастье зависит от случая, сами люди ни черта не значат. Выходит, прыгай не прыгай, а все как рыба об лед. Была Шурка непригодный элемент, такой и останется. А ей ведь хотелось быть лучше, и она старалась. Пусть не получилось еще, но получится. Человеку нельзя, чтоб он не верил в себя. И Шурочка открыла свои сомнения.

Он выслушал терпеливо. Удивленно. Подобных речей не слышал от нее раньше. Подумал. Поморщился. Усмехнулся.

— Для начала ничего, Диоген в юбке...

— Ты про что?! — переспросила она, будто не расслышала, стыдясь сознаться, что не поняла одного слова.

— Про достоинство, — произнес он, как бы жалея, что приходится объяснять ей простые истины. — Вот приедет, к примеру, на перекрытие министр. Ты его накормишь своим отменным комплексным обедом. Допускаю, он попросит то-ва-ри-щей. — вразяжку и с улыбкой сказал Юрий Борисович, — познакомить вас. И пожмет тебе руку. Но хотел бы я видеть, как он в Москве — остановит для тебя свою карету с синими шторками?..

— Больно-то нужна мне его машина.

— А-а-а!.. — протянул Скварский и зареготал.

— Чего «а-а»?! Ржешь! В Москву-то я поеду по магазинам шагать, а не с министрами якшаться!

Она уже и пожалела, что навязалась на разговор. Разве хитро Шурку Почивалину переговорить?! Сам-то в словах, как шелкопряд в нитке. Рот раскрыла — дак сразу и не хороша, «Диогеном» обозвал... Что ж это такое, спросить у кого, хоть у Анки. Автоген, что ли, какой новый?

Сравнивать повариху с министром — дело не умное. Тот как-никак при власти, в государстве командует, миллионами ворочает, и, небось, какие повара его кормят, — дак и их есть ли время по Москве-то катать?! Катали б — дак и дело не шло, а то вот — обживаются на всех местах, строятся — и на материке, и в тундру явились... Почему ж Юрию неохота понять это, ай так трудно?

А намерении опять она не стерпела, дернула ее обида за язык, когда он походя бросил, что они вместе, мол, до поры до времени.

— Неровня, да?! — напрямик спросила она, как будто уличила его в чем.

— Ну-у... — Он пожал плечами, предоставляя ей думать, как за-благорассудится.

— А когда деться некуда, дак тогда все можно, все дозволено?

— Да, Шурок, да, — засмеялся Скварский, зная, что когда Шурка спрашивает, значит, ей просто интересно и зла на сердце нет.

— Да не зови ты меня «шнурком»! — вскипела она не столько от

его слов, сколько оттого, что не видела ничего смешного. — Просила-просила, надоел! Что за ласка — Шнурок?.. — передразнила она его прононс, и он сконфуженно заерзал подле. — Скажи — Лександра! — поучала она, — и то лучше. А то сперва «шнурок», потом к ботинку привязывать, а там недолго и под подметку залететь, с таким-то ухажером. А я женщина хоть и мягкая, но не падшая. Я свободная! В любой момент могу тебя отшить, понял?! Да и пора... — со вздохом, само сорвалось с губ.

— Ты только и ждешь этого, — раздраженно заметил он, чтоб уколоть ее самолюбие.

— А как же,—огрызнулась она, — лежу вот с тобой и жду...

— Нет?! Но что между нами общего, Александра Михайловна!

— Общего-то? — повторила Шура неуверенно и как бы оглядываясь кругом. — А постель?!

Скварского даже покорило от такой прямоты. Но, зевнув, он сказал, почесываясь:

— Вы, общепитовские, все серые, как кошки ночью...

— Обманываешь ты, — ответила она. — Все говоришь, чтоб себя обелить, думаешь, глупа я, не дотумкаю. Дак это правда, я мало знаю, тебе неровня. Я тебе только в постели и нужна, чужой беды ты не знаешь, не страдал... Ты, повариха я или торгош, не понимаешь, что я женщина и душа у меня есть, душа. Вот чего ты трусишься? Что на алименты подам?! Не подам, не лязгай! Я тебя не выдам. Да и кому ты нужен? Только сажай не мажь, я, может, тебя почище... И чего терплю?! — Она неловко повернулась к нему, было задержала застрявшие на зубах слова, но выпустила их: — И-и, милый, катись-ка...

Она приподнялась на локоть, и Скварский, все подныривавший ей под плечо, грузно перевалился на подушку.

— Да ты что, ты кто после этого, — растерянно, с просительной надеждой тянул он, чувствуя, как упругие колени Шурочки сделались каменно-твердыми, похолодели и не в шутку выжимают его. — Ты, жучка!

— Сам недомерок полированный!

Она отвернулась к стене, чтобы не видеть его, и он, сопя, по-схватал кое-как барахло, выпадающее из рук, поднял тоже и шлепанцы, вместо того, чтобы обуть их, и, трясая, позвякивая пряжками, бляшками, застежками на ремешках и подтяжках, кося назад взглядом, чтобы не потерять чего из сбруи, на цыпках вышел в коридор, оставляя на холодном линолиуме следы теплых еще ног.

Дверь из комнаты уже почти притворилась за ним, но тут донеслось Шурочкино:

— Э-э, чистюля! А пузырек кому оставил? — И она швырнула в щель пластмассовый флакон с лосьоном.

Плаксивая от природы, Шурочка наморщила по-заячьи нос свой, вздернутый кверху, и закусила угол подушки, чтобы не слышно было за дверью хлипа. Будто бы она так уж и убивается! Но слеза — то ли обиды, то ли жалости — все-таки выкатилась, и Шурочка долго слизывала ее кончиком языка с губы. Она, пожалуй, не оттого плакала, что прогнала Скварского, а оттого, что нельзя было поступить иначе, и оттого, что понимала это, и оттого, что нечем было утешить себя. Ведь хотелось, очень хотелось жить по-другому, по-хорошему.

...Сон у нее был короткий, птичий, часто просыпалась, а то показалось, что остановились часы, и она переставила их с подоконника на тумбочку возле кровати. Только закрыла глаза — опять: кто-то по-кошачьи скребется в дверь. Вот так первые разы он приходил к

ней, просился, только в окно скреб, а потом она ему ключ дала. Снова поскребли, настойчивей и с перестуком по филенке. А дверь не заперта, Шура торопливо просунула руки в проймы сарафана; боком, осторожно вошел Скварский. Шапка набок, пальто нараспашку, с кипой бумаг, перевязанной бечевой. Осунулся вроде, потемнел с лица, а может, это ей со сна так кажется.

— Шура! — Челюсть его дернулась, и Шура подумала, что лучше она не впустит его. — Я пришел...

Она стояла к нему боком и немного нагнулась, одергивая сарафан, чулки. Скварский смотрел на ее покатые плечи, упруго изогнутую спину.

— Проходи, раз пришел, — сказала Шура, — не пнем же торчать!

— Ты мне не веришь, — вздохнул он и, вытирая лоб, сдвинул на затылок рыжую, с коротким козырьком шапку. — Я даже бумаги свои принес. Думал, оставлю тут, насовсем.

Шура пожала плечами. В зубах она держала заколку, прибирала волосы, а говорить не хотелось. Ожидала, что будет дальше. Скварский, поняв ее молчание по-своему, искал глазами и забросил папки на верх шифоньера, подальше, к самой стене.

— Ты уже на работу?! — спросил он сразу после этого.

— Как видишь. — Она отвернула флакончик духов, чуть потянула носом и, забыв подушиться, поставила обратно на полку.

— Шур, — теперь он сел, приспустив пальто на спину, на лопатки, но еще не сняв окончательно, — нам надо поговорить. Я много думал...

— Со вчерашнего дня?!

Она продолжала собираться, не обращая на него внимания, а его уже злило, что она не слушает или делает вид, что не слушает. Он отодвинул из-за стола второй стул, властно потребовал:

— Сядь!

— Поговорим дорогой! Я спешу.

— Неужели ты не видишь, — сухо, с обидой проронил он, — что я не в себе...

«А когда ты в себе?!» — чуть было не спросила она, но сдержалась и догадливо произнесла:

— А-а-а...

Пальто на нем совсем сползло и держалось теперь только на рукавах; Шурочка по привычке наводит перед уходом порядок небрежно напялила его на Скварского за воротник, как в мешок втокнула.

— Может, уехать отсюда куда-нибудь? — безучастно сказал он. — А ты?!

— Куда меня черти понесут! — Но все-таки ее заинтересовал такой оборот: — Далеко собрался?!

— Да нет. Меня Басов подсел, — будто совсем растерянно признался он. — Куда-то надо...

— Надо, подсел, собрался... Что-то ты непонятное несешь, — не поверила Шура. — Или надумал что?!

— Хм!.. — горько усмехнулся Юрий Борисович Шуриной наивности. Он поставил перед собой руки, упирая пальцы в пальцы, и шумно вздохнул. — Я как-то имел неосторожность заметить, что его флирт с Анкой Одарченко слишком бросается в глаза. В общем, по-дружески предупредил... А в итоге что?! В итоге он смешал меня с грязью. Дескать, это я совращаю! Каких-то печатниц, поварих, фельдшерицу какую-то приплел. Понимаешь, когда так говорят, даже оправдываться бессмысленно. Вот я и...

Не закончил. И так должно быть ясно. Сам следил за ней. Задело, вся краской покрылась...

— Басов не такой, — как бы про себя сказала Шура. — Да и Анька... Не то что я, сама не подкатится.

Шурочка еще размышляла, пытаясь представить из услышанного связную картину. Юрий Борисович с видимым усилием приподнял пеки и посмотрел на нее долгим взглядом.

— Конечно, конечно, — соглашаясь с ее возражениями, поспешно произнес он. — Поделом мне, чтобы не совал нос в чужие дела... А я, знаешь, после этого скандала еще одну глупость едва не сделал. Думал, пойду к Елене, расскажу все. Уж если она Никиту не образумит, тогда мне здесь делать нечего. А потом... Не поймет она, не поверит.

Ничего не сказав ему на это, Шурочка, угнув плечи, подошла к окну. Отвернула край шторы и почувствовала, как подступают рыдания. Закусила губы, но не выдержала, зарылась в штору лицом. Ведь и правда, нескладно все получается. Прогнала же его, думала — конец, а оно вон как, вроде и податься ему некуда... А ей кто скажет, может, она на всю жизнь от своего отказывается. «Гадай же, старая, тоска мне сердце гложет...» — вспомнила, как впервые он заговорил с ней, — красиво, торжественно, будто в кино. Да те, которые из кино, давно разобраны, а он просто неудачник, выше б солнца взлетел, да не может, оттого и злой, подковыристый, а теперь в ногах готов валяться. Прогнать-то что, за такого спрос невелик, а вон Авдеч, уж на что мужик дошлый, дак говорит, за тобой, Шурка, не пропадешь. Оно и верно. Мужики сейчас дураки пошли, каждый конфетку ищет, чтоб обертка покрасивше была, хрустела, а под оберткой-то раскушаешь — тошно станет. А если бы Юрий-то всерьез, по-заправдашнему, так она, Шурка, нашла бы, как повернуть его к людям!

Судила она по себе, а в Барахсане жизнь ей нравилась. Как взбрыкивает на зеленом лугу молодой теленок, выпущенный из зимнего стойла на волю, то разгоняясь на корявых ногах и вдруг останавливаясь на скаку, точно споткнувшись о веревку, а потом очумело, сразу на четырех, отпыривает в сторону и тарашится на все вокруг по-человечьи выразительными глазищами, и опять — мыкнет, брыкнет, и, пьяный от зеленого воздуха, пахнувшего ветром, тмином с огородов, носится, скачет по загону, задрав хвост, шараясь луж и незнакомых, непривычных предметов, — так и она, Шурка, пьянея, наслаждалась волей, самостоятельностью и сознанием той решимости, с какой бросила в Смоленске неотвязную бочку с квасом и все, все остальное.

Она молодилась, ходила в клуб на вечера, на танцы и уж совсем загордилась, только виду не подавала, когда в многотиражке поместили ее портрет и благодарность строителей своей поварихе. Налюбовавшись на себя, Шурочка сложила газету в конверт и отправила матери, зная, что той радость от этого еще большая. Вообще-то она писала домой не часто, хотя скучала по матери, по деревне и с радостью бы слетала туда на денек-другой, да не птица, не летится.

В столовой у себя работала Шурка легко, вроде и не уставала никогда, обеды готовила вкусные и сытные, да никто не знал, чего ей это стоило, склад был забит макаронами, консервами, сухофруктами, а овощей, зелени, свежего мяса не хватало. Молоко, как смеялись бабы, и то сухое, протезное, но Шурочка не унывала. Чего унывать, когда из одной картошки можно триста блюд приготовить, была бы охота! Надо не надо — она вмешивалась во все столовские дела с бесцеремонностью хозяйки. «К тому и приставлена!..» — говорила

она, довольная собой, с хрустом откусывая половину яблока из тех, что отвоевала для столовой у ресторана. Это была уже хватка, и рабочие знали, раз Шурка уцепилась за что-нибудь — не отпустит. Тут еще она заявила: «Не хочу, чтоб мои ши лаптем хлебали», — и потребовала от своего заведующего Авдея Авдеевича Авдеева, мужика бесхитростного, но прижимистого, чтобы заменил алюминиевую посуду стеклянной. Авдей на бюджет ссылаться: и на что, мол, это нам — бить же будут, списывать не управишься! А Шурка ни в какую. К Басову пошла на прием, потом к Гатилину, к снабженцам, наконец через Анку Одарченко в местное своего добилась. «Ну что ты радуешься, убыточница?..» — упрекнул ее Авдей Авдеевич, явившись с первой разбитой тарелкой, а Шурка смехом отделалась: «Что бы это за мужики были, если б в сердцах тарелку не трахнули!..» «Ну да!.. — тяжело вздохнул Авдей. — Ты нам еще золотые блюда заведи теперь».

Но и тарелки, и чистота, и поубавившиеся очереди в раздатке не принесли Шурке такой славы, как «афера», на какой она чуть шею себе не свернула, — смеясь, вспоминала потом Шурочка. Началось с того, что она вроде иссякла на выдумку, притихла, но несвойственной задумчивостью выдала себя, насторожила столовских. Уж они-то ее характер к той поре хорошо знали. «Неспроста», — решили они хором. Тогда и хроменький, с сонными глазками Авдей Авдеевич словно проснулся, заподозревал что-то, поломал впустую себе голову да и настрополил своих девок во все глаза смотреть за Шуркой. Он, не вслух будь сказано, побаивался энергичной поварихи что, как задумает сместить его?.. Он же, кроме как на руководящую работу, больше ни на что не годен, но свободные должности даже и в Бараксане на дороге не валяются.

Авдеевские соглядатаи к Шурочке и так и сяк, с безобидными вроде вопросами пристают, а она рот на замок, никому ни слова. Когда подходит обед, она берет тетрадку, становится возле окна раздатки и записывает, кто что берет, сколько. Всех, конечно, не перепишешь, а человек двадцать выбрала и недели три глаз с них не спускала.

В чем дело?! А Шурочка, подбив итог своим наблюдениям, объяснила:

— Предлагаю ввести в столовке комплексные обеды. Выбор у нас и так небогатый, но три комплекта можем собрать, так, чтобы обед рубль стоил. Выбил чек — не задерживай, получай... А к этому еще — заявки можем собирать за день раньше, да и неплохо бы при такой системе самим столы накрывать.

— Ты что, в столовке ресторанный систему заводишь или санаторную?! Еще салфетки на стол потребуй!

— Салфетки само собой... Я уж об этом не говорю. А система, как бы ни называлась, только чтобы не час, а двадцать минут человек на обед тратил. Бабы же у нас бедовые, проворные все, к посуде привычные, поспоровистей мужиков. А то поденщиков развели много, да ведь и работать когда-нибудь надо, не все же языки чесать.

На Шурочку загудели, она сказала:

— Я и сама не лучше других. Но четыре официантки за час, а если надо — дак и я с ними, запросто успеют обслужить два или три участка!

У Авдея Авдеевича глаза на лоб полезли. С такой девкой не закусачешь.

— Ты с ума сошла, — искренне возмутился он. — С твоей системой, Шурка, мы не то что прогорим, а трижды в трубу вылетим.

Ты, Почивалина, — со всей начальственной строгостью, и справедливо, одернул ее Авдей Авдеевич Авдеев, — не разлагай — это раз, не отрывайся от масс — это два...

— А три — нос подотри... — фыркнула она.

— Да ты что, Почивалина, в своем уме?

— Я с тобой, Авдей Авдеевич, отдельно поговорю, без народа,— сказала Шурочка, пожав плечами, а вышло так, что вроде она и пригрозила ему чем.

Авдей Авдеевич оробел немного. Уж Он-то, психолог по части яств и женских характеров, поскольку всю жизнь руководил ими, знал: баба при народе зря не сбредет. Видать, какая-никакая поддержка за ней имеется. Но решил поставить по-своему. Иначе с ними потом сладу не будет. И то ли сам, то ли надоумил кто, но докатилась по этому поводу в партком какая-то глухая неразборчивая не то жалоба, не то кляуза. Во всяком случае Петр Евсеевич Алимужкин уже по запаху понял, что надо вмешиваться, пока не разбушевался пожар.

Дело представлялось ему, в сущности, пустяковым, и в тот же день, когда прошел слух, он попросил Анку Одарченко (случайно именно ее, никаких особых соображений в том не было!) передать Почивалиной, что он хочет поговорить с ней.

Шурочка не пошла.

— Еще чего, — услышав, что Алимужкин ждет ее в парткоме, брякнула она на всю столовую и повысила голос: — Овес к лошади не ходит!

Докатилось это и до Алимужкина. Сам пожаловал:

— Где тут у вас Почивалина знаменитая?..

А она — вот она как на ладони вся. Поглядел на нее Петр Евсеевич и пожалел.

— О делах мы с тобой поговорим, вот как с духом соберешься ты, так и поговорим... А пока, — протянул ей зеленоватый конверт, — почитай, что Екатерина Петровна пишет.

— Да на что мне, — вспыхнула Шурочка, конфузясь чужого письма, но, глядя на конверт, уже протянула руку, безошибочно угадав знакомый почерк, и до нее дошло, что Екатерина Петровна, о которой сказал Алимужкин, это ведь ее мать. Как же к нему-то письмо попало?!

Шурочка открыла конверт, развернула вложенный в него двойной тетрадный лист. Мать, ее почерк — высокие буквы, неровно вытянутые дрожащей рукой. «Дорогие уважаемые товарищи, — прочитала Шурочка, — здравствуйте, низкий поклон вам шлет из деревни Красные Дворики гражданка Катерина Петровна Почивалина за дочку мою Шуру, Александру Почивалину...»

Прикрыв зардевшиеся щеки платком, Шурочка залпом прочла письмо и сидела сколько-то огорошенная и обрадованная сразу. И чего вздумалось старухе откровенничать, разливаться перед людьми, которых никогда не видела даже и не увидит. Помешалась либо на старости лет... Ну, зачем, она им писала, зачем?!

— Авдей Авдеевич, голубчик, — забыв уже об Алимужкине, попросила она, — отпустите меня домой.

Не заметила, как перестала лить вода в кранах и звякать посуда за перегородкой: девочки сгрудились возле окна. Со стороны видней была мгновенная перемена в настроении Шурки и горестный вид ее, — все мы бабы, с кем не бывает!.. — уже разжалобил их. Да и зла на нее никто не держал: так, расстройство с Шуркой большое, — и, не сговариваясь, они поддакнули ей:

— Пусти, Авдейч, вишь, мучается... Сами обойдемся!

Два или три шага до порога, а уж на улице Шурка улыбается: надо же, Авдей-то — отпустил... Сроду бы не подумала.

А в столовой, на кухне, полной чаду и сладковато-едких запахов соусов, подливов и жареного мяса к ужину, не осуждая Шурочку за безоглядное бегство, долго еще судачили — вскользь о ней, но больше об Алимущкине: ишь, ерш костлявый, пронял девку — так она от него как наскипидаренная кинулась. Сами-то, зубоскаля, подумывали, что происшествие это так или иначе коснется всех их. Уж Алимущкин доведет до конца, можно не сомневаться. Но по молчаливому согласию никто не проронил об этом ни слова. Там видно будет.

И домолчались до парткома, когда Шурке за ее идею с комплексными обедами да и вообще — за работу хорошую — повышение предложили. Давай заведуй, Шурка! Но она, дурочка, наотрез отказалась. «Ведь не получается у вас с Авдеевым, — с усмешкой убеждал Алимущкин, — душит он твою инициативу...» Авдей Авдеевич сидел на парткоме красный, как буряк, и оправдываться б мужику, а он грыз химический карандаш и костерил про себя Шурку. Ему уже всыпали, дело казалось решенным. «Командовать я не могу и не буду, — заявила Шура, — а Авдей Авдеевича бабы слушаются, только он боится, как бы чего не вышло. Кабы я на его место не села...» — сконфуженно добавила она, и все засмеялись. «Ты слышишь, Авдейч?! — спросил Алимущкин. — Эта критика тебе не в бровь, а в глаз. Оставим пока, но смотри... Будем считать, что Почивалина над тобой шефствует, понял?!»

Обрадованный, Авдейч после парткома пообещал ей: «Ну, Шурка, выручила!.. Магарыч с меня, по гроб жизни помнить буду...» На другой день даже собрал столовских и «от себя лично и от имени коллектива» вручил Шурке шоколадное ассорти за двенадцать рублей в коробке. И где достал?!

Так то — Авдейч, Алимущкин или кто другой... А этот, — она покосилась на Скварского, — конфеты никогда не принесет. Сидит теперь, плачет... И что с ним делать?

Она поискала платочек, утерлась и голосом, показавшимся ей чужим, сказала ему:

— Не гоню я тебя... Оставайся, посмотрим.

Он виновато опустил голову.

— И сиди тут, никуда не суйся, — уже уверенней продолжала она. — Сама поговорю, с кем надо. Не может быть, чтобы из-за брехни человеку жизнь ломали.

— Не надо ничего, не надо, — вскинулся он. — Разговорами не поможешь, а хуже, чем есть, уже не будет.

— Был бы ты мой, — горько усмехнулась она, — я любой патлы повыдергала бы! Да не бойся, силой держать не стану. Наведу вот истину — за меня тебе ничего не сделают, а других, скажу, не было, и свободен ты на все стороны.

— Нет-нет, никуда не ходи! И к Елене тоже. Я сам не решился к ней, тебе тем более не советую. У нее характер почище басовского. Слово не так скажешь — весь поселок на ноги поднимет.

— У меня не поднимет, — пообещала Шурочка, — да, может, я к ней и не пойду, с чего ты взял...

— А я думал... Ну да, правильно ты решила, — без воодушевления согласился он и, чувствуя, что не находит отклика в ней, спросил: — Тебя проводить?!

Она собралась уже, сунула ноги в ботинки, запахнула пуховый платок на шее, сказала:

— Ключи у тебя есть... Ну, спи!

«Господи! — вздохнула Шурочка мысленно. — Зайти да поговорить с Еленой — чего проще-то? Бабы вон цапаются из-за мужиков!.. А тут же не делить им, а вроде как помирить двух дураков надо. Про Анку Одарченко она и заикаться не станет, да и брехня это, быть не может...»

Шура шла быстро, слегка поеживаясь на свежем утреннике. Улица была еще пустынной, как в выходные дни. Ей вдруг показалось, что сзади слышны шаги; оглянулась — никого. С утра все, конечно, к прорану пойдут, намерзнутся там, а потом в столовую. Придется ей с девками повертеться, — это уж как закон: когда не работают, всегда больше едят. Шура прибавила шаг. Она старалась не думать о Скварском, — сбил ее с панталыку, и то ли, правда, зайти к Елене, сказать ей пару ласковых, то ли, может, с Никитой Леонтьевичем поговорить?! Басов к ней хорошо относится, уважительно, всегда «здравствуйте» говорит, руку подает. А Юрий Борисович отговаривал, будто знал, что пойдет. Вот делец! Ну зайдет... Ну и правда, допустим, было что-нибудь промеж них. Вот и устроит она праздничек людям... Шурка, Шурка, да ты что ж делаешь-то, голова садовая?!

А ведь топает за ней кто-то! Шурочка оглянулась — вроде на перекрестке метнулась за дома тень. Он... Не утерпел, значит, вышел следить. Стало быть, ему обязательно нужно, чтобы зашла, вроде как сама, а он тут и ни при чем, кобель рыжий!

Шурочка сглотнула подкативший к горлу комок обиды, постояла немного напротив басовского дома, но Скварский не показывался, где-то выжидал. Тогда она свернула к подъезду. Поднялась по лестнице, прислушиваясь, пока с улицы не захрустел мерзлый песок под осторожными шагами. Она сбежала вниз, толкнула плечом дверь и... растерялась, увидев, как Скварский прикрыл рукою лицо, то ли опасаясь быть узнанным, то ли защищаясь. Ах, нет, это он от света, бывшего в лицо через открытую дверь.

— Мало, что послал, дак еще и шпионишь, — Шура произнесла это тихо и с таким сожалением, точно оправдывалась перед ним. И Юрий Борисович протянул к ней руки, успокаивая.

— Ну что, сказала? Как она, что?! — спросил он.

И Шура поняла, что он нарочно разжалобил и наговорил ей всего давеча, и, наверно, не он у Басова, а Басов у него поперек горла встал. И ее, Шурку, он, как кость для затравки собакам, бросил. От этой мысли будто каленым железом пырнули Шурочку, сердечко у нее зашло, и она, догадавшись, что лучше соврать сейчас, обмануть Скварского, в истерике почти закричала:

— Доволен, да?! Радуетесь! Сам в сторонке, а Шурка в помоях, да?! Тебя б самого так... Она на меня банку с керосином плюхнула! На, ткнись, понюхай, — и запальчиво сунула ему под нос борт старенького пальто, от которого действительно чем-то пахло, и Скварскому показалось, что керосином.

— Тише, Шура, тише! — Он оглянулся по сторонам.

— Пропади ты с глаз моих, сатана... — простонала она.

— Так надо было... Дело такое! Иди спокойно на работу, я потом объясню, — поддерживая шапку то одной рукой, то другой, он скрылся за угол.

Прислонясь головой к каменной стене, опустошенная, Шура безучастно думала, что он уполз, как аспид, уполз в нору отлеживаться. Но ведь это несправедливо, нельзя так! Не так, не так надо жить...

Она вспомнила, как с материным письмом в руках пришла тогда на Порог. Сторонясь знакомых, задумчиво стояла возле подвесного

моста. Был пересменок, с левого берега густо валил народ. Блоки, натягивающие мост, натужно скрипели тросами, и она долго слушала этот скрип и мерный, убаюкивающий ритм шагов, бесконечный, как и людская вереница. Каменистыми террасами над Анивой поднялась на скалу, села на гладком валуне, нагретом солнцем. Тучей вились над ней комары. Шурочка нехотя отгоняла их, размахивая ладонью, потом подобрала под себя ноги, туго обтянула на коленях юбку. Вечер надвигался теплый, безветренный, и Шурочке приятно было ее одиночество. Она вчитывалась в письмо, забывая о своей обиде на мать, и представляла, как та подолгу перебирала вслух слова, перебирала, как сатин в лавке, отыскивая подходящие, чтобы соответствовали высоким и образованным людям, к которым обращалась.

«...Пишу я вам, но мне ничего не надо, а потому что хотя и на старости лет, а дожила до большой радости.

Только вы не обижайтесь на старуху, что отымает дорогое время. Получила я газетку, в какой Шуру мою, Александру Почивалину, с портретом пропечатали. Глянула я сперва на портрет да сдуру и испугалась. Кабы девка там не провинилась чем, — думаю. Ну, села читать. Гляжу, хвалят ласоньку мою и вроде как другим, кто чуток похужей работает, в пример показали.

Вот правда, она у меня всегда достойная была и примерная, смальства еще. Только какая у нее жизнь была! Подниму ее, бывало, ни свет ни заря, коров, говорю, погнали. Она армяк на плечи, сумку противогазную схватит с лавки, пару картох туда, хлеба отрубяного присолит, кнут с собой, или батик по-нашему, и пошла на выгон. Ребяшня-то, малые, смеялись над ей: девка — пастух.

А что делать было, когда и пастухов не было. Война-то — она всех подобрала, не спросилась, нужен ты коровам, ай как... Вот и отец наш, Михаил Ильич, хороший мужчина был, видный, душевный, а тоже с походов с тех кровавых не вернулся. Так бы, думаешь, и залиться фашисту поганому нашей кровушкой.

Шурочка-то душой в отца. Она не откажет никому, ни слова поперек, а люди и пользовались. Все в школу, а она покай-то снег, пока мухи белые полетят, за стадом ходит. Так-то однолетки ее наперед поушли, она и осталась.

Те уж кто где, сами себе, а она раз: поеду, мамк, в Смоленск, может, учиться куда примут.

Ну и то, колхозом-то она уже сытая была.

Дак что ж, говорю, поезжай, коли так, но поглядывай.

А в Смоленске торговать — не шапки менять. Да хоть и где так. Молоденькая, беспонятная... Такая, мол, сдачи не даст. Вот и тюкают, и обкручивают ее, а она никак. Не хвалилась она, что да как, но от матери — язык смолчит — глаза правду скажут.

Приедет, когда с гостинцами, когда так, сама прыгает, рада, а я все вижу.

Кумекать что-то надо, наставляю ее на мысль. Ни угла у тебя, ни работы путевой.. Что ж, что ты училась, а ничего нет.

Вот она и подалась на Север, хоть я против была. Думаю, пропадет. Далеко, и морозы там — птица камнем свертывается. А вас-то там, видать, много, все же и Шурочку мою заметили, отличили. Я-то газеткой похвалилась своим, деревенским нашим, так после и бабы, и учительница Шуркина — Анастасия Карповна — наведались ко мне. Сам председатель, Чубаров Егор Николаевич, заходил. Чем помочь, спрашивал. Да-а, говорит, хорошую ты дочку вырастила, Катерина, гордись... А я думаю, теперь и помру, дак спокойно.

А только в том не одна моя заслуга.

Кабы не люди, кабы не сказали Шурке доброго слова да не наставили, разве бы шла ее жизнь путем? То-то, что родная власть, понимать надо.

Вот и бью вам, все люди Севера, — и руководители, и всему простому народу, — спасибо вам за дочку мою. А ей и остальным, кто вместе с нею работают, наказываю еще лучше стараться. На холоде как полопаешь, так потопашешь. А то гору не сдвинуть.

За этим подписывается и низко кланяется Почивалина Катерина Петровна из деревни Красные Дворики Смоленской.

И привет вам от всей нашей местности».

Не приврала, не приукрасила мать, по совести — так и горькой правды не утаила, и точно — мать это, ее интонация в письме, не чья больше, и жизнь описана до капельки Шуркина, а все же сама-то она, Шурка, не такая. Вот в чем дело!.. Алимужкину, решила она, письмо не вернет, — коли он разумник, так и сам понимать должен, а чего она боится, о том не скажет. Небось и покрасивше ее люди есть, попримернее.

Она смотрела тогда на Аниву, с которой надолго теперь связала ее судьба, и казалось, что река тоже живет ожиданием перемен. От самого горизонта на востоке медленно накатывались тяжелые волны на скалы и гасли здесь, наполнив огромную чашу. Вода темнела, делалась неподвижной, как в омуте, и только приглядевшись, Шура увидела, что над Порогом, во всю ширину обрыва, где начинается сам водопад, вздыбливается, как вывороченный лемехом пласт земли, литая грива, и ей так же тесно среди скал, как тесно в груди у самой Шурочки. Вскинувшись, Анива рвалась вниз и падала обреченно, с глухим ревом на острые выступы, и тугие, скрученные в белую нитку жгуты, переплетаясь, ввинчивались с нарастающей скоростью в скалы, в узкое горло прохода между ними, и река с бешенством билась о камни, то поднимая, то опуская истерзанное в клочья крыло, пока не зарывалась далеко, за Порогом пенистой и бурлящей струей в вольное, пучинистое плесо. Отбродив там, отколобрив, быстро, легко спешила она к Енисею, но еще долго вскипали по стрежню зеленоватые буруны. Вроде и та Анива, а уже другая.

«Прошлое прошло, так хоть настоящее побереги, девка», — сказала она себе, с горечью подумав о Скварском. Но нет, не такая уж она слабая, чтобы поддаться ему!. И — дворами, мимо почты, гостиницы, пошла к дому Алимужкина. И знала, что не обида и не злость пели ее туда, — надо было сделать это ради правды, которая на свете одна, человеческая; ее раз похоронишь — сам потом век из ямы не вылезешь...

* * *

Машина была послушна Бородулину. Дорога ровная — попадись не камешек, а зернышко конопляное, так и то, кажется, почувствовал бы; фары прорезывают темноту так далеко, что свет их, размываясь, тонет, будто в тумане. Ни тебе встречных, ни поперечных, и если не думать, что где-то есть конец дороге и всему, что связывало его с Барахсаном, с жизнью, ограниченной условностями так же, как дорожными знаками ограничена скорость на магистрали, то чем не блаженство?!

Не снижая скорости, Алексей обогнул «чертов палец», и тут кто-то метнулся от колес. Он не обратил внимания. Возможно, и Силин, но какое это имеет значение теперь. Мысли текли лениво. Раньше жгла злоба, а теперь огонь потух, одни головешки тлеют. Когда на тебя собак навешают, трудно доказывать, что ты не верблюд. И вот

захотелось отплатить за все полной мерой, — поставить точку прощальным всплеском.

По обочинам дороги топорщились сухие ветки багульника. Автомобильный свет, рассыпая по черным стеблям серебро, рикошетил по ним, как по планкам забора. Двигатель урчал спокойно, тем мягким и ровным тембром, который лучше всяких приборов говорит тренированному уху, что в запасе имеется солидная мощность — единственное, что могло гарантировать Бородулину успех.

В кабине, над стеклом, было привинчено овальное зеркальце заднего вида — для красоты, наверное, поскольку высокий козырек кузова закрывал обзор. Алексей несколько раз зацепил по нему взглядом, словно оно мешало ему. Догадался: из зеркала на него смотрел другой человек, то есть, конечно, он, но свет от приборной доски падал неравномерно и искажал лицо. Хорошо освещен был покатый, с глубокой поперечной морщиной лоб и матовый желвак на правой щеке. Нос казался особенно горбатым, а глаза закрывала тень. «Нет, не мог я так осунуться за одну ночь. Вчера, — подумал он, — выглядел прилично». Пристальный взгляд из темноты зеркала раздражал его, он вывернул стекло в сторону.

С вечера он и не думал переться в гараж. Но жил-то в шоферском общежитии, и веселая суматоха там, обойдя его, тем и задела. Парни парадно брились, гладились, поливали друг друга «Шипром», точно собирались на танцы, а те, кому вахта выпала на завтра в день, предлагали ночным поменяться сменами. Все с шутками, хохотком. В красном уголке собрание провели, как им наладить взаимовыручку на перекрытии. — его не позвали, значит, уже отрезали... Потом взглянул Ромка Гиттаулин, друг, что-то промышал про зимник, напомнил, как они там корешами стали, и хоть бы словечко бросил, как собирается бить завтра бородулинские рекорды. Ни-ни! А какие без него, Бородулина, рекорды?! Алексей покурил на лестнице, зашел в умывалку глянуть, не бренчит ли Толькина балалайка, но и Червонца след простыл. Деловые все стали, занятые... А по коридорам тоска гуляет!

Он плюнул, достал из тумбочки неразменную сотню, которую держал на развод — говорят же, что деньги к деньгам липнут, и в ресторан с ней. Там табачище, дым лаптями, разговоры, а столика нет, где бы сесть, заказать можно. Раза два спросил — сказали «занято», а правда ли занято или избегали его — это Алексей не уточнял. Это на кулаках уточнять надо, да обстановка не та. «Все равно не уйду! — решил он. — Нализаться и возле буфетной стойки сумею...»

И уже поздней ночью, когда закрыли ресторан, слоняясь, забрел Алексей на детскую площадку. Неудобно примостился на низкую скамеечку под грибком и, скрючившись, просидел в дреме часа два. Будто бездомная собака на холоде. Хмель-то поди еще не вышел из него, когда он подался мимо общежития по проспекту под гору. У развилки свернул к гаражу. Ему казалось, что он все и всех простил, обиды ни на кого нет, — сам дурак! — и от таких мыслей вроде бы делалось легче. «Пойду, пойду к ребятам, — уговаривал он себя уже в воротах гаража. — Я ж не пустой, у меня бутылка. Посидим, поговорим честно... И пусть они перекрывают, я посмотрю только».

Пока не переступил порог, думал, все так и будет. А вошел, посмотрел — и заготовленные слова отчего-то не сказались, застряли в горле. Ребята расфранченные сидят, под комбинезонами галстуки, плят зенки на него, как на чужака, и молчат.

— Ай перекрыли уже, молчите все?! — грубовато спросил он и сам заметил, что голос его окрасился скрытой иронией.

— Тебя, Бородулин, ждем, — отозвался Толя Червонец.

— Так я и думал, куда вы без меня, — усмехнулся он. — Вобла-то есть?! Пропустим по пятьдесят капель...

— Э-э, малый, не балуй! — под Сплина погрозил кто-то из шоферов, переворачивая костяшки домино.

— Да я та-ак, — протянул Бородулин, доставая из-за пазухи бутылку и теперь двигая ее на середину стола, а уже скovyрнул ногтем пробку. Сунулся в тумбочку, нашел стаканы. — Ну, по глоточку, разговеемся?!

Мужики молчали. И только бы налить, — Бородулин уже протянул руку! — да рыжий Червонец, бегавший под ним когда-то поваренком, теперь сам с усам — заправский третьего класса, щенок, а туда же:

— Ребята, вы что?! Я после перекрытия любому ведро этого пойла поставлю! Но не опозляйте сейчас...

«Пусть брешет, обойдется...» — подумал Бородулин и сдвинул стаканы к бутылке. Дзенькнуло стекло о стекло — встали ровно, как братики с сестрой рядом.

Алексей озабоченно заметил:

— Стаканы грязноваты. Ну, спирт все отмоеет, любую заразу.

— Я вас прошу... — начал было снова Червоненко, но грузный Федяшин, шофер из УПП, кинув на стол доминошные фишки, повернулся к нему:

— А ты не робей, паря, надо ж Бородуле покочевряжиться, как он без этого?.. — и Бородулину: — Давай, друг, сматывайся!

— Выходит, — с вызовом, с угрозой спросил он, — гоните?!

— А ты думал, целоваться кинемся, — засмеялся Федяшин и встал, намекая, что слова у него с делом не расходятся.

Алексей сделал вид, что не заметил этого, свое гнул:

— А деды наши перво-наперво низовой камень обмывали... — И понял, не слыша ответа, что все напрасно. — Ну ладно, может, последний обмоете.

Набычил голову, пошел к двери.

— Э-э, погоди! — остановил его Федяшин. — Говорили, ты жмот... А бутылку ни за что ни про что оставляешь, как же?!

Бородулин посмотрел на него, плюнул под порог и вышел.

Тусклая лампочка в ржавом колпаке освещала дверной проем и порожки, сбитые из промасленных Шпал, крепких, но уже обтерханных сапогами. Отойдя за столб, Бородулин слышал, как выскочил следом техник Перчаткин. Постоял на пороге, хрустя болоньевым верхом куртки, должно быть, следил за ним или сказать что хотел, но раздумал. Ему видно было, как Алексей, мешковато качнувшись, побрел, не разбирая Пути, наискосок через двор, к колонне самосвалов. Стукнул кулаком по капоту, выругался, и тогда Перчаткин крикнул:

— Давай, давай, Леша, топай, пока ноги держут!

Ушел...

Где-то недалеко ржаво терлась о металлическую ограду проволока, пахло бензином и перегретым машинным маслом. «Собакам бы побрехать, — подумал с тоской Бородулин, — как на машинном дворе в колхозе...» Рука, дотронувшись до капота, чутко угадала последнее тепло остывающего железа — недавно прогревали двигатели, и мысль, что машины готовы к прыжку, поманила его на удачу. «Небось и кабина открыта...» — предположил он, хотя не сомневался, что открыта, и даже знал, что ключи зажигания в гнездах, а не в карманах у ребят.

Положив дрожащие пальцы на ребристый борт самосвала, задрал

голову. В сумраке смутно белела надпись на граните, он разобрал: «Покорись, Анива!»

То, что надо!

Встал на подножку, легко отжал замок кабины. Дверца не скрипнула. Ключ на месте. Гладкие, удобно выгнутые по спине сиденья пахнут кожей. «Интересно, чья машина?! Вот бы Федяшина! Попляшет тогда...» Верил сейчас в удачу, но не сразу положил руку на ключ зажигания.

Поворот ключа, щелчок — и он перечеркнет все их собрания. Ведь люди же спросят, кто бросил первый камушек, и хочешь не хочешь, а отвечать придется... Алексей думал, что отвечать придется Силину, — так и видел перед собой, как наяву, его перекошенные скулы.

Не хватило духу признаться себе, что сковырнул свой характер на чем зря. Хорошо было красоваться везде первому. Ходишь по городу, на кого не глянешь, а все будто твои должники. Уж на что пузо у него бесчувственное, так и то вперед лезло, когда думал: я могу, а они — нет... И много было почета, а все казалось мало, как девкам: хоть сундук с лентами дай — все равно не угодишь! С трассы началось, с зимника... Хлебнул славы, да с избытком, и что-то изменилось в нем с тех пор. Жадность, что ли, обуяла... После того как трассу проложили, зимник бросил, — думал, зашьются без него, позовут, и ждал, что в ножки придут поклоняться Бородуле, а он тогда опять прогремит... Но действовали иные, непойтные ему законы, заветное очко больше не выпадало.

А как рвался за упущенным! То в одном месте, то в другом... И не успевал. Все ловил момент, кидался туда, где больше лихорадило стройку, — то на отсыпку дорог, то на бетон, то на карьеры... Глядь, а уж слава гуляет на дамбе, на отводных туннелях или опять на песчаных карьерах, где он был раньше. Уж заметили, стали посмеиваться над его рывками. Остановиться бы и работать! Но кого в Бархсане удивишь высокими показателями? Ему бы там, где другим невозможно... И устал. Измотался сам, измотал экипаж — не узнавали себя после смены. Однажды подумал, что кто-то нарочно умело и осторожно обкладывает его флажками, и вроде ничего ему больше не остается, как лезть напролом. То бы он, по-хорошему, по всей стране прогреметь мог, глядишь, и дома, в Грязях, эхо отозвалось бы, а то — пришла на ум читанная где-то фраза: «Инцидент местного значения...»

С людьми было труднее договориться, чем с машиной. С ней просто: налил бензина под завязку, взял запаску и кочуй до любой точки на карте... Какая тут, к черту, душа! Он презирал любителей порассуждать о ней, дескать, как ты к машине, с лаской, так, мол, и она к тебе. Разве то разговор?! Слюни! Пацанам простительно... Машина — это предмет. Ее надо знать — вот и вся душа. Рама, мотор, колеса... Свинчены, скручены, сварены. Инструмент! Умеешь — пользуйся, нет — отойди подальше, а то не ты на ней, а она на тебе ездить будет. Жалеть?! Это же смешно! Попробуй пожалей бабу — она сразу в каприз, фокусничать. Нет голубушка: рассчитана на пять тонн, на десять, на двадцать пять — подставляй спину и гнишь, ползай, пока хребтина не треснет. Лично он, Алексей Бородулин, признавал только такой подход. И то ли машины ему попадались выносливые, то ли они и в самом деле чувствовали его тяжелый характер, но не отказывали. Да когда и на экскаватор сел — погнал так, что земля задрожала, задрожало все ходуное, завертелось, поехало. А Ромка придет на смену тык-пык — полез ковыряться... Отлаживаю, говорит. Но сколько раз он ему показывал: смотри, Рома, нигде не трет,

не свистит, не заедает... А тот возьмется за рычаги — все у него визжит! Разве от машины? Это от человека зависит.

Серебристо-черной лентой летел вдоль обочины багульник. Впереди показалась развилка. Фары осветили напряженную женскую фигуру. Одной рукой женщина придерживала белый шарф на груди, другую вытянула навстречу и махала ему. «Ты еще на дорогу выскочи, корова!..» — подумал Алексей, решив, что проскочит мимо. Беспонятливые, по делу и без дела лезут под колеса, а ведь шофер, голосуешь ты или нет, с одного взгляда видит своего пассажира, хотя и непонятно, по каким признакам. Лично ему ошибаться не доводилось.

Ветер вырвал концы шарфа и трепал их за спиной женщины, все еще стоявшей лицом к свету и с вытянутой вперед рукой. Казалось, что это нарастающие лучи фар обдувают ее фигуру. Алексей узнал жену Басова — Елену. Вот не ожидал! И, забыв о минутных сомнениях, резко затормозил. Ей, как всегда, на левый берег, на метеостанцию... Послушный тормозам, громадный самосвал споткнулся на бегу. Переднее колесо, едва ли не в рост человека, сдвигаясь на обочине гравий, уткнулось возле сапожек Елены. На нее сразу пахнуло пылью и горячим воздухом от мотора.

Так остановить бегущего зверя может только ас, но Елена не заметила этого. Она даже не удивилась, что за рулем Бородулин, а он-то надеялся, что Елена свернет бантиком тонкие губы, дернет ноздрями, собираясь фыркнуть, и скажет с иронией, как говорила ему, бывало, на экскаваторе:

«Вам, Алеша, не на дамбе, а в цирке выступать с такой программой...»

Да, на дамбе он откалывал номера — лучше не вспоминать. Но, если бы видел кто, как она умела улыбаться при этом. Губы-то капризные — недовольна, сердится! — и в то же самое время, именно в то же самое, а не вслед за недовольной гримасой, улыбается ему с призывной дерзостью. Он все гадал, сердится она или заигрывает, а в этом деле момент упустишь, потом жди...

Кабина была высокой и не такой просторной, как в персональном автомобиле, но Елена не чувствовала неудобства. Она рассеянно улыбнулась Бородулину, спросила — и он почувствовал дрожь в ее голосе, идущую откуда-то из самой груди:

— Разве началось уже, так рано?!

— Спать надо поменьше, Елена Ильинична! На первый камень могли опоздать!

— Нда?! — удивилась она. — А почему других машин не видно?

— Потому и не видно! — отрезал он.

Взгляд ее равнодушно скользнул по нему. Она ничего не поняла, да ей и безразлично все, — устало закрыла глаза.

«Вот так-то лучше, — подумал Алексей, — потом поймешь, женка Басова!..»

Он заметил, как на переднем поручне побелела ее рука, а пальцы левой (это он уже не видел, а угадывал на слух) медленно перебирали по кожаной спинке сиденья; вот они остановились у его плеча и, чуть шевельнувшись, едва дотронулись до него, коснулись длинными, отточенными кончиками ногтей.

— Ты... один, — не то спросила она, не то высказала догадку, и он, зная, что она говорит о перекрытии, молча кивнул.

И оттого, что она ответила ему тоже молчанием, что-то произошло между ними, словно согласие объединило их, и трудно было поверить в это. Она не пыталась остановить, удержать, отговорить его.

Может, она боялась?! Да ну, ерунда! Эх, угнать бы ее в тундру сейчас и поговорить там ласково, — вот чего...

Как-то он встретил ее на берегу возле метеостанции; тогда еще не знал, что она Басова.

— В ночную только или домой? — спросил он, присаживаясь напротив нее и закуривая.

Елена повернула голову и долго разглядывала его. Он спокойно покурил, ожидая, чем кончится этот осмотр. Лицо его, загорелое, крупное, еще не остывшее от горячей работы на дамбе, дышало простодушием и уверенностью в себе.

— Вы, судя по фотокарточке, Бородулин?

— По чё-ом?! — изумился он, поняв ее слова как «по физиономии...»

— Ас трассы! — напомнила она. — Перед управлением ваше фото было?

— А-а... Значит, вы давно в Барахсане.

— А мы до сих пор не знакомы?! — предугадала она следующий вопрос и засмеялась. — Меня зовут Елена, но чтоб никаких «эпизодов». Договорились?!

Она заглядывала на экскаватор, перешла на ты с ним и все удивлялась, как легко управляет он сложной машиной. Пробовала и сама сесть за рычаги, а на самом деле только дразнила его своей близостью.

— Да что тут интересного? — стыдась мазута на руках, отвечивал он. — Блоки, стрела, лопата — все перед носом, поврозь, по частям... Издали лучше видать, не машина — а удовольствие.

— Скромничаешь ты, Алеша, — усмехалась она, ненароком задевая его то грудью, то локтем.

Елена подолгу Наблюдала за Бородулиным из окошка метеостанции. Она едва различала в сумраке кабины платок, которым Алексей укрывал голову, но хорошо видела желтую коробку экскаватора, стрелу, переломленную, как рука на сгибе, и ковш, похожий на лопату. Невольно завораживала ритмичность, с какой поднималась и опускалась стрела, а потом взмывал над свежей чернотой насыпи и стремительно опрокидывался ковш. Промерзшая земля еще осыпалась с него, а экскаватор уже разворачивался для следующего гребка — и так раз за разом, когда бы она ни глянула в окно за все время дежурства. На стройке было немало экскаваторов, и все-таки, глядя на бородулинский, даже она могла сказать, что его отличает особый почерк. Ей не нравились длиннострелые драглайны, у которых ковш болтается на тросах и, прежде чем наполниться грунтом, долго шмыгает по нему, не вгрызаясь в землю, а будто сдирая с нее шкуру. Разумеется, она не вдавалась в технические тонкости, но оттого, может, и раздражал брякающий ковш, и казался неэстетичным ей, что был непонятен в своей целесообразности, необходимости. Другое дело у Бородулина. Тросы его экскаватора всегда натянуты, они пружинили, как мышцы, разгибая и сгибая стрелу, придавая экскаватору сходство с рукой работающего человека, словно это упражнялся атлет...

Как-то она спросила:

— Алеша, ты мог бы, — и кивнула на рычаги, — с закрытыми глазами работать?

Он засмеялся, думая, что на отсыпке дамбы можно и вовсе без головы.

— Высший класс, — сказал он ей, — перенести ковшом спичечный коробок, как рюмку на подносе.

— А ты?!

— Я?!

Он посмотрел на ее белые лакированные туфли, оставленные на пригорке, указал на них глазами:

— Смотрите, Елена Ильинична...

Не успела Елена опомниться, остановить, чтобы не делал глупостей, как ковш описал дугу и на мгновение только завис, задрожал на тросах над белыми лодочками. Алексей мягко подрезал под ними мох, и туфли въехали в ковш. Потом он небрежно отпустил один рычаг, дернул другой, а взгляд Елены уже проследил по воздуху за стрелой, но так и не уловила она миг, когда туфли выскользнули из ковша уже с другой стороны дамбы — будто сама Елена оставила их там.

Он быстро взглянул на нее — она улыбалась, но улыбка была скользящей, принужденной какой-то, чужой, и он понял, что все это только игра для нее, забава. Она относилась к той породе душевно неустроенных женщин, которые считают, что ничего невозможного и недостижимого для них нет, а сами не знают часто, чего ищут, чего хотят. И он предпочел не усложнять отношения.

— Другой раз, Елена Ильинична, не оставляйте туфельки свои без присмотра.

Она вскинула брови, какой-то интерес пробудился в глазах, но Бородулин, сконфуженный, оттого, что выразился полупнамеком, резко остановил платформу и так, чтобы Елене было удобно выйти из кабины. Жест оказался понятнее слов.

— Ершистый, вы обворожительны, Алеша... Запомните это! — усмехнулась она. Спрыгнула на землю, выдавив две небольших ямки в сырой глине — отпечаток босых пяток.

Потом он жалел, что так вышло. Уходило время, все рисовалось иначе. Баба, можно сказать, сама называлась, только что тряпки с себя не сняла, а он фырчал.

Мелькнул внизу освещенными окнами одинокий штабной вагончик, а колеса в рубчатых протекторах уже въехали на дощатый настил моста, загремели, рубя частое эхо в пролетах, и Алексей, чувствуя скорый конец дороги, заметался душой, — если бы можно было, если бы дорога за мостом не упиралась в крутой поворот к прорану, он помчался бы по ней без оглядки на Барахсан, и пропади пропадом и этот камень у него за спиной, и сопки, и распроклятая тундра, и слава, которой бы он с удовольствием вырвал глаз. Здесь все мираж, даже простор. Даль такая бесконечная, а кинешься — как лбом в стенку — никуда не проедешь. А ему бы сейчас хоть какую-нибудь дорожку в глушь, чтоб ни одна собака след не взяла, — вот и был бы у них с Еленой и Барахсан там, и Симферополь...

Мост прогремел пустыми пролетами. Испуганно озирались на самосвал строители, думали, что началось, а он, не переставая сигнализировать, теперь уже умышленно пропустил поворот налево — и плевать на указатель, дорога-то не кончается, впереди еще шесть километров до аэродрома. Вот где удача стерегла его.

А дальше что? Дальше?! Может, самосвал взлетит с взлетного поля! Что же еще...

— Мне налево, на метеостанцию, — слышался рядом скучный, раздавленный усталостью голос.

И от одной этой фразы, холодной, как ледышка, Алексея бросило в пот. Не та это женщина.

Не отвечая Елене, Алексей, как делал когда-то на зимнике, со всей злостью, какая была в руках, круто переложил руль. Самосвал, задыхаясь от перегрузок, косо влетел в кювет, но по инерции его вы-

бросило на взлобок. Разворачиваясь на промерзшей к утру тундре, с хрустом давя пожухлые травы, он сделал еще один точно такой же нырок на дорогу, не веря, что от перегрузок не заклинит мотор. Но, значит, не суждено, или не машина ему попалась, а зверь, — самосвал выравнился и, немного спустя, будто сам знал дорогу, завалился носом вправо, выводя Бородулина на спуск к левому банкету. Алексей представил, как развернется сейчас на пяточке, подаст задний борт к кромке и — покоришь, Анива!..

Спуск был крутой, но ровный, вылизанный Гаврилой Силиным, и Бородулин почти не чувствовал возросшей скорости. Он действовал автоматически, полагаясь не на сознание, а на чувство, и знал, что успеет развернуться, остановиться и посигналить, чтобы привлечь внимание, и все — как хотелось ему, а не им, чудакам!

Теперь он своего не упустит. Да и не было еще случая, чтобы кто-то вместо него, Бородулина, ставил последнюю точку.

Внезапно слепящие лучи прожекторов осветили банкет, ударили в глаза. Точно тысячи игл вонзились.

Неужели обрыв?! Просчитался!

— Значит, конец...

С опаленными светом глазами, он успел нажать на тормоза, и в то время как машина еще катилась по скату вниз, а Алексею казалось, что она уже летит с банкетной площадки в пропасть, в черноту анивской воды, — выходит, в то время, когда машина, по его представлению, была еще в воздухе, он сумел как-то открыть правую дверцу и крикнул Елене:

— Прыгай!

Сам он уже терял сознание, голова безвольно упала на руль. Дрожа капотом, машина стояла на краю обрыва.

И странно, столько людей — и с моста, и с правого берега — видели ярко освещенный банкет и самосвал на нем, но никто не заметил Елены. Правда, кое-кто из тех, кто шарахался от бородулинского самосвала на дороге, не очень уверенно утверждали потом, что, судя по белой накидке, в кабине с Алексеем ехала женщина. Но слухи эти ни рано, ни поздно не подтвердились.

Первым к Бородулину подоспел Коростылев. С ним несколько человек. Они вытащили Алексея из кабины — он не открывал глаз. Догадались приложить на обескровленное лицо комья мерзлой земли — Бородулин застонал и не то спросил, не то сказал им:

— Она... утонула.

— Бредит, — решил Коростылев.

Подъехал Силин.

— Ну что, — спросил Гаврила Пантелеймонович, видя, что целая проклятая глыба в кузове, — одумался, дурень?! Алексей?! — позвал он, оглядываясь, и замолчал, поняв все.

— Везите его в больницу, — вздохнул Вася. — Разговаривать после будем.

Одарченко в это время звонила из штаба Алимускину:

— Петр Евсеевич, — дрожащим голосом говорила она, — ЧП, приезжайте...

— А Басов?! — спросил Алимускин.

— Басова ищут, его сейчас найдут, — поспешила она успокоить.

И никто в эту минуту не вспомнил, не назвал Гатилина.

* * *

Гатилин понимал, что Варя многого не договаривала. Он понуро постоял в ванной, затем, вспомнив, зачем он здесь, стал привычно

растирать шею и хлопывать ладонями щеки, массируя их перед бритьем. Зеркало отражало дряблые, морщинистые складки на коже, а в глазах Гатилина такие же жесткие, как щетина, злые искры. Пожалуй, и не искры, а так — серый сухой песок. Он смотрел на себя исподлобья и не нравился себе — какой-то чурбанистый, мешковатый, а Варя всегда симпатизировала спортивным мужчинам. Вот Басов... Дался же он им обоим! Конечно, не в нем причина. В Барахсане все сложилось не так, как видел себе Гатилин. И обидно, что он не мог точно сказать, с чего тут пошло наперекосяк. К Никите, даже еще не зная его, Гатилин был расположен уже потому, что Басов не претендовал на должность начальника строительства, — предлагали, но он отказался, и это важно, ибо напрочь исключалось подсиживание, соперничество и все такое... Гатилин собирался щадить Басова, себя ведь он не прочил в ученые и мысленно был благодарен не только Малышеву и министру, но даже и Хотееву, — все-таки человек причастен к подбору кадров, а такую пару, как они с Басовым, и нарочно не подберешь. А отношения не сложились, то есть безупречные не сложились, на какие рассчитывал он.

Виктор Сергеевич сжал челюсти, огладил вздувшиеся желваки. Неприятно уступать, но еще неприятнее сознавать, что ты не хотел этого. Нет, не хотел.

Долго смотрел в зеркало Виктор Гатилин и не мог оторвать взгляд. Не ко времени заняли его думы о Басове и Барахсане, но видно, в этом человек не всегда волен над собой.

Суровый гатилинский взгляд, каким проникал Виктор Сергеевич, по собственному убеждению, в суть вещей и постигал тайное — даже не мысли собеседника, а само предчувствие их, на этот раз, отражаясь в стекле, проходил внутрь его самого, в ту недоступную область, где сходятся начала начал человека. Было неверно сказать, что в эти минуты Гатилин думал, вспоминал, анализировал, — он просто созерцал мир, живший в нем. Ему дано было видеть прошлое и ошибки, но ничего нельзя было изменить там... И чем пристальнее вглядывался Гатилин в себя, словно продираясь сквозь толщу фиолетово-дымных сумерек, тем отчетливее мелькало в сознании что-то странно-знакомое, разбросанное в беспорядке, как домики на окраине города. Еще не явилось точное название и сравнение тому зыбкому, что он видел, но притягивающее мерцало огоньками разных цветов, и Гатилин подумал, что его прошлое не мертво, как иероглиф, оно жило в нем, пульсировало энергией, что-то тускнело и угасало на время, другое озарялось яркими вспышками. Какая-то зависимость, непостижимая ему, была в этом мерцании. Вглядевшись пристальнее (и эта пристальность означала новое приближение, сокращение расстояния между собой настоящим и своим прошлым), Гатилин интуитивно понял, что подлинные события, имевшие место в его жизни, как бы сместились, подчиняясь некоей закономерности и обнажая его отношения с Никитой.

Вот день первого знакомства Гатилина с Барахсаном и сам он, возбужденно потирающий руки. Еще бы! С такими энтузиастами он готов сдвинуть горы. Он заранее упоен тем, что они молоды, зелены, и он щедро оделит их своим карадагским опытом. Завтра же кинет лозунг: долой бараки, балки!.. Дома с удобствами, кафе, а то и чудосад, как в тропиках, — вот что он предложит им. Конфетка?! Пусть! Лишь бы приковала романтиков к Северу. Все это аукнется, когда работы пойдут широким фронтом, когда вкалывать придется от зари до зари. А народ добро помнит. Гатилин такой: все обеспечит, только не подводите его с трудовыми рапортами!

Что же молодняк?! Мнутся, довольны, они не против. Но...

Посмотрите, Виктор Сергеевич: и без вас строились здесь дома не хуже, чем на Карадаге. Разумная планировка улиц... Вот клуб заложен, вот кафе, а в этой роще спортивный комплекс. И питание у нас не хуже, чем на южном берегу Крыма в сезон фруктов.

Неужто прежняя гатилинская инициатива во многом уже превзойдена здесь и без особых усилий? Неужели его старания на Карадаге сводились только к вынужденным переменам, какие повсеместно диктовало время, и его личная заслуга лишь в том, что он верно сориентировался на действительность. Для Барахсана этого мало, и Виктор Сергеевич растерян: с чего начинать?..

И сами, незванные, пришли к нему Никита с Алимускиным, смеются: «Ломаете голову, Виктор Сергеевич?!» Он строг и деловит: «У вас ко мне спешное? Присаживайтесь, обсудим...»

«Жаль разочаровывать, — Алимускин покосился на Басова, спрятав усмешку, — великие проблемы ходят все стороной. У нас мелочи... На основных объектах мы в графике, а вот в тылах зависли два детсада, ясли, ресторан, школа. Школу с яслями обещались пустить к сентябрю, но на них крыши нет, отстает отделка. Возьмете на себя?»

«Пустим!» — сказал он первое слово с восклицательным знаком.

А вот — ночь, Гатилин у себя дома, перелистывает журналы. Пачка книг на столике у кровати. Вынужден подтягиваться! Ребята золотые, но палец в рот не клади, особенно Басову. Малый — скромняга, каких поискать, эрудит, каждое слово электроникой проверить можно. Старыми замашками — на чутье да на глазок — его не возьмешь. А надо, чтобы и он видел, что мы не лыком шиты, думает о себе Гатилин. Неловко ему, старику, идти на поклон к молодым, и он штудирует подзабытые науки самостоятельно. Кончается все это трагикомически: кое-что из журнальных новинок Гатилин решил применить на стройке. Разумеется, не буквально, а изменив, модернизировав, и, пригласив к себе Никиту, разворачивал чертежи, предвкусывая, как тот посмотрит и снимет шляпу. Никита посмотрел. Вздыхнул, выдал через силу:

«Неплохо, Виктор Сергеевич, но...»

Опять это «но»! Где Никита — там обязательно какое-нибудь «но». Гатилин в сердцах чуть не сказал ему: мы с тобой как разношаговые шестеренки! Вроде вместе должны крутиться, а никак не попадем в зацепление. Не сказал ничего, только выслушал, как Никита его идею с головы на ноги перевернул. Да еще и поблагодарить пришлось Басова. Хорошо хоть, свидетелей не было, а то он сдуру чуть не назвал публики.

Басов ежедневно с десяти до двенадцати запирался у себя в кабинете, и доступа к нему не было. Девочка-секретарша близко никого не подпускала, да и не рвались особо, все знали, что Басов работает. Ну, этот устав не для Гатилина. Раз не в настроении был, наорал на девчонку, до слез, кажется, рванулся к Басову, а тот спокойно с порога: «Виктор Сергеевич, прекратите топот!..»

Выходит, думать — привилегия Басова, а руководить?..

Но и Гатилину никто не заказывал дорогу на стройку: пожалуй-ста, руководи! Басов частенько сам приглашал его, и Гатилин ехал, вместе разбирался в неурядицах, намечал и обсуждал графики, утверждал их, а вместо удовлетворения крепчало в душе недовольство. Его словно натаскивали, приучали к заведенному до него порядку, да он и сам сознавал, как мучительно долго входил в должность, и раздражало, когда на каждом шагу слышал: Басов, Басов и Басов. И не мог Гатилин не чувствовать, что, даже когда к нему обращались,

люди мысленно оглядывались на своего главного. Тот же не считал нужным вникать во все дела: решайте сами, посоветуйтесь с Гатилиным.

Что это, раздутое самомнение, какой-то особый дар, талант?! Гатилин не находил однозначного объяснения. Он с пристрастием относился ко всему, что хоть как-то могло умалить или возвысить его авторитет. Разве справедливо, думал он, что один корпит день и ночь, изучает, советуется, сравнивает, пробивает, в немыслимом напряжении сил утверждает право на власть, а другой может позволить себе сходить на танцульки, в кино, залиться на выходной день в поход, может засесть в кабинете, отгородиться от народа, и ему достаточно перекинуться парой слов по селектору, чтобы знать, где что происходит, и все видит, все умеет, все у него на месте, и душа не болит, и все крутится-вертится, и еще хватает наглости тормозить, поторапливать Гатилина.

Однако настал и гатилинского торжества день.

Басов принес на утверждение новый проект перекрытия. Расчеты проверены, точны. Гатилин не выразил и тени сомнения! Он просто обратил внимание Басова на сроки перекрытия, чрезвычайно сжатые, едва ли разумно допустимые здесь, на Севере. Риск? Вызван ли он острой необходимостью? Наконец оправдан ли?! Ведь кроме молодецкого азарта, пыла, желания отличиться — благородного желания и понятного в их возрасте — в активе нет объективных предпосылок, гарантий... И Басов краснел перед ним, как мальчишка. «Я не убежден, — продолжал Гатилин, — что нам не дадут по шапке...»

Но он, Гатилин, допускал, что проект могут утвердить. Тем лучше! Никита после этого станет кичиться, зарываться, задиаться по мелочам, а тогда — прав не прав — двух медведей в одной берлоге не держат. А в итоге?! Заметил Алимускин ему однажды: «Виктор Сергеевич, ты арканом не сильно махай. У нас так не принято».

Басов предпочел ничего не заметить. Они ладили. И самое странное, что Гатилин постоянно испытывал не то чтобы вину перед Басовым или угрызения совести, но раздражающее его чувство должника Никиты. Гатилина не заставляли, не вынуждали, а он почему-то должен был гнаться за Басовым. Он не верил, не допускал, что и тот мог проводить бессонные ночи, мог мучаться, переживать, страдать, — успехи доставались Никите слишком легко, они не были оплачены и долей тех физических усилий и переживаний души, скрытых от посторонних глаз, которые знал лишь один Гатилин, и в этом проявлялась высшая несправедливость, незаслуженная им, неподвластная ему и ожесточавшая его. Гатилин сознавал, что желает хотя бы равенства с Басовым, если не превосходства над ним, а приходилось уступать.

...Такая память не удовлетворяла его. Может, смирить гордыню?! Следовало бы, а?! В конце концов то, что внутри нас копошится червь сомнения, и хорошо... Разве мы обязаны прислушиваться к нему и поступать вопреки здравому смыслу, рассудку? Сомнение затем и дано, чтобы укреплять веру.

И тут взгляд Гатилина, уже прощально обегавший неуютный мир памяти, вдруг как будто споткнулся, ударился о невидимый колокольчик, выбив звук, похожий на «гон!..» — Гатилин радостно вздрогнул, все в нем отозвалось слабому, едва различимому зову. Он устремился к затерянному гнездышку, и чем ближе, тем объемнее становилась желанная картина, отчетливее виделись очертания бараксанских сопков и гусеничный вездеход, перекачивающийся по первому снегу тундры и стреляющий с мотоциклетным треском выхлопными газами. Сам Гатилин сидит внутри вездехода в длиннополом тулупе поверх

кожанки, Басов — рядом с водителем, указывает дорогу. Они едут к Лысой горе, на олений гон.

Незадолго перед тем в Барахсане был Вантуляку. Он согласился провести лёса начальников на тропу боя. Старик обещал ждать их за Красными скалами, на Лысой, где стада олени не многочисленны, но старые самцы постоянно встречали там молодых.

— Осечки не будет?! — поинтересовался Басов.

Старик засмеялся. Словечко понравилось ему, и он, смакуя, несколько раз повторил, обращаясь то к Басову, то к Гатилину:

— Однако, так. Осечки не будет!

Он смотрел на Гатилина преданно и при этом часто моргал, а в лице как будто застыло любопытно-насмешливое выражение. Это не понравилось Виктору Сергеевичу, он сердито подергал бровями и, чтобы скрыть недовольство, сказал, задабривая старика:

— У нас тоже не будет «осечки». — И оттопырил мизинец и большой палец, показал поднятые вверх пальцы.

— Две! — Вантуляку понял и повторил гатилинский жест. — Две бутылки! Однако, хорошо пить будем...

Дня за три до поездки густо повалил теплый снег, но почти сразу же снова ударили морозы, и гусеницы вездехода ходко шли по топкой еще месяц назад тундре. Сзади оставались ровные дорожки от траков, простроченные зеленым мшаником. След был яркий, приметный; Гатилин почему-то старался запомнить его. Вообще он не увлекался охотой, в поездку согласился скорее из любопытства, ради разнообразия и теперь, придавая всему чрезмерное значение, думал, глядя, как тяжелело над ними небо, лохматились и черными валами клубились на сильном ветру тучи, что в непогодь охота получится особенно удачной.

К Лысой горе добрались поздно, к вечеру. В колченогой избушке барахсанских туристов жарко пылала печь, клокотал на огне котел. Вантуляку сидел за столом при лампе, перебирал охотничьи припасы. С мороза сладко пахло в избушке чаем и свежим мясом, должно быть, зайчатиной.

Однообразный путь утомил Гатилина, изрядно повытряс из него утренний оптимизм, он в общем-то уже жалел, что соблазнился этой поездкой. Какой там гон, какие олени, когда даже оленьего следа, как ни пялил глаза Гатилин, не видал. Ноги убиты, и только... Разве еще спирту напиться всласть.

За чаем он немного отошел, ударился в длинные, непонятные никому рассуждения обо всем и, лишь когда надоедал сам себе, приставал к старику:

— Чего ты молчишь, дед! Выдай случай какой-нибудь или что!

— Или что! — отвечал тот. — Раненько вставать надо, так, — уже в который раз напоминал он.

— Гэ-э, да ты только след покажи! При таком ветре он сам под пулю ползет! Я ему веревку на рога и скомандую старт с прицепом. Прямо в город, точно, Басов?!

— Однако, нет, — сокрушенно поцокал Вантуляку. — Надо молить коча, чтобы они угнали ветер. Ветер плохо. Будет дуть — не возьмем оленя.

Гатилин не понимал нганасана. И не верил ему. Черта лысого знает он. В тишине, если не будет ветра, сучок треснет — на километр слышно. Тогда попробуй подкрадись к оленю. А когда лес трещит, когда у зверя в рогах гудит, как в трубе, — тут его и брать надо, с минимального расстояния и без церемоний.

Скупой на слова, старик не стал объяснять, что в ветреную по-

году олень особенно чуток, пуглив, осторожен. Мало стоит на месте. Слышит намного дальше, чем видит. И тогда ходить за ним — не находишься.

Поднялись они затемно. Встали на лыжи, карабины наперевес. Вантуляку дал каждому по паре волосяных чулок, скользких, как будто из атласа.

— Ходить будем — снег скрипеть не будет, — пояснил он.

Часа через два скорого хода они были уже далеко от избушки. Гатилин распарился, начал задыхаться и отставать. Вантуляку дал им немного отдохнуть. Потом и вовсе оставил одних в березнячке, наказав говорить потише и прислушиваться, не заревет ли вожак, а сам ушел вперед. Зачерпнув пригоршню снега, Гатилин намылил лицо. Подумал, вытираясь платком, что таинственные коча вняли-таки стариковской мольбе! — ни одна ветка в лесу не шевелилась. Небо было сплошь укутано белыми облаками, низкими, едва не задевавшими макушки деревьев. Когда Гатилин с пылу раскашлялся, воздух шерохнул над ними, как ветер сухими листьями, и тотчас же установилась еще более глубокая тишина. Настораживающая и пугающая. Похоже, что звуки глохли в тугих облаках.

— А врёт, пожалуй, старик, — негромко сказал Гатилин. — Никита Леонтьевич?! Стыдно будет ни с чем возвращаться, а? На смех поднимут нас.

— Ничего, — Басов этому ли, чему ли другому засмеялся.

Тоненьким посвистом, похожим на птичий, Вантуляку подозвал их к опушке. Они еще издали увидели, что снег там вытопан до подстилки. Крупные копытные вмятины говорили, что жировал тяжелый зверь. Широкий ровный след уводил в чащу.

— Однако, старая жировка, будем искать еще, — сообщил Вантуляку.

Теперь, когда они знали, что олени близко, идти было легче. Невольно напряглись глаза охотников, обострился слух, и обоим, Басову и Гатилину, казалось, что невыносимо громко скрипят лыжи. Но такое внимание без привычки не могло быть долгим, хотя не меньше утомляло их и молчание. Гатилин виноватым голосом спросил старика:

— А соболь тут есть?

— Нет, однако, — вздохнул Вантуляку.

Он и сам надеялся — давно не соболевал здесь, но уже видел на снегу прерывистую строчку следов горноста, а они не выносят друг друга. Где соболь — горностаю делать нечего. Соболь загоняет его, задерет, а нет — так хоть выгонит из своих угодий.

— Они знают друг друга, — пожалуй, с гордостью за соболя сказал Вантуляку.

Он указал на поваленную лесину, притрушенную снегом. Легкие, как будто кошачьи, следы вились около. Соболь, объяснил старик, непременно прошел бы по лежащему дереву, это ему удовольствие, а горностаю и внимания не обратил, нырнул под снег.

Обойдя краем небольшой холмистый распадок, они взяли гористее, держа на березовые колки, которые любит олень, и не ошиблись, наткнулись на след табуна. Гатилину, когда старик объяснил, что след свежий, почудилось, что он ясно улавливает какой-то незнакомый, непривычный запах, какое-то брожение в воздухе, и торопливо смахнул с плеча карабин. Пока там Вантуляку рассказывает, скажет что, он уж готов.

Нетерпение одолевало и Басова: уже? — хотелось спросить ему нганасана, но Вантуляку держался спокойно, пожалуй, даже слыш-

ком невозмутимо, и Никита, подражая ему, только отвернул клапана ушанки. Предусмотрительность не мешает. Ему померещился топот копыт, но это стучало в висках.

Ожидание охоты беспокоило сейчас и старого Вантуляку, вернее сказать, томило, потому что по-настоящему он переволновался дома, когда считал дни до первого снега, до первого гона, и, сердито отмалчиваясь на уговоры детей сидеть зиму в тепле с внуками, тайком от них готовил припасы, собирал нарту и подкармливал ездовых собак. Теперь же он на работе, вздыхать некогда. Вздыхать будешь, когда оленя возьмешь, потому что и олень, как старик нганасан, тоже учуял, что жизнь в тундре меняется. Где пролегалла раньше свободная тропа зверя, там ходят теперь люди, ворошат землю, взрывают скалы, летают на железных птицах. От пешего стрелка вожак еще может увести стадо, запутать след на гольцах, в перелесках, но, когда железная птица начинает клевать огнем и безумные, непослушные важенки разбегаются в стороны, вожак теряет свое достоинство, потому что не может собрать их, рассеявшихся по тундре.

Думая так, Вантуляку неспешно распутывал след. Табун прошел немалый, вожак гнал около полусотни важенок. И стояли они здесь долго, кормежка была спокойной, — повыбит мох под корнями берез, обглоданы сладкие молодые ветки, по вымерзшим бочажкам клочьями содран лишайник.

— Ну что, далеко они?! — шепотом спросил Басов.

Вантуляку поднял со снега, помял в горсти темные катышки. Помет смерзся и был тверд в руке, но за твердой скорлупой старик как бы прощупывал чуткими пальцами восковую мягкость, и это о многом говорило ему. Не отвечая Никите, но всем видом показывая, что осуждает прыть молодого тугута (говорил он ему, и не раз, однако, что охота — это терпение!), Вантуляку сошел с тропы стада и остановился перед одиноким размашистым следом.

— Вожак, однако... Туда пошел. — И он показал на лесистую сопку.

Они еще не знали, далекий путь им предстоит или близкий, но заря разгоралась все ярче, надо было спешить, и в эту минуту зыбкую тишину утра вдруг распорол протяжный, гортанно-рокощущий звук, словно там, за лесом, кто-то дернул во всю ширь гигантскую холстинку. Еще не обвыкся слух, а треск уже перешел в долгий и более мелодичный звук, похожий на зов пастушьего рога. Горловой звук, все нарастающий и направленный в самую высь небосвода, истекал страстным живым трепетом, и каждая новая нота была выше и звучней предыдущей, — третья уже, и четвертая... — и уже казалось, что так высоко не взять никакому зверю, но тут — внезапно, словно с неимоверной высоты упало что-то, разбилось, умолкло — все стихло.

— Неужели так олень кричит?! — Недоверчиво посмотрел на старика Гатилин и перевел взгляд на Никиту. Рев был, разумеется, звериный, но почему такой понятный, словно человеческий?

Они слушали. С веток кое-где опадал снег, но рев не повторялся. Да и так ясно, что это он! Зовет или предупреждает, отпугивает?.. Басов с Гатилиным затоптались на лыжах, завертели головами, Вантуляку осадил их.

— Цыц! — Поднял он грозно коричневатый палец, сощурился на них, недовольно буркнул: — Он слушает.

Призывный рев пролетел над чащобами, ложбинами, достиг отдаленных сопкок, упал в глухие пади, урманы, и самочки, поджав короткие хвосты и насторожив уши, слабо бодают друг друга в истоме, но ни одна из них не тронется с места, как и тот, кто звал к поединку.

Он еще повторит свой клич громче, протяжнее, но прежде дождется отраженного от гор эха. И старый охотник тоже ждал сейчас этого отзвука, чтобы по тому, откуда придет он и какой силы, определить непонятым, необъяснимым образом расстояние до вожака и сопку, на какой стоял он. Тогда они пойдут туда коротким путем, не повторяя по глубокому снегу петли оленьего следа.

И когда раскатистое волнистое эхо докатилось до них, Басов и Гатилин легко обманулись, приняв его за ответный клич. Вантуляку сдержанно усмехнулся: олень и молодой, а не так тороплив, как человек, — тот если слышал, вскинул сейчас ветвистые рога и замер, чтобы не обмануться. Может, торопливо всхрипнул жаркими ноздрями, еще не знавшими запаха крови соперника, и стоит теперь слушает, ждет... Однако Вантуляку не стал объяснять лёса начальникам причину своего смеха.

— Совсем близко, — сказал он. — Лыжи снимай, шум будет.

Они торчмя всткнули их в снег на поляне, чтобы сразу найти на обратном пути. Вантуляку посоветовал Гатилина скинуть тулуп. Виктор Сергеевич с радостью сбросил бы и полушубок, — уже не ноги грели охотников, а страсть, тайно жившая в каждом от предков, звавшая их на бой так же, как гортанный клич призывал на схватку оленей. Осторожно ступая в мягких волосяных чулках, они двинулись за нганасаном.

Теперь рев повторялся чаще, то более сильный и грозный, то требовательный, и в нем клокотало гневное недоумение, что долгожданый соперник, след которого он чуял на своей тропе, не отзывается. Старый олень кричал на восток, и, когда охотники были уже на полпути, где-то неподалеку отозвался, наконец, молодой трепетный голос — его рулада тоже была мелодичной и высокой, но короче. Вероятно, самец спешил, жажда обладания стадом подогривала его отвагу и нетерпение к битве.

Вантуляку вдруг остановился.

Впереди, по мелколесью, полосой прошумел ветер, хлестнули широко раздвинутые сучья, качнулись макушки берез, треснуло перешибленное сильным копытом деревцо. Когда утихло и Гатилин в нетерпении обошел старика, чтобы хоть издали посмотреть на раскидистые рога оленя, Вантуляку тронул его за рукав и глазами указал шагов на десять вперед, где в прогалине на снегу испуганно застыл при виде людей пушистый зверек. Это был горноста́й, неуклюже поджавший хорошо заметный на снегу короткий черный хвостик. Подобрав задние лапы и встав на передних, зверек напряженно выгибал шею, следя за людьми черными злыми бусинками. Всего с локоть длиной, даже меньше, — и не зверь как будто, а белая меховая рукавичка с черным пальцем, — но Гатилин попятился, увидев вздрагивавшие, как у крысы, пилки зубов. Невысокие овальные уши почти выворотились к затылку, и оттого короткая оскаленная мордочка внушала отвращение, — пожалуй, больше, чем страх. Ловкий и хитрый, горноста́й по природе своей любопытен, но при угрозе смело бросается на человека. Проворности его может позавидовать рысь. Вантуляку осторожно шагнул назад и, тихо бормоча, пошевелил ладонью, дескать, давай, давай, друг, проваливай... Горноста́й сжался в комок, чтобы в следующее мгновение прыгнуть, и тут перехлестнувший рев самцов слился в один клич, протяжный и тревожный, и черный хвостик задрожал в нерешительности.

Вантуляку нахмурился: горноста́й предчувствует кровь. За это не любят его охотники. Пусть лучше убирается! И, показывая, что он не собирается его трогать, Вантуляку опустил ружье прикладом

в снег. Потеряв интерес к равнодушному человеку, зверек неровными прыжками умахнул в чашу.

Идя за Вантуляку гуськом, след в след, они продирались сквозь густые заросли кустарника, который, чем выше по склону сопки, тем заметнее редел, но идти с высотой становилось не легче. Небо над ними скоро посветлело, кусты расступились, и они оказались на опушке, а впереди, на голой поляне, боком к ним, стоял крупный, широкогрудый олень. Запрокинув на спину крутые рога, он вытолкнул горлом начало рулады и вдруг точно захлебнулся, увидев выходящего из леса на его зов молодого соперника. От неожиданности он даже боднул головой, выпученные круглые глаза налились кровью. Басов и Гатилин тоже заметили молодого оленя. Тот замер шагах в тридцати, и по вздымавшимся часто бокам видно было, что он отмахал порядочное расстояние. Некогда было высматривать противника, соизмерять силы, — слепая страсть гнала его на схватку. Он выметнулся на поляну стремительно, встал, как вкопанный, забыв упереть оттянутую в широком махе, с острым коленом, ногу. Горбоносая голова задрана кверху, покрытые шерстью ноздри вздулись на запах чужой плоти. Густая, почти бурая шерсть жестко топорщилась, на шее то поднималась, то опадала — толчками — белая грива, вскипала молодая кровь, тесно ей было в упругих венах. Сильные мускулы напряглись, казалось, еще миг — олень взвьется в прыжке, и тут же все будет кончено.

Старый вачажный стоял спокойно. Неяркий свет пробивался сквозь мгlistую облачность и не слепил, не раздражал его, но, может быть, ему показалось, что соперник медлит в нерешительности. Он недовольно качнул темными, широко поставленными вперед и назад рогами, но массивное тело его оставалось неподвижным, как камень. Выждав еще некоторое время, которое позволяло ему его достоинство, он зло, с коротким размахом ударил перед собой копытом, выбив мерзлые комья.

Сдерживая тревожно дыхание, как если бы и сам готовился сейчас к прыжку, и все замирало в нем и трепетало в предчувствии необъяснимого восторга, никогда прежде так остро и близко не переживаемого им, Гатилин шепнул Никите, придерживая того за локоть, чтобы не очень высовывался из кустов:

— Какого берешь?! Мой этот.

Упреждая Никиту, он кивком головы указал на матерого самца, сердито и методично бившего копытом о землю. Чистый снег перед ним довольно широко уже был забрызган рыжеватой земляной крошкой. Даже незнатоку было понятно, что в суровом достоинстве вожака и некотором нетерпении его гораздо больше силы и отваги, чем у молодого, хотя тот и принял вызов и пришел, чтобы испытать удачу. Никита невольно покраснел: вот так и он смог бы отказаться, — и прошептал, после вздоха:

— Ладно, согласен!

Вантуляку после недолгого, но внимательного изучения обоих оленей, сказал, что самцы уйдут отсюда разными тропами. Один — вверх, через сопку, к стаду — это тропа победителя; вниз — туда, где течет под Лысой горой ручей, пойдет другой. Это тропа побежденного.

— Выцеливай, однако, в сердце, — предупредил он почему-то Гатилина. — Олень шибко крепок на рану. Лягаться станет.

И бесшумно исчез в зарослях. Зачем ему мешать лёса начальникам? Охота, как и работа, не любит этого. Кроме того, старый нганасан не был уверен, что один из них, слишком торопливый, не

промахнется, и тогда ему придется добивать подранка. Чутье подсказывало ему победителя, и он, подумав, свернул на тропу молодого оленя. И все же Вантуляку не был столь категоричен, как леса Басов и леса Гатилин, решившие, что силы оленей слишком не равные. Верно, старый олень крепок, он примет на корпус и двух таких молодых. На рогах его много отростков, они широко расходятся ребристыми лапами, как ладони, и они упруги, чтобы смягчить удар. У молодого самца, однако, светлее кровь, и она горяча, она кипит в его жилах, и осторожный вачажный знает это, как знает, что в стаде ему преданны только хаптарки, а молодые важеньки и полные страсти вонделки взбрыкивают, кося фиолетовым глазом на несмышленишей лоншаков. Молодой олень еще не так опытен в бою, как старый, но он резв и бесстрашен, и сладкий пир ожидает его после победы, поэтому он не уступит.

...Олень-вожак снова мотнул головой, нетерпеливо переступил выбитую в снегу ямку, и в тот же миг молодой в одно касание вихрем налетел на него. Они оба чуть пригнули морды и хлестнулись рогами, тут же отскочив в стороны, а Гатилину показалось, что это его олень бодливым кивком отшвырнул соперника. Так или иначе, но позиция изменилась, и шансы их как бы уравнились, потому что у первого не было преимущества обороны и высоты, а второй уже не мог разогнаться для повторного удара. Костянистый стук ударившихся рогов распалил их. Они беспрерывно насакивали друг на друга, пятились и снова нападали, и охотники скоро заметили, что каждый из оленей стремится вытолкнуть соперника с той части поляны, где была еще заметна свежая лунка на ископыченном снегу. Белесоватые, бедные отростками рога молодого оленя упруго отскакивали, сшибаясь с потемневшими густыми стволами. Приседая, содрогаясь от ударов, оба упирались копытами и заламывали друг другу морды то к вершинам берез, то к самой земле. Розоватая пена, веселя и беснуя их тонким запахом крови, клочьями выбивалась из раздутых ноздрей, слетала с вывернутых в оскале губ, и так, сцепившись, они пританцовывали по кругу, пока земля не сделалась черной от вытоптанного снега и выбитых ошметьев.

Неожиданно вожак сдал, а может, это была хитрость, — под напором он чуть отступил назад, но тут же, изловчившись, привстал на дыбы, выкинул широкое распластанное копыто вперед. Молодой, наваливаясь на него всей тушей и, должно быть, уже чувствуя острую боль, неловко завалился набок, чтобы не пропороть брюшину. Копыто полоснуло его двурожием по вздыбленной шкуре. Падая, он, как лошадь, отбиваясь от волков, лягнул наскочившего вожака задними в пах. Взбешенные, оба поднялись и, разойдясь крупными скачками, описали восьмерку, сойдясь на том же месте. Опять ударили лоб в лоб, пошли так на второй круг, на третий, словно то была пляска, а не бой, и вдруг тонкие рога молодого, спружинив, зашли за толстые широколапые ветки старого, и оба, еще по инерции валясь передом друг на друга, но уже чувствуя страшную боль, разрывающую им лоб, отпрянули назад, и каждый, может, был готов покориться, но сцепленные рога не дали им разойтись.

Поняв, что олени теперь не смогут расцепиться, что это мертвая хватка, Басов невольно вскинул руку. Догадался и Гатилин.

— Пора... — сказал он, и, чтобы не слышать стеклянного скрежета рогов, чтобы оборвать разом мучительную боль, от которой болью наливались олени глаза, стал медленно наводить на них карабин.

Стыдась и стыдливо еще надеясь на что-то, Никита тронул его за плечо:

— Погоди, Виктор Сергеевич, немного.

Гатилин скривился. «Мальчишка!» — презрительно подумал о Басове. Но что это там?!

Схватка как будто не кончена? Или и звери впадают в истерику?..

Вожак, осознав безвыходность положения, а может, только из желания ослабить хоть на минуту боль, подогнул колено и с ревом, исторгнутым из исподних глубин, упал, увлекая соперника. Повалившись набок, они стали переворачиваться через голову, и рога, оказавшиеся в вывернутом положении, расцепились сами собой. Едва ли вачажный успел почувствовать это, как молодой самец вскочил уже и резко приткнул левое копыто в его дрожащую, с проседью, гриву. Тот дернулся, но поздно, — копыто врезалось в кожу. И тогда, побежденный, он стал покорно распластывать, вытягивать по искрошенной копытами земле храпящую морду. Большая, с ветвистыми рогами, голова как бы сама шла под удар правой, но это не было мольбой о пощаде, — молчаливый и скорбный жест явился признанием победителя. И новый вачажный, с чрезмерной медлительностью пронеся второе копыто над головой побежденного, спокойно упер его в упруго вздыбленную холку старого вожака. Вскинув рога, он огласил мир неровной, но торжествующей руладой, и его победный клич понесся далеко, заставляя вздрагивать в березовом перелеске за сопкой заждавшихся самочек. И упругими волнами расходился над сопками и безмолвной тундрой напряженно звенящий воздух.

Он победил! Но он был щедр. По вечному закону рыцарских поединков он даровал сопернику жизнь. И будущее не страшило его. Хотя, как знать, может быть, следующей осенью этот или другой пропоеет над ним свою победную песню.

А охотники?! Надо же было стрелять! Никита так и не поднял карабин. За что ж победителя?! Но ему было жаль и старого горделивца, — тот тяжело поднялся и брел под уклон, угнув горбоносую морду, как обиженная корова, которую отогнали от чужого стада.

Недовольный Басовым, Гатилин засопел и навел на своего мушкетера. «Теперь не сорвется!.. — подумал он с оттенком неприятного торжества, надеясь удачным выстрелом искупить досаду от поражения. — Хорошо еще, что они не поспорили с Никитой, а то б проиграл...» Он думал об этом, не замечая, как дрожат руки; глаз наконец поймал прорезь мушки.

И в тот момент, когда Гатилин нажал на спуск, когда сухой винтовочный выстрел расколол воздух и пуля (зачем он все-таки целил в голову, а не в сердце!) рикошетом ударила по рогам, в тот же миг с березы, под которой проходил другой олень — олень-победитель, как будто от эха, сотрясшего воздух, скатился снежный ком. Он упал молодому самцу на ухо, и олень вздыбился, галопом рванул по поляне, вскидывая и трясая рогами, и жуткий рев выкатывался из его горла.

На опушке, с противоположной от Басова стороны, показался Вантуляку. Он размахивал руками и, продираясь сквозь кусты на поляну, испуганно кричал:

— Стреляй, однако, стреляй! Уйдет, совсем плохо будет... Стреляй!

Он не мог взять чужую добычу, честь нганасана не позволяла перенять право на выстрел. Но сейчас не это было причиной его беспокойства. Сейчас Вантуляку выстрелил бы, но взбешенный олень не пошел тропой победителя, где старый нганасан ожидал его. Олень скачками пронесся мимо Никиты, и лёса Басов должен был убить его, а он разинул рот — совсем как глупый тугут.

— Зачем?! Не надо... — Никита виновато посмотрел на рассерженного старика. — Пускай живет, молодой еще.

— Ай-вай-вай! — Вантуляку обиженно поморгал глазами, опустил руки. — Нехорошо, однако, совсем нехорошо будет, плохо!

И смотрел, как уходил победитель, отчаянно встряхивая головой, делая неровные петли.

— А что это с ним? — спросил Никита.

— Издохнет, однако, оленок, а такой храбрый тугут был, — сокрушался Вантуляку и качал головой. — Скоро сдохнет... Эта паршивая собака, горностай, однако, на него прыгнул. Выгрызет мозг и бросит. Однако, бить надо было... Пах-пах! Стрелять надо... — И умолк. Что теперь говорить, бесполезно.

Гатилин, сгоравший со стыда от своей промашки, услышав сетования Вантуляку, приободрился. А что? Не одному ему не везет! И глаза его сверкнули азартной радостью: басовский-то, и молодой, и победитель, а в проигрыше. Погибнет ведь... А он, может, нарочно промазал. Его-то олень и от пули ушел, и от кошки лесной, и, значит, вроде как он теперь... не победитель, но все же...

— Что же будет? — глупо спросил Никита.

— Однако, может, — неуверенно ответил Вантуляку, — если до озера добежит, с головой в воду прыгнет. Тогда, однако, горностай сам бросит.

— Какое там озеро, — хмыкнул на его предположение Гатилин. — Лед же кругом!

Но ни Вантуляку, ни Басов, с надеждой поглядевшие друг на друга, не сказали ему, что под Лысой горой бьют горячие ключи... К тому же в тундре не принято пустыми словами перебивать тропу удачи.

...И вот сейчас, как бы заново пережив вспомнившийся ему гон, Гатилин, все еще глядя на себя в зеркало и словно проникая в скрытую связь явлений, испытывал радость от пережитого и, возвращаясь из памяти с этим возбужденно-радостным чувством, отвернул холодную воду и мощной струей окатил голову. Чисто выбритые щеки и широкий, упругий подбородок теперь, когда он снова посмотрел в зеркало, казались ему не такими уж дряблыми. Молодец хоть куда, и что там говорила по этому поводу Варя? Да что Варя!.. Ее слова — только легкий зуд, объяснимый и понятный, потому что она — женщина... Другое дело — гон!.

Одного взгляда на мужа Варя было достаточно, чтобы понять, о чем он думал. Она как нельзя удачно выбрала время для разговора. И Варя выпрямилась, рывком сунула набитые чемоданы под кровать, глаза ее засияли.

— Виктор, — сказала она, уверенная, что на этот раз он не возразит ей, — ты перекроешь Аниву!..

— Это мы запросто, — засмеялся он. — Сейчас тулуп, шапку туда, — а сам говорил и натягивал на голову вязанную Варей, с бубенчиком, запахивал тулуп, — и перекроем! Что нам стоит дом построить!

— Ты знаешь, что тебя ждет?..

Она подошла и многозначительно положила ему руку на грудь, но не закончила фразы, потому что Гатилин насмешливо перебил ее:

— За эти данные дорого заплачено?

— Ты невыносим, — сказала она с нарошливой обидой и строгостью в голосе. — Неисправимый. Сперва перекрыть надо, а потом все остальное...

Собравшись, Гатилин хотел на прощание обнять ее, вздохнуть: где ты раньше была, Варька! Даже не вчера, а несколько лет назад...

Но он приглушил это желание в себе, поняв, что на подобное признание, как на слабость, не имеет права.

— Я приду к началу! — крикнула она ему уже на лестницу. — Имей в виду, понял?!

Понятно, Варя, все понятно... Многозначительное участие, приятное на словах и почти бесполезное на деле. Кого и к чему только, скажи, обязывает оно? Все будет как будет!

А вскоре после ухода Гатилина в квартире раздался звонок. Варя сняла трубку. Звонил Скварский, довольно милый и подвижной, — он познакомился с Варей в день ее приезда и многое подробно объяснил ей о сложившейся ситуации. Он, кажется, не без ума, а верность Гатилину доказал, приехав вслед за ним с Карадага. Варя спросила его с игривым упреком в голосе:

— Юрий Борисович, как же это вы допустили, что Виктор Сергеевич, с его опытом, и... — Она замялась, давая ему возможность самому догадаться, что она хотела сказать, и Скварский находчиво заполнил паузу:

— Надо исправлять!..

Варя намекнула, что умеет ценить преданность.

— Что еще случилось, Юрий Борисович? — спросила она его. — Или вам Виктора Сергеевича?

— Пока лучше вас, Варвара Тимофеевна!.. Вроде бы и ничего не случилось еще, но обстоятельства могут так сложиться, что... Одним словом, Виктору Сергеевичу надо быть готовым к тому, о чем мы раньше с вами говорили.

— А разве он не готов? — наивно удивилась она и — требовательно: — Что там может быть, Юрий Борисович? Или вы хотите заранее заручиться...

— Варвара Тимофеевна... — Скварский обиженно вздохнул в трубку, словно не ожидал от нее такого недоверия, но голос его показался Варе снисходительным: — Так я не могу вам всего сказать. Мы ведь не расходимся в том, что сейчас наиболее важное. А судить о серьезности обстоятельств сгоряча... Кто возьмет на себя такую смелость в век относительности?

— В век осмотрительности! — засмеялась Варя. — Я совсем не понимаю вас, Юрий Борисович. У вас как у Мордюковой: то — то, а то — раз, и это...

Она прекрасно поняла, что Скварский искал поддержки, но коль он не говорит прямо... Но и Скварский лишний раз убедился, что имеет дело с догадливой женщиной.

— Тут важна психологическая подготовленность, — сказал он и замялся. Когда ходишь королями под туза, сто раз подумаешь, как быть с дамой. — Поверьте мне, — со значением подчеркнул он, — все может быть... В общем, я это хотел вам сказать...

Варя подумала, что она в конце концов ничем не рискует. То, о чем просил Скварский, было уже сделано, и, если еще и он поможет ей, значит, сама судьба идет навстречу. Чего же стесняться?

— Юрий Борисович, — она понизила голос, — я, со своей стороны, обещаю... Но и вы... — Затем заговорила громко, давая понять, что разговор окончен: — Надеюсь, мы увидимся с вами на перекрытии, договорим там.

Не очень довольная собой, она опустила трубку. Ревнивое чувство, что какой-то Скварский мог сделать сейчас для Гатилина больше, чем она, вызвало на ее полном лице красноту и усмешку. Больше, чем сам Гатилин, никто не сделает для него.

IX

Наступило утро. В штабном вагончике душно, людно, и от толчеи, духоты, гомона кажется, что здесь тесно, хотя народу не больше, чем на обычных заседаниях штаба. Пора уже сидеть всем по местам — время, но праздничное возбуждение, какое тщательно и неумело скрывают молодые командиры барахсанской стройки, неумовимо нарушило привычный порядок, ритм. Невозмутимо-строгие начальники служб, смен, участков явились при полном параде: в отглаженных сорочках, при галстуках, в лучших костюмах, а некоторые, несмотря на молодость лет, и с орденскими планками на груди, но для большинства это перекрытие — первое. Все немного церемонны и чопорны, улыбки натянуты — это от волнения, и, на кого ни глянь, у каждого на лице где-то под кожей затвердела, застыла гордость. Еще бы! Они сознают ответственность, а ответственность обязывает к сдержанности, — и оттого не замечают они взаимной скованности и одинаково бесстрастного, замороженного выражения на лицах друг друга. Но привычка берет свое, — вот уже там хохоток, анекдот, шутка, вот уже сходятся они группами, делятся свежими новостями и спешат послушать, что говорят в другом месте, и уже все знают, что шугой снесло водомерную рейку у моста, что отчаянный Бородулин едва не перекрыл в одиночку Аниву, — Сила Гаврилыч, мол, помешал ему (и Силин хмуро сторонится тех, кто посмеивается над ним), знают, что на перекрытие приехала дочь Тихона Светозаровича Малышева (не назойливо разглядывают Дашу, сидящую за столом рядом с Алимускиным), а в ресторане размахнулись — на каждого участника перекрытия жарят по поросенку, и это, разумеется, хорошо, но в столовой у Шурочки Почивалиной — из самых достоверных источников! — будет пиво, не то чешское, не то смоленское, и вздыхают: хорошо-то хорошо, да как совместить Шурочкино пиво с гатилинскими поросятами. Но не спрашивают, не принято праздным любопытством перебивать дело, — скоро ли начнется?! Только жадно ищут глазами: не знаешь, не слыхал?..

Перебрав не спеша свои новости, перешли на международные — тут можно и покричать, продрать горло, если не терпится. Хоккейные болельщики заспорили о канадцах, пускать их или не пускать в «наш» хоккей, а за спинами спорщиков незаметно проشمыгнул было Скварский, но уж слишком подозрительной показалась его осторожность: может, что пронюхал?! И его окликнули:

— Тормозни слегка, пресса! Какие новости?

Юрий Борисович остановился, почувствовав, что сзади его держат за полу. Оглянулся — вроде свои все — и, выдергивая пальто, недовольно буркнул:

— Несерьезный народ, честное слово!

И до того искренне обиделся (а народ несерьезный, кто же спорит!), что все засмеялись. Скварский, все еще ворча, стал пробираться за стульями в угол вагончика.

Ну да, о нем уж и забыли, появился Коростылев. Ночь отдежурил, и как-никак друг Басова. Этот, правда, если и знает что, так не скажет, а все-таки:

— Василий Иванович, — осторожно, — какую перспективу предпочитаешь: поросеночка или пива бокал?!

— А что, жареным запахло? — отшучивается тот.

Улыбается, пожимает руки, заливает что-то про северное сияние. Нет, не скажет.

И опять по вагончику жу-жу-жу, — заработало на разные лады

неугомонное веретено, но ближе, ближе та минута, ради которой они собрались сюда, и сколько бы ни скрывался от предварительных расспросов начальник штаба, а уже и ему пора быть, и громяют по-немногу отодвигаемые стулья, рассаживаются без суетливости и все чаще поглядывают на приоткрытую дверь, в тамбур вагончика, где маячит сутуловатая фигура озабоченного Гаврилы Пантелеймоновича, и дымок от папиросы, зажатой в его руке, течет вместе с холодом внутрь вагончика.

За длинным штабным столом давно, кажется, сидит, как влитой, спокойно-сосредоточенный Виктор Сергеевич Гатилин. Он безучастен к бескрылым новостям, но от его внимательных, устало сощуренных глаз ничто не укрылось. Например, взволнован чем-то Петр Евсеевич Алимускин, — определенно взволнован, хотя и увлечен разговором с дочерью Малышева, журналисткой. Она улыбается, а он коробок спичек из рук не выпускает, поигрывает им и будет бренчать так, пока не решит своего. Неспроста, видимо, Коростылев мостится ближе к двери. Ну как же, намерен первым поднять своих механизаторов. «Ночью тюлень тюленем, — без злобы подумал о нем Гатилин, — а тут и смекалка, и сообразительность. Откуда что взялось!» В окошко вагончика Гатилин уже заметил запасного коростылевского бульдозериста, независимо выхаживающего с папиросой в зубах, руки за спину, кепчонка на лоб надвинута — ну, будто по перрону прогуливается. А из-за кирзового голенища торчит палка со свернутым сигнальным флажком. Зачем, спрашивается? Да чтобы по коростылевскому знаку отмашку дать! Отвлекаясь за флажковым, Гатилин на время не слышит штабного гула и думает: будь его воля, он с удовольствием поменялся бы ролью с этим наивным в своей серьезности парнем.

В штабе все чаще, требовательнее поглядывают на самого Гатилина, дескать, что молчишь, начальник строительства, открывай вече, Басова нет! Под гладкой кожей Гатилина гульнули желваки, щеки слегка порозовели. Ему не нравится, что Басов задерживается, не нравится, когда говорят о нем самом в его же присутствии, — он осекает таких резким взглядом, но на Алимускина это не действует. Тот смотрит в глаза Гатилину, и по губам его Виктор Сергеевич угадывает свою фамилию. Даша тут же переводит взгляд на Гатилина, смотрит прямо и с интересом. Видимо, ничего плохого Алимускин не сказал. Сделав вид, что он ничего не заметил, Гатилин, приподняв подбородок, оглядывает собравшихся. «Кажется, все... — Но сам думает еще о Даше, — хорошо, что она не лезет к нему с расспросами».

— Время, время!.. — настойчиво подает голос требовательная галерка.

Хмурый Гаврила Пантелеймонович опять выходит в тамбур, закуливает и придерживает ногой дверь, «чтоб проветрилось». Коростылев о чем-то спрашивает у него, Силин басит:

— Сиди, не видно еще.

С улицы слышен голос Басова. С ним поздоровались, он что-то сказал, засмеялся и вот уже в дверях — собранный, энергичный, и следа улыбки нет на его белом длинноскулом лице.

Пока Басов раздевается, вешает плащ и шляпу, Коростылев по-лушепотом успевает сказать ему, что Люба, секретарша, побежала в больницу узнать, как там с Бородулиным, — Никита кивает, и, когда он подходит к своему месту во главе стола, можно сверять время — без нескольких секунд девять.

Никита Леонтьевич требовательно стучит колпачком авторучки по стеклу перед собой, садится.

Девять.

Перед ним журнал дежурства. Мельком взглянув на раскрытые страницы, Никита передвигает журнал Одарченко. Анкино лицо не видно членам штаба, она сидит к ним вполоборота, а от Никиты не спрятаться, — у нее красноватые круги под глазами. Виноватым голосом, но с упреком, он тихо говорит ей:

— Аня!..

На русском языке это значит: перестань, хватит! Я же сказал, что виноват перед тобой.

Она беззвучно дергает носом и, закусив губу, закрывается журналом, чтобы не видели ее смущения. Мир восстановлен.

Все молчат, можно начинать...

Какую-то лишнюю секунду Басов медлит.

Широкоплечий, прямой, в белой рубашке с бордовым галстуком, (пиджак, по привычке, уже на спинке стула), Никита рывком вскидывает голову, но темная шевелюра снова спадает на лоб. Спокойно отведя назад волосы, он чуть поддергивает рукава и будто прислушивается к тому, о чем думают его товарищи, взвешивает все «за» и «против», всю тяжесть ответственности, что легла на их плечи, — так во всяком случае полагает Даша, обратившая внимание на то, какая непривычно резкая складка легла вокруг упрямых губ Басова. Неторопливым, скорее обдуманным, чем случайным жестом Никита опускает широкие руки с крупными, плотно прижатыми пальцами к стеклу, и они остаются лежать так, привлекая к себе внимание.

Первые слова он говорит буднично, даже скучно, с какой-то полутвердительной интонацией:

— Вы собрались на перекрытие, как на штурм?! Красиво звучит, не спорю, и заманчиво. Прямо на зависть мастерам изящной словесности. Советую оставить и слово это, и настроение штурма... для прессы.

Голос его крепнет, ввинчивается в тишину, сразу ставшую напряженной:

— Приготовьтесь к серьезной работе! — Пауза. — Начальников служб прошу доложить штабу состояние готовности к перекрытию.

Вздых прошелестел по вагончику, как сухие листья, но недоумение не рассеялось: будем ли, будем ли начинать или это опять репетиция?!

Басов смотрит на Силина:

— Служба транспорта...

Грузно поднявшись, Гаврила Пантелеймонович, не заглядывая в перегнутый через палец крохотный блокнотик, докладывает:

— На линии у меня сорок самосвалов сейчас, из них двенадцать четвертаков. Подачу негабаритов обеспечим непрерывно. Баки заправлены, ждем сигнала.

— Хорошо, — кивает Басов.

На линии сейчас не сорок, а тридцать девять машин, и в блокноте у Силина не цифры, а объяснения по ЧП с Бородулиным, но Никита заранее предупредил, чтобы на штабе вопрос этот не поднимали, однако Гаврила Пантелеймонович, на всякий случай готов. Он ждет, но никто не спрашивает, как очутился злополучный самосвал на левом банкете, и Гаврила Пантелеймонович облегченно вздыхает.

— Хорошо, — строже повторяет Никита, и Силин садится.

Скварский с удовольствием записывает у себя басовское «хорошо» как просчет Никиты. Лишь одно непонятно Юрию Борисовичу: почему воды в рот набрал Гатилин?! Как бы там ни было, а ЧП есть ЧП! Но Басов и с Гатилиным уже говорил, и с Алимускиным, — обоим сказал твердо:

— С Бородулиным разберемся после, без спешки. И прошу понять меня правильно: ни ротозеев, ни разгильдяев оправдывать и покрывать не собираюсь.

В тишине вагончика слышен торопливый Дашин шепот к Алимушкину:

— Что такое «четвертаки»?

— Двадцатипятитонные самосвалы, — поспешно отвечает тот, и пальцы его касаются Дашиной руки. От этого прикосновения лица их заливаются краской и одна мысль приходит им: вот и вместе, а поговорить еще не удалось.

Выслушав сообщение директора бетонного завода, Басов поднимает Коростылева:

— Механизаторы?!

Василий Иванович коротко:

— Готовы. Ждем сигнала.

Все в штабе знают о положении дел на участках, поэтому опрос похож на пустую формальность. Никита же опасается, как бы излишняя самоуверенность до начала работы не размагнитила людей. Успокаиваться и ликовать рано, еще неизвестно, как поведет себя Анива. Сейчас, как никогда, важно быть готовым к неожиданностям. Волю, энергию, мысль — все в кулак, никакой распушенности! И он придиричливо вслушивается в рапорты начальников участков, иных из них одергивает взглядом за болтливость, других за неуместную шутку, хотя заранее знает, как каждая служба ответит на его вопрос. Главный энергетик, следуя коростылевской краткости, повторяет: «Готовы, — и с удовольствием подчеркивает, кому докладывает, — товарищ начальник штаба...»; связисты со своей вечной «хохмочкой» высочили: «Связь есть связь — всегда надежна, пока не оборвется!»; Гатилин, как всегда, не обошелся без остроты за свои тылы. Елена — он отыскивает ее взглядом среди собравшихся — назовет его по имени-отчеству, словно от этого увеличится между ними дистанция.

Елены нет, а он уже задал вопрос, от которого зависит теперь, какое принять решение.

— Почему молчит гидрометеослужба? — повышает он голос.

Ее нет. А должна быть, обязана — штаб.

Никита хмурится и, похоже, ждет объяснений. От кого?! От Анки?! Ведь она дежурная по штабу, но Одарченко не знает причину отсутствия Басовой. Мыслью Никита уже в домике гидрометеослужбы. Утром, подойдя к Аниве и увидев на реке лед, он понял, что шуга может помешать перекрытию. Не заходя в штаб, поспешил сразу на левый берег. Не столько разгоряченный ходьбой, сколько расстроенный переменной обстановки на Аниве, он рывком распахнул дверь метеостанции, жалея, что Елена еще дома, а ей следовало бы провести эту ночь здесь. Наверняка, думал он, ночная смена тут без нее все прозевала, и не верил, что сонная девица, испуганно вскочившая при его появлении, знает что-нибудь о действительном положении. В красном свитере, натянутом под подбородок, сама краснощекая, она вытаращила на Басова круглые, как орехи, глаза, подведенные зеленоватой краской, опустила руки, и неприбранный шиньон кое-как держался на голове, — горсть заколок была рассыпана по столу. Не спала, так прихорашивалась! Никита поубавил пыл, сказал, усмехнувшись:

— Что ж, brave солдат Швейк, докладывайте!

— Дежурная Гордеева, — еле слышно пролепетала та, и, только Никита отвел взгляд, шиньона и заколок как не было. Спрятала куда-то.

Никита подождал:

— Все?

Не меняя позы, она мотнула головой в знак согласия, и он опять понял ее хитрость: нужно было встряхнуть волосы, поправить их, а как иначе, когда он глаз не сводит.

— Не густо... — Никита поименно знал всех, кто дежурит в эту ночь, и повторил: — Не густо, Гордеева Валентина! А какая же обстановка на Аниве?

— Ой!.. — виновато протянула она и схватилась руками за щеки, — простите, Никита Леонтьевич, я думала, вы с Еленой Ильиничной пришли. — И, как на уроке, оттараторила, на сколько упал расход воды, когда появилась шуга, какой плотности. — В штаб доложила, — добавила она. — И... все!

— Теперь правильно!

Он посмотрел записи в журнале, сходил вместе с Гордеевой на контрольный замер, — верно, ругать девчущку не за что.

— Как думаешь, — спросил, — шуга надолго?

— К утру кончится. Если густо идет, значит, ненадолго. Такая примета есть, Елена Ильинична говорила! — польстила она Басову. Увидев, что он собирается уходить, чуть запинаясь, сказала: — А правда, Никита Леонтьевич, вы не знаете, техник Перчаткин тоже будет перекрывать?!

— Который у Силина?! Будет, — засмеялся Басов. — Отвечает за порядок движения первой колонны.

— А я не верила! — призналась она, и по тому, как покраснела смущенно, он понял, в чем дело.

— Твой пост, Гордеева, не менее важный.

— Да теперь Елена Ильинична скоро придет! — воспрянула она.

— Уж мы не пропустим!

Так почему все-таки нет Елены?

— Она звонила со станции? — спросил он Анку.

— Да.

Возможно, они ждут, с минуты на минуту, расчетного уровня? Скорей бы, вздохнул Никита, и трудно было сдерживать нетерпение, но внешне он остался спокоен.

Видя, что молчание Басова затянулось, Гатилин осторожной репликой поспешил предупредить его, чтобы сгоряча не наломал дров, не сорвался на этой нечаянной заминке.

— Данные метеослужбы важнее всего для нас, — он как бы высказывал вслух свои размышления. — Недосмотр недопустим. Возможно, и лучше, что Елена Ильинична сейчас там.

— Если ее нет здесь, почему вы уверены, что она там? — возразил Басов, но вряд ли можно было найти другое объяснение, и он спросил:

— Виктор Сергеевич, а как, кстати, вспомогательные службы, готовы? Заторов нет?

— У нас, как у Баграмяна, — усмехнулся Гатилин, довольный, что Никита правильно понял его. — Могу в один день весь фронт повернуть.

И, пока Никита вызывал по селектору гидрометеостанцию, чтобы точно выяснить наконец, где Елена, Гатилин стал рассказывать (фронтовиков-то мало, мало кто помнит!), как в сорок четвертом году Баграмян скрытно от немцев подготовил удачный маневр и чуть ли не в одну ночь повернул целый фронт, 1-й Прибалтийский, с Рижского направления на Шауляй.

— Редкая операция, — вздохнул он, — красивая... И как раз двадцать четвертого сентября... Вот совпало, почти день в день!

— Виктор Сергеевич, — спросил Алимужкин, недовольный гатилинским намеком, — а нам с какой стати менять направление? Оно верное — на Аниву!

— Конечно, на Аниву, — согласился Гатилин и пожал плечами. К чему тут придирки. Но вообще едва не пересолил с шуткой. — Баграмянская хватка и нам не помешает, — он обвел взглядом штаб — Четкое планирование, оперативность, требовательность и дисциплина, — говоря, он соответственно каждому условию загибал палец, и вот уже пятерня сложилась в кулак, и он потряс им. — Это и есть талант, подходящий для таких операций. — И усмехнулся в расчете на ответную улыбку членов штаба.

Они поняли эту легкую, с полунамеками, пикировку Гатилина и Алимужкина. Оживился Юрий Борисович, подумавший, что Гатилин непрост, и Варвара Тимофеевна его слов на ветер не бросает. И прекрасно! Только бы дошли молитвы ее до кого следует. Для начала все складывается пока неплохо. Завалило шугой, с корнем, говорят, выворотило водомерную рейку — это, положим, случайность, но случайность, достойная закономерности. У Гатилина бы не выворотило, сам вбил бы! У него бы и Бородулин на зигзаги свои не решился. А главное, что отсутствию Елены Ильиничны тоже должна иметься хор-р-рошая причина. И, опасаясь прежде времени выдать свою радость, Юрий Борисович уже не сомневался, что стрела, пущенная через Шурочку, попала в цель. И если, положим, колебалась еще Елена, то заметка свое доделает. Юрий Борисович приподнял голову, чтобы не пропустить разговора Басова с Еленой по селектору, но тут оглянулась Даша, и он встретился с нею глазами и понял, что оба они стерегут друг друга.

С гидрометеостанции на вызов штаба ответила сама Елена.

— Почему вы не явились на заседание штаба? — спросил Басов.

— Я не могла... — сказала она и почти слово в слово повторила Гатилина. Потом добавила: — Режим неустойчив, приходится вести постоянное наблюдение.

Басов неодобрительно помолчал, заметив, видимо, как посмотрел на него при этих словах Гатилин: он же говорил, что он прав! Попросил Елену:

— Доложите обстановку на девять.

— Температура воздуха минус пять, воды — минус одна и четыре. Расход воды — семьсот пятьдесят кубометров в секунду.

— В последние часы спад продолжается или прекратился?!

— Почти, — бесстрастно отозвалась Елена, — шуга!

— Ваш прогноз?!

Что она могла ответить, не от нее же в самом деле зависит этот проклятый расход воды, он-то знает! Но тишина в штабе — через микрофон Елена слышала сдержанное дыхание людей — обязывала отвечать.

— Мы почти не вынимаем вертушку из воды, — со вздохом сказала она.

В ее голосе послышался Никите укор. Женщины! Она же виновата, и она же злится, — наверняка скажет потом, что он играл на ее нервах. Но все-таки злится, переживает, — это лучше, чем вообще не разговаривать. И голосом, уже не таким строгим, как прежде, Никита сказал:

— Продолжай, Елена, мы тебя слушаем.

— Причин замедленного спада несколько. Шуга, дожди в верховьях, мокрый снег... Но не исключен выход подпочвенных вод, и если так...

Она запнулась, не договорив и без того понятное каждому. Если расход воды не понизится, вполне возможно, что они так и не начнут в этом году перекрытие. Правда, пока это базировалось на предположениях Елены; фактом оставалось лишь то, что с появлением шуги уровень воды в Аниве падал катастрофически медленно.

— Кроме замеров, — снова заговорила Елена, — мы проводим сейчас сравнительный анализ данных на шугу. Может быть, ничего страшного.

— Хорошо, — согласился Басов и пошутил: — Только вы уж там не спите.

— А я... — Елена немного помолчала и закончила каким-то уставлым, совершенно разбитым голосом: — Я не спала, Никита... Леонтьевич.

Это было только ему сказано! И Никита вспомнил, как дома Елена лежала раскрытая, волосы распущены и свешивались, как водоросли, к полу. Он хотел поднять их, но почему-то не сделал этого. Теперь Елена дала понять, что он поступил неправильно. Ну, конечно, раз она не спала, значит, ждала, что он заговорит с ней об очередном примирении. Как у нее все просто! А если не перекрытие, выходит, то продолжение «холодной войны». Впрочем, что-то она уже надумала, иначе бы не сказала. Что? Да ведь не время и не место выяснять с ней это сейчас. Он не забыл, где он и что на него смотрят, ждут, слушают... Никита прижал на секунду ладонь к виску, потер переносицу и привычными словами поблагодарил Елену. Поблагодарил, когда бы следовало отчитать за неявку в штаб. Ну ладно... Сухо напомнив ей, чтобы не забывали передавать в штаб сведения о расходе воды, выключил селектор. И далее почти автоматически, не задумываясь, отдавал распоряжения: Коростылеву составить для «Комсомольского прожектора» бюллетень о расходе воды, пусть передадут по радио — строители должны знать положение; Гагилина попросил держать связь с аэропортом — с часу на час ожидается самолет с гостями, надо встретить; начальникам участков, мастерам — ознакомиться с поздравительными телеграммами коллективу и особенно интересным — от соревнующихся смежников — прочитать в бригадах, а сейчас... Он посмотрел на часы: скоро десять — сейчас бы они уже начинали вбивать клин в горло Анивы, если бы она чуть приоткрыла свою пасть.

А мысль не уходит от главного.

Расход — семьсот пятьдесят кубометров в секунду. Сутки назад — тысяча восемьсот. Вчера вечером, то есть полсуток назад — около тысячи. Вода падает, но чем дальше, тем меньше. По логике, с появлением шуги уровень должен был подняться или остановиться, а он продолжал падать, — и это в характере Анивы! Так что же произошло в последние, уже утренние часы? Как будто кто нарочно открыл заслонку, и в русло пошла неучтенная, незапланированная никем вода. Стабильность обозначилась буквально в последние три-четыре часа, и это не нравилось Никите. Можно подумать, что спад вообще прекратился. Тридцать лет не было на зиму такого высокого уровня, а тут — нате вам! Но его не устраивал расход выше расчетного на двести кубометров. Пятьсот, пятьсот пятьдесят — вот контрольная цифра для начала.

А уже десять утра...

Гагилин повертел в руках наскоро вычерченный Анкой график расхода воды, тоже отметил устойчивую линию, то бишь стабильность, так не понравившуюся Басову, сердито, с сомнением проворчал:

— Как бы не пришлось нам вообще откладывать.

Не глядя на него, Алимушкин возразил:

— Опять торопишься, Виктор Сергеевич.

— Будем ждать! — подтвердил Басов. Он решил так.

Гатилин промолчал. Он оставлял за собой право вмешаться в критическую минуту, но это же черт знает что должно произойти, чтобы дошло до этого! Барабня пальцами по столу, Виктор Сергеевич убеждал себя, что ему вовсе не хочется этого. Да, он, Гатилин, привык распоряжаться, командовать, повелевать, привык, чтобы его слушались с первого слова. Он привык, а может быть, и любил даже в такие минуты поразмышлять вслух, посоветоваться с окружением, поспрашивать, повозражать, поспорить. Он позволял себе, мысленно уже приготовив решение, зная его, — позволял себе пытаться, насколько близко стоят от него по размаху и глубине мысли его подчиненных, и это словно бы доставляло ему наслаждение, хотя, с другой стороны, он учил их думать! Сейчас, лишенный такой возможности, он убежден был, что острее других переживает вынужденное бездействие. И ожидание в самом деле было томительно для него. Нетерпеливо переспросил:

— Что же будем делать?

— Перекрывать, — спокойно ответил Басов. — Сейчас все свободны. Следующее заседание штаба в двенадцать.

Силин шумно поднялся, первым вышел в тамбур, закурил там. В открытую дверь вместе с холодом втянуло морозную речную сырость и рев Анивы. Появилась запыхавшаяся, румяная с улицы Любка. Остороженько вошла — «извините», — но никто не обратил внимания.

Вася Коростылев улыбнулся ей, и Любка кивнула ему, — все в порядке, — сама подошла к Басову:

— Никита Леонтьевич, я в больницу бегала...

— Ну как Бородулин, что с ним?

— У него шок был. Врачи сказали, что зрение восстановится полностью. Он все спрашивал, ничего, мол, там не случилось? Ну, страшное имел в виду. Я сказала: нет.

— Как — ты сказала?.. — удивился Басов.

— А я в палату проскочила, — созналась Любка и, оглянувшись на стоявшего рядом Алимушкина, понизила голос до шепота: — Бородулин боится, что вы его сильно ругать будете.

— Ага! — вмешался Алимушкин и в тон Любке: — Не знает, как это получилось, само...

— Да знает, виноват он, сдуру, — вспыхнула Любка, не заметив, как ляпнула бородулинское словечко. И просительно: — Он больше не будет, он осознал, а, Никита Леонтьевич?!

Басов грустно улыбнулся:

— Он больше не будет, Люба.

Обиженная непониманием, Любка попробовала предугадать дальнейший ход событий:

— Отстраните от работы, да?! Он же ничего такого не сделал! Он только хотел...

— Он сам себя отстранил, — строго сказал Алимушкин.

Никита незаметно подмигнул ей:

— Посмотрим.

Услышав краем уха разговор за столом о Бородулине, к Басову подошел Силин:

— Я Бородулину машину не дам, ни на верхнюю перемычку, ни на нижнюю. Точка.

— Дашь, — засмеялся Никита. — А не дашь, я ему свой газик уступлю, и все равно он твоих бегемотов обгонит.

Алимушкин поддержал Силина:

— Ты, Никита Леонтьевич, не горячись. Возражать нам с Гаврилой Пантелеймоновичем — одно, а коллективу...

Петра Евсеевича возмущала самонадеянность Бородулина, и не мог он, как Басов, махнуть рукой. Дело-то ведь не в камне, а в том, что наплевал человек на всех. В сознании Алимушкина сама собой выстраивалась привычная цепочка — с кого спросить, кому указать, кому на вид поставить, на что нацелить? — цепочка легко удлинялась и укорачивалась, она растягивалась, словно меха гармошки, и все зависело от того, как сыграть, а это дело гармонистово. И думалось уже не об одном, а о многих бородулиных сразу: самовольные действия чаще сопряжены с опасностью, поэтому всякое самоуправство недопустимо. Говорили, говорили они об этом и на парткоме, и на собраниях, но мало, видно, учили, иначе бы не дождались такой партизанщины.

Но лучше бы не говорил ничего Алимушкин. Не о том думал Никита, не хотел с ними спорить, доказывать, тут еще разбираться и разбираться нужно, а им уже ясно.

— Считаете, — насмешливо посмотрел он на Петра и на Силина, — что формально вы правы?

— И по существу!

— Я так не думаю, — устало сказал Никита.

— При чем здесь формальность, возьми его отношение к технике...

— Тоже вопрос спорный...

Басов встал. Задели-таки! Не собирался пока высказываться, просто голых слов не любил, но и отмалчиваться не привык, когда была идея. А была одна, еще довольно смутная, Алимушкин наверняка примет ее в штыки.

— Гаврила Пантелеймонович, — спросил он, — вы изучали дефектную ведомость по экскаватору Бородулина? Изучите! И критически.. Например, лопнула стрела... А причина? Халатность экскаваторщика или... естественный, в наших условиях, усталостный износ металла? Можно было и не сломать — да, согласен. Но так можно вообще не ставить машину под нагрузку. Зачем, пусть сто лет стоит. А подсчитайте, для интереса, какую выработку даст экскаватор за пять лет, при условии, что работает он с максимальной нагрузкой, то есть на износ! Ни малейшей передышки! Пять лет — и на свалку. И сравните эту цифру с выработкой экскаватора, который за счет недогрузок, недоработок, за счет ремонтов и профилактики протянул... десять лет! Боюсь, Бородулин окажется прав. Какой смысл беречь технику ради техники, когда она должна работать? И учтите еще, что при нынешних темпах развития через пять лет машина устареет морально. На Севере она просто разваливается.

— Но не устареет мораль! — заметил Алимушкин.

— Резонно! — Никита покачал головой. — Только и революцию, Петр Евсеевич, кайлом не делают. Не та эпоха.

— Зря вы оправдываете Бородулина, — вздохнул Силин. — Вот после перекрытия все подтвердится.

— Вины его не снимаю, — согласился Никита, — но работа и самоуправство — вещи разные.

Пока они говорили, народ все не покидал вагончик. Опасаются прозвать перекрытие. Никита хотел пошутить: все равно, товарищи, без вас не начнем, но понял, что так нельзя. Как сам он отдал распоряжения им, так и они уже сказали необходимые слова своим рабочим. За стенкой вагончика все живут ожиданием, и он первый должен выйти из штаба.

С узкой площадки, где стоял вагончик, хорошо просматривался рабочий участок. Дорога петлей огибала скалу и выходила на широкий правобережный банкет — здесь машины могли разворачиваться по три, четыре и даже по пять в ряд, чтобы вести одновременный заброс негабаритов. Дальше, вдоль северной кромки банкета, стояли бульдозеры коростылевского отряда. На левом берегу банкетную площадку пришлось вырубить в скале, и была она значительно меньше правобережной. Там, кроме экскаватора, стоял сейчас одинокий бородулинский самосвал, в кузове которого громадилась скала. Сделанная на ней белилами надпись «Покорись, Анива!» видна и с крылечка штаба, и с моста, где полно народу. «Сбросили б уж ее к черту, чтоб глаза не мозолила!..» — подумал Басов, но сам еще не мог дать такой команды, а другого смельчака, как Бородулин, не было.

За время пока заседал штаб, угрюмые скалы ущелья несколько изменились, запестрели трепещущим красным цветом: флажки на бульдозерах, на мосту, над штабом, кумачовые транспаранты над головами рабочих.

— В глазах от славы рябит, — негромко говорит Басов Алимускину, а понимай, парторг, так, что не рано ли торжество?!

Петр Евсеевич отходит от крыльца в сторону, будто бы с удивлением оглядывается вокруг и разводит руками. На пятачке перед вагончиком никого нет, кроме него, и кажется, что он один без флага. И Басов с полусутильным укором добавляет:

— А ты что ж, Петр Евсеевич, отстаешь?

— За меня комсомол постарался, — отвечает тот, и видно, что он доволен за ребят.

Ровной дымчатой пеленой закрыто небо, как замшей. На верховом перекате, поднимаясь над гребенкой камней, Анива точно сцеживает через них тяжелые струи. Глядя на них издали, вовсе не думаешь, что вода там бурлит и пенится, — это потому, что ближе к Порогу Анива делается спокойнее, едва покачиваясь, проплывают мимо редкие льдины. Никита провожает их взглядом, но вдруг доходит до него, что шуга кончилась!.. Недоверчиво говорит он об этом вслух, и Анка, стоявшая рядом, тут же возвращается в вагончик, звонит Елене на пост, потом удрученно сообщает:

— Семьсот сорок...

Возможно, где-то в верховьях затор?! Опять ждать! Ждать, пока всю шугу не прокрутит через мясорубку Порога. Сколько это займет времени — час, три часа, или больше?..

На мосту что-то орут строители, размахивают флагами, но Порог заглушает голоса ревом. Никита мельком смотрит на лозунги, развешенные на мосту в честь перекрытия, а Алимускин, снова поднявшийся на штабное крыльцо, указывает на скалу, в которой пробит отводной туннель.

— Вон, за левым банкетом, видишь?! — спрашивает он чуть ли не торжествующе. — Персональное приглашение!

«Добро пожаловать, Анива!» — читает Басов транспарант над туннелем.

— Вы все ходы и выходы призывами перекрыли, — смеется Никита, — еще бы и Аниву!..

— И ее перекроем, только не словами.

— Ну-ну...

Никита достает сигареты, закуривает, облокачивается на перила, а Петр Евсеевич, оставляя его, уходит к Даше.

Взгляд Никиты невольно задерживается на скале Братства, изрезанной террасами и поднявшейся над Порогом подобно причудли-

вому великану. Хмурый, вечно недовольный каменный истукан. Там, на вершине его, могила Виктора Снегирева, погибшего прошлой весной при разведке трассы под ЛЭП. Тундра оказалась коварнее, чем они думали. По заснеженным еще руслам, уже бежали ручьи, на одном из переходов снежный наст под Виктором провалился и — не помогли страховочные канаты, — обрезало, как бритвой... Не дожил до перекрытия. А мечтал первым покорить Аниву, даже руку занес над ней: давай, говорит, своротим этого великана в русло — взрывом! — и делу конец. Мечтатель! «Направленным же, направленным!.. — доказывал, не слушая возражений. — Другие только раны таким скалам делают, а мы что хуже?!» Было бы прекрасно, если бы скала стояла грудью у кромки Анивы, но она выставила к реке лишь ребро, иссеченное морщинистыми уступами, а долеритовый монолит ее уходил в толщу и далеко в сторону. Самый пик, который можно своротить взрывом, едва ли достал бы середины реки, а крошевом обломков Аниву не перекроешь. Кроме того, достаточно сильный взрыв, как показывали расчеты, мог нарушить монолит, но Виктор не хотел понимать этого. Горяч был. «Что-нибудь да можно!»

Террасы поднимаются по скале почти до вершины. Страшновато взбираться на них без привычки, но нынче смельчаков много, — вон и сейчас уже там кто-то зонтик раскрыл пестрый, как на пляже. Ждут... Небо над Анивой меняется быстро, но оно не посветлело с приходом дня, а сделалось хмурым, иссиня-черным, словно перед грозой. На его фоне тревожным кажется полыхание красного. Никита задирает голову и едва различает над обрывом мачту и на ней линялый, истрепанный флаг, поднятый десантниками. Ветер порывисто треплет его, и Никита будто слышит полоск тугой материи. Когда построят электростанцию, старое полотнище заменят новым, но грустно думать об этом сегодня.

Колка Соколенок, помощник бригадира бетонщиков, посланный от своей бригады в разведку, воровато крадется к крыльцу вагончика. Заметив, что обнаружен еще на подступах, спрашивает Басова с таким недовольным видом, точно начальник штаба срывает ему по меньшей мере бригадный наряд:

— Никита Леонтьевич, ну скоро?

— А ты что такой сердитый? — усмехается Басов. — Все равно на перекрытии строители — зрители, а покорители — шоферы!

— Это-то так, — еще больше хмурится тот, полагая, что иначе с начальством разговаривать не следует, к строгому человеку и уважения всегда больше, но, как мальчишка, не выдерживает несвойственной ему серьезности, простецки признается: — Болеем...

Басов советует:

— За Анивой следите, во-он, за верхним перекатом. Как воробей на тот берег по камушкам перескочит, так и начнем.

— Где ж его взять тут?!

— Кого? — И сам Никита не понял.

— Да воробья! — отвечает Колка, и оба смеются.

— Ну, Соколенок, — серьезнеет Никита, — теперь я буду спрашивать.

Колка ждет.

— ...Как у ребят самочувствие, настроение? Перекроем?!

— Аниву-то? Перекроем, куда она денется!

«А действительно, куда она денется?!» — повторяет Басов, пожимая плечами вслед убегающему Колке. Сегодня двадцать третье, день осеннего равноденствия... День как день, не то чтобы счастливый или особенный какой, но, если вспомнить материны приметы, — все

должно получиться как надо. По ее понятиям, в равноденствие добро и зло сходятся, а человек между ними сам выбирает, как решит, так и будет!

День!.. То неостановимое, что было вчера и будет завтра. И год, и эпоха, и вся обозримая в прошлом и необозримая в будущем даль человеческого существования — все связано единым и непрерывным временем, в котором привычные слова вчера и завтра выступали как грани бытия, между которыми совершалась каждый миг гигантская работа.

* * *

Когда после Дашиного звонка Алимускин захал домой, Даша сидела на скамеечке перед дверью. Ни о чем не спрашивая, он обнял ее, а она вдруг заплакала, и он стал гладить ее плечо, волосы, не зная, как успокоить. У самого комок подкатил к горлу, и почему-то он старался скрыть это. Поцеловал ее в висок, в шею, и уже казалось ему, что только такой он и представлял всегда их встречу, и прошептал: «Даша, родная...» И ладонями приподнял к себе ее лицо — она улыбалась ему сквозь слезы, и тут резко позвонили в дверь.

Алимускин виновато вздохнул, посмотрел на Дашу: «Прости, не знаю, кто...» — И отозвался:

— Да-да, входите! Открыто.

Вошла молодая, невысокая, знакомая на лицо, но забытая по имени женщина. Все в нем напряглось от ее раздражения, плохо скрытого за сухими, обиженно поджатыми губами и румянцем, полыхавшем во всю щеку.

— Простите, — сказала она натянуто громко, — в неурочное время ворвалась.

— Проходите... — пригласила Даша.

Внимание незнакомки ее не смутило, догадывалась, наверное же, это было странно: Алимускин и женщина — у него в квартире.

Петр Евсеевич несколько растерянно представил Дашу:

— Это моя...

— ...Жена, — закончила за него Даша и улыбнулась. Она назвалась, и чрезмерный до этого интерес к ней со стороны гостьи пропал.

— Петр Евсеевич, вы меня не помните. Я Чуркина...

— Алевтина Павловна?! — вспомнил он. — Работаете у нас печатницей?! Ну как же, вас долго пришлось уговаривать... А раньше вы работали бетонщицей, у Капустиной. «Лучшая бригада, — передразнил он Чуркину, — куда я от нее не пойду...» Так?

— Та-ак. — Она потеплела лицом, радуясь, что Алимускин помнил и тут же надулась: — Ну и работенку вы мне подсунули! Будь она неладна. И со Скварским вашим вместе... Портачит, как сапожник, переделками замучил. Уйду, вот попомните мое слово, я крепкая, так этого не оставлю.

— А что случилось? — посмеиваясь ее горячности, спросил Алимускин.

— Да это я так, к слову, — отходчиво засмеялась она. — Привыкла орать, шум у нас. А случилось вот что...

Она достала из-за пазухи свежий номер «Анивского гидростроителя», от него еще пахло типографской краской.

— Может, я зря беспокою, — говорила она, разворачивая газету, — но у меня совесть пока есть. Мне Анна Федоровна ничего, я ей тоже, и Никита Леонтьевич всем девкам на стройке нравится, не секрет. А если кому не нравится, так это не значит, что грязью поливать.

Они прошли в кухню, Алимужкин сел к столу, Чуркина напротив. Раздеваться она отказалась, а вот стакан чая из Дашиных рук взяла. Пила осторожно, вприкуску и не сводила глаз с Алимужкина. Даша, наклонившись с ним рядом, тоже читала. Она покраснела и, когда Алимужкин повернулся к ней, сказала:

— Я держала в руках готовую верстку полосы, но такого материала здесь не было.

— Не было! — в голос подтвердила Чуркина.

Оба, Петр и Даша, вопросительно посмотрели на нее, та степенно отставила стакан.

— Вот то-то и оно, что не было, — с прежней строгостью повторила она и с каким-то особым любопытством взглянула на Дашу. — Значит, это вы заходили к нам с Аннушкой? Так-так... Будете дочка Тихона Светозаровича, который в Москве, академиком?

— Да...

— Подсыпали вы нашему Борисычу перца! А про папашу вашего мы слышали на стройке. Поклон передавайте — хоть и от всех, а хоть и от Чуркиной! Выходит, вас, Петр Евсеевич, с законным браком?!

— Выходит... — нетерпеливо повел он плечом. — Как это могло появиться?! Печатали же вы?.. — Он небрежно, брезгливо поднял газету. — Печатали!

— Печатала-то я, — усмехнулась Чуркина, зная, что не она виновата, и пояснила: — Куда денешься? Приказ! Вот, — достала свернутую трубочкой бумажку, — и распоряжение его на переверстку, и печатала... Сверхурочно. А как, значит, вы ушли, — посмотрела она на Дашу, — так он прямо сбесился. Номер уж подписан был, остановил. Сел — строчит, по кускам на линотип тащит. Где нам там разбираться — что, к чему. Велел — мы и отбахали.

— Весь тираж?

— Целиком, а то как же!

— Позвонили бы мне... Неужели трудно!

— Да ведь я-то что думала?! К перекрытию, думаю, важное... А после уж поглядела — глаза на лоб полезли! Или дура я... Линотипист — туха. Говорю, чего молчал! А он тоже глазами хлопает. Да-а-а-ли.

— Где газета сейчас?

— Где! На почту оттартала, вот где! И к вам... Думаю, стыдно так о людях, нехорошо. У нас кто и водится друг с другом, так и о тех так не говорят, а тут чистая муть, тень на плетень... Да за что, главное, прицепился?.. За Порог! Порог прошли... Ну и ясно, что прошли, все ж знают, никто ничего... А он, значит, как постель расстеливает. Уйду я, Петр Евсеевич, не буду работать! Такой позор на себя вешать...

Алимужкин отодвинул газету, поднялся:

— Наведем там порядок, Чуркина, наведем. Вы правильно сделали, что зашли. Газету мы задержим, а к вам, Алевтина, будет просьба...

— Рот у меня на замке, ключ у вас оставила, — догадливо подтвердила Чуркина. — Все газетки до одной собрала, пересчитала, да либо он один оттиск в карман сунул, первый, тот не нашла.

— Один нам погоды не сделает, — размышляя о своем, сказал Алимужкин и, собравшись, беспомощно улыбнулся Даше: ты же понимаешь... Она только спросила: «На почту?»

Газета еще была не сортирована, и Алимужкин забрал обе пачки, отнес в партком. Девчатам на почте наказал, если кто будет ин-

тересоваться, сказать, что вроде бы на доставке. Подписчики вряд ли станут одолевать сегодня, предупредил на всякий случай, чтобы сбить с толку Скварского. Заметка пошлая, даже вульгарная, нетрудно было понять, зачем это делалось, но почему Скварский?!

Пока он был на почте, приходила еще какая-то женщина. Выглядела она расстроено, но не назвалась. И сколько Петр Евсеевич ни думал, он так и не мог предположить, что это Шурочка Почивалина. Она не стала ждать его, значит, терпело к делу ее, — решил он, не упуская из виду Дашин рассказ о встрече со Скварским.

Высокий, худой, Алимешкин, слушая ее, ходил по комнате, отвернув серый верблюжий свитер, облежавший шею под подбородок. Время от времени он неопределенно хмыкал и, подперев одной рукой локоть другой, потирал ладонью и без того пылавшие щеки. Мало-помалу он вроде разобрался во всем. Видимо, встреча с Дашей, страх, минутное отчаяние или слабость выбили Скварского из равновесия, пошел ва-банк! Но сам-то он — проморгал Скварского. Гнили не почувствовал... И, если бы не газета, не Чуркина, не поверил бы, что человек способен на подобную низость. Кто другой, даже Бородулин.

— Все мельчает, Даша, — сказал он, — ты не находишь?! Даже подлость.

Даша Не согласилась.

— Это ты сейчас говоришь. А завтра?! Представь, что газета ушла. Скварский за клевету снят. А Никита? А Анка, Елена?.. А вся эта грязь, скандал?..

— Все-таки Анка у тебя на первом месте! — Алимешкин поднял палец.

— Знаешь, — продолжала Даша, — отстранить Басова от перекрытия еще не самое страшное. Страшное — обесчестить человека, унижить. А рассчитано все на это. Что потом говорить: он прав, он не виноват.

— Положим, Басова сломить не так просто.

— Басова?! Возможно. Басова не сломить... Но что — Басова, когда ломают и марают саму мораль.

— Да-а... — Алимешкин посмотрел на часы. — Мы далеко зашли. Что ты предлагаешь?

— Ничего, — устало вздохнула Даша, — просто мне не хочется его видеть.

Но это ее «ничего» прозвучало горько, она была не согласна с Алимешкиным, и ей наверняка хотелось, чтобы он немедленно принял какие-то меры. Однако любой шаг, кроме того, что он задержал газету, был бы на руку Скварскому. Созвать срочно партком, значит, безнадежно испортить и настроение всем, и перекрытие. А формально вроде и правильно... Не созовет — после перекрытия ему укажут: затянул ты, секретарь.

— Я — так я... — решил он и вздохнул. — Поехали, Даша, в штаб, на перекрытие.

— Давай-ка чаю выпьем или кофе, — ответила она. — А потом в штаб. И отложи наконец газету! Строчки считают не пальцем, а строкомером. И считать незачем. Я и так вижу, что ты собираешься мне предложить.

— Правильно, тебе! — Алимешкин виновато улыбнулся. — Переделывать газету.

Сам же подумал: жена, ничего не скроешь. Поняв, что Даша согласна, повеселел.

— А как ты находишь Гатилина, — спросил он, — не причастен к этому?

Но что могла сказать Даша, она ведь совсем не знала Гатилина. Позднее, уже на заседании штаба, Петр Евсеевич придирчиво прислушивался к репликам Гатилина, пытаясь понять, известны ли тому намерения Скварского. И сознавал сам, что неудобно, непристойно подозревать Гатилина в чем-то таком, но ведь завтра тонкости отношений между ним и Скварским никого не будут интересовать, а сегодня, увы, это имело значение.

Человек в коллективе сравнительно новый, Гатилин нуждался в поддержке, — это хорошо понимали на стройке, понимал и Басов, который умел, не уязвляя гатилинского самолюбия, заставить его считаться с собой. Оба равно тянули одну лямку. Но Басов моложе, способнее, хотя, на взгляд Гатилина, вряд ли энергичнее его и уж никак не опытнее. Никита простодушен, Гатилин осторожен. И в кадрах Виктор Сергеевич разбирался лучше Басова. Он подбирал себе людей по вкусу, прощал им кое-какие грешки, ошибки, — у Басова этого нет, у Басова принцип жесткий: не умеешь — уступи место другому! И уступали, — оттого ли, что чувствовали его правоту, или оттого, что деловитость, за какую все ратовали, того требовала. Имелись и объективные предпосылки: кадры в Барахсане молодые, сильные, при дипломированных же специалистах найти замену не трудно. Гатилин по своему складу был хозяйственником — пробивным, расторопным, достигшим определенных высот, и вообще — с прицелом. Но чем легче давалась Басову такая же высота, тем сдержаннее реагировал на его успехи Гатилин. Истолковать это можно было по-разному.

Надо было поговорить с Никитой, а тут, после штаба, возник первый семейный конфликт. Заметив, как Даша нервничает под взглядом Скварского, он сказал ей:

— Успокойся, пожалуйста. Все идет нормально!

Даша сделала вид, что не расслышала. Легко сказать, успокойся. И ей ведь хотелось, чтобы перекрытие началось по графику, может быть, потому что через Алимущкина и Басова, и через отца тоже чувствовала себя причастной к стройке. Когда же перекрытие отложили, причем Спокойно, без особых эмоций, ей стало казаться, что еще раньше все знали (а уж Алимущкин точно!), чем кончится утренняя летучка. Она недоумевала теперь, зачем был нужен этот спектакль с рапортами, с проверкой готовности служб и почему, главное, не предупредил ее Петр.

Даша заблуждалась. Алимущкин, уловив в ее голосе обиду, улыбнулся:

— Зачем ты так, Даша! Я знал не больше, чем ты. Слегка догадывался, но...

— Что «но»? И почему ты догадывался, а я нет?

— Интуиция... — Алимущкин пожал плечами. — Ты ведь первый раз... Не обратила внимания да и не могла обратить, как Басов, войдя, сразу снял плащ, будто до перекрытия еще сутки. А Гатилин? Развалился, никуда не торопится. Одни мы с тобой, как на иголках, да Скварский... Ты не находишь?! Да дело даже не в Басове, все зависит от расхода воды.

Он добродушно посмеивался над ней, над ее горячностью. Впалые от бессонницы глаза Алимущкина смотрели грустно, но он улыбался, может быть, через силу, и морщинки, собравшиеся под веками, слегка дрожали. Даша смущенно покраснела, поняв, как глупо обиделась. Она не хотела сердиться, а вышло, что и Петра расстроила. Конечно, это пройдет, не надо только обращать внимания, и Даша, опустив голову, шепнула:

— Прости... А ты кого-то ждешь?

— Басова. Надо сказать ему пару ласковых...

— Хорошо... Мы пока поднимемся с Анкой на скалу. Я давно собираюсь написать о Снегиреве, а там могила его. И люди туда идут.

Пообещав подойти к ним вместе с Никитой, Алимужкин направился к прорану, навстречу Басову. Тот как раз смотрел на Аниву, и Алимужкин, поворачивая его за плечо, спросил:

— Что, брат, видит око, да зуб неймет? Или думой думаешь перекрыть?..

— А что?! — с вызовом ответил Никита.

— Что-что?

— Не так разве?!

— Та-ак... — вроде как даже обиделся Алимужкин. — У тебя один закон, знаю! Сила воды пропорциональна кубу скорости...

Ну, если Алимужкин заговорил формулами, значит, его потянуло на лирику. «Сейчас я тебя подловлю!..» — подумал Никита. Возле старой лебедки, оставшейся еще от подвесного моста, он недовольно остановил Алимужкина:

— Постой... Что-то от тебя духами пахнет?!

— Это не от меня, — скороговоркой ответил Петр Евсеевич.

— А-а-а, от лебедки!

И, не жалея вмиг смутившегося Алимужкина, Никита захохотал над ним. Тот уж и покраснел, и сказать что-то пытался себе в оправдание, а Никита не давал, — махал на него рукой и смеялся. За последние дни, полные тревожного ожидания, он впервые смеялся так несдержанно и свободно.

— Ну и рассмешил, прямо до печенок, — сказал он наконец, отдышавшись. — Знаешь, мне чего-то легче стало!

Алимужкин отшвырнул носком сапога камешек, промолчал. Собираясь сказать о Даше, теперь не скажет.

Никита рывком крутанул барабан лебедки, собачка лающе заклацала по храповику, и он же еще и осудил Алимужкина:

— Ненаходчивый ты человек, Петр Евсеевич! В такой день, как сегодня, даже от лебедки может пахнуть.

Алимужкин, пройдя немного, спросил:

— У тебя все в порядке?..

Никита даже приостановился от удивления:

— У меня?! Да если б у меня что случилось, разве бы я ржал так!.. — И покачал головой. — Ну, Алимужкин... Давай знакомиться с начала. Три года вместе, а ты меня совсем не знаешь. — И шепотом, как заговорщик у заговорщика: — А что должно случиться?

— А ты не догадываешься? — ответил Алимужкин. — Говорят, Аниву должны перекрыть.

Слово «Анива», произнесенное Алимужкиным отдельно и вполголоса, прозвучало как «а ни вы», и Никита, уловив этот игривый отенок, повысил голос:

— Почему это «а не мы»?! Мы! Должны и перекроем! — постучал кулаком в грудь.

Им легко дышалось сейчас на утреннем просторе. Сырой ветер срывал с Анивы ледяную пыль, и знобящий, но приятный холод пробегал по коже. Время, в которое они жили, молодость и энергия делали их счастливыми, и оба понимали это.

За этим ощущением не так беспокоила тревога. Что ж, что первый прогноз на перекрытие не оправдался?! Не беда, час придет! Ошибки пока ни в чем не было... Кроме одной, когда утром он со-

рвался и накричал на Анку. Он пришел в штаб, уже зная о бородулинском происшествии. Раздраженный, он тем не менее выслушал доклад Анки и не скрыл, что недоволен скоропалительными, необдуманными действиями дежурных. Коростылев не попался ему под горячую руку. Будто речь шла только о камне, будто не было человека, им словно и в голову не приходило, что случайно лишь все обошлось без жертв.

И не сдержался, благо, был у него повод поставить Анку в тупик:

— Вы все предусмотрели, все знаете, молодцы! А где, спрашиваю, контрольная рейка? Ах, не знаете... Так извольте узнать!

Анка покраснела. С трудом поняла, о чем речь.

— Не знаю, куда она подевалась, но я и не должна ее караулить.

— На дежурстве вы, должны знать все! — Никита повысил голос, махнул рукой. — Идите, потом доложите.

Со слезами Анка выбежала из вагончика. Он не остановил ее. Тогда Алимужкин грубовато сказал ему:

— Никита, опомнись!

Не поднимая на Алимужкина глаз, он полез за сигаретами, но спички, как одна, ломались.

— Ты не прав, — повторил Петр Евсеевич. — Я сам видел, как рейку свалило шугой. А Анке было не до того. И не сторож она возле палки, все-таки дежурная по штабу. Ты же фактически отстранил ее.

— Знаешь, так чего же молчишь? Стратег тоже.

Никита смял, отшвырнул сигарету. Пальцы потянулись к тумблеру на панели он включил наружный громкоговоритель и хрипловато сказал в микрофон:

— Аня, вернись! Я виноват перед тобой.

Он всегда старался относиться к Анке так же ровно и требовательно, как и к другим, и если все же выказывал ей больше внимания, то потому, что она женщина и, действительно, достойна этого.

А вот Елена — та думала иначе. Не без намека на Анку говорила:

— Тебе бы на какой-нибудь формуле жениться, а не на женщине! Тогда ты был бы доволен вполне.

Вполне или нет, но если женщина логически мыслит — это же прекрасно! Он вообще считал, что счастливы лишь те люди, для кого мысль — страдание... Мысль, выстраданная, выношенная иод сердцем, в чем бы она потом ни была выражена, остается воплощенным стремлением человека к совершенству. Даже в пирамидах Хеопса живет не геометрия сама по себе, а поэзия линий, поэзия мысли. И плотина, которую он мысленно уже построил и знал ее всю, от основания до вершины, мало значила в его мнении как рукотворная геометрическая гора из бетона. Соль в том, что плотина работала, и прикладная функция возвышала ее над пирамидами так же, как мысль об этом возвышала людей, честно разделивших на Аниве опасности и тяжелый труд.

Петр, перебивая его мысли, сказал:

— Ты не находишь, что Даша подружится с Анкой? Они на скалу пошли. Ты поднимешься к гурию?

— Непременно. Но чуть позже. Извини, хочется немного побыть одному.

— Прощай, Анива? — с намеком спросил Алимужкин.

— А ты все в душу лезешь? — И они, расходясь, дружески хлопнули друг друга ладонями.

* * *

...Шуги не было.

Застилая реку сизыми косматыми перьями, наползал в ущелье густой туман. Сверху прядал ветер, и тогда из-под скрученных им, смятых клубов проглядывала черная гладь воды. От реки дышало не осенним холодом — стужей.

Спустившись за Порогом к берегу, Никита вышел на «бомбовый пляж». Он неслучайно выбрал это пустынное даже сейчас место, усеянное крупными валунами, похожими на чугунные ядра. Коса из таких валунов выступала за мысом далеко вперед по течению. Прыгая по скользким-обледенелым за ночь камням, Никита дошел до излучины, где, обессиленная крутым падением с Порога, Анива закручивалась в петлю и, распрямляясь затем, спокойно текла к устью. В нескольких шагах от берега, за полоской взвинченной вечно воды, выступала белая ноздреватая плита — плоский, массивный, как льдина, камень. Таких камней — взмыров несколько на Аниве, этот назывался «Маркграфом», а были еще «Талнах» и «Роза», но ниже по течению, и капитаны опасались близко подходить к ним. Возле взмыров река играла и в межень, и в полую воду, к ним сильно прижимало, и в первую навигацию на «Маркграфе» большой сухогруз «Енисей» по неосторожности капитана пропорол днище. И на эту плиту вынесло их с Анкой, когда они прошли Порог.

...Их было девять, они возвращались тогда из похода на Красные скалы. До Барахсана оставалось километров шесть, когда после привала Анка сказала:

— Дальше идите одни. Я задержусь немного.

К таким ее фокусам давно привыкли, но что-то в Анкином голосе насторожило Никиту, он спросил;

— В чем дело, Аня?

— Ни в чем! Пойду на плоту...

Ребята засмеялись, — одной ей все равно плот не спустить, — пошли, мол, догонит. И Никита пошел, километра два отмахал, но сердце не на месте. Неспроста это... И нельзя так: мужики, а девчонку бросили. Вернулся. Недалеко от привала услышал стук топора, — пошел и увидел длинные, заранее заготовленные для плота бревна. И вспомнился не очень уж давний спор у него в кабинете, — тогда Коростылев накинулся на молодых специалистов. Приезжают вот, кричал он, бацают дипломами, а простейшую эпюру рассчитать не могут. А инженер должен отвечать за расчет головой!

"Как же ты это мыслишь?" — усмехнулась Анка.

«Я бы загнал их каждого на плот, — засмеялся Вася, — и пустил через Порог. Кто уцелеет — тот наш брат, годится...»

«Сам-то пройдешь?...» — спросил кто-то.

«А ему что! — ответила Анка. — Он — на экскаваторе! Броня! На плоту ему не положено...»

«Зато в тебя, Анечка, я очень верю», — не остался в долгу Коростылев.

«Надежды оправдаю...» — пообещала она.

Все это в шутку, но Никита ли не знал, что насмешек Анка не прощает. Неужели тогда она решилась всерьез? Или еще раньше готовилась?

— Да, — сказала Анка, — и не мешай мне.

Видя, что он не уходит, спросила:

— Не со мной ли хочешь? Опасно...

Он пожал плечами, что можно было понять и так, и этак.

— А не боишься?

— Боюсь. Я же не видел твой расчет.

— А меня-то ты видел!.. — с обидой вырвалось у нее, и она нахмурилась, что, в общем, не шло ей, проворчала: — Вот он, мой расчет... Проверь теперь.

— Затем и пришел, — вздохнул Никита, присаживаясь на бревно, и Анка поняла, что он собирается с нею.

Стояла белая ночь, в лесу почти не темнело, и часам к трем они закончили подгонку бревен. Зная высоту Порога и скорость, Никита легко прикинул, что длина плота у Анки с запасом. Это прекрасно, но спокойнее ему не стало. Работали молча, как назло — споро, и единственное, на что он надеялся, что у Анки не хватит решимости. В крайнем случае, рассуждал он, отыскивая за Анку путь к отступлению, можно и спустить плот, дойти до Барахсана, а там отвернуть к берегу.

— Посидим на дорожку, — устало вздохнула Анка. — Помолчим...

— Да уж, наговорились!

Он разложил костер, поставил чай, молча выпили. Все молча. А нельзя было молчать, надо как-то разубеждать ее, отговаривать, думал он, да Анка сидела грустная, одинокая, будто никого, ни души рядом, и Никита не посмел. В лесу тишина, тонко гудели комары, сырая свежесть натекала с реки. Анка поворошила обожженной веткой затухающий костер, осыпались с углей белые, с синеватым пламенем кольца. Не то естественный свет, не то костровые отсветы озаряли ее вытянутое лицо, спокойные губы и подбородок. Она дышала ли? И Никите хотелось спросить, о чем она думает, а тут ветка перегорела в ее руке. Анка перевела взгляд на Никиту и вдруг:

— Я тебя поцелую, — сказала, точно предупредила его.

Беспомощность отразилась в его лице, по Анкиным глазам он увидел, что она жалеет о сказанном, но уже коснулись его щеки сжатые губы. Вряд ли можно было назвать это поцелуем, но язык бы теперь уже не повернулся сказать ей, как минутой раньше: «Аня, милая, никакого плота не надо!»

— Пора... — Анка встала.

Снесли вещи, и, когда плот уже хлюпал под ними, но они еще не отошли от берега, Анка выпрямилась, не сводя с него глаз:

— Останься, Никита. Лучше я одна.

Голос ее показался ему виноватым, но виду он не подал. Пробуя, достаточно ли упруг шест, ответил:

— Я же тебе верю.

Она покраснела и все еще ждала, что он передумает. Никита навалился грудью на шест, резко отпихнулся от берега. Еще несколько толчков, и течение подхватило их. Он вытер лоб.

— Счастливого плавания! Так, кажется, говорят, — вздохнул он и достал сигареты. — Вот шороху наделаем! — засмеялся он, но Анка не поддержала.

На плесах, поднимая рябь, сильно задувал ветер, а под скалами, в затишье, стоял туман. Доверясь течению, они шли без всплесков, лишь изредка на излуках Никита подпихивал тяжелую корму неразворотливого и длинного, как сигара, плота. Иногда за туманом проплывал мимо них рыбацкий костер. «Эй, на плоту!» — кричали с берега, но они не отзывались, и вслед несло недовольное: должно, коряги, с корнем повыворотило... Анка посмеивалась, и он, вслушиваясь и в сдержанный ее смех, и в тишину все более светлеющего утра, думал о себе: хорош же начальник правого берега! Даже если пройдут, что он Алимускину скажет?

— Аня, — спросил он, — зачем все это? Станут приставать, спрашивать, а мы?

— В твоём положении можно позволить себе не отвечать на дурацкие вопросы.

— Я серьёзно, — обиделся он.

— Не знаю, Никита... Ты поймешь это после, когда пройдем.

— И если... — добавил он.

Обидно все-таки: она знает, зачем идет, а он так просто, за компанию. И он, конечно, наговаривал на себя, — может, оттого, что удивлялся, как быстро пошел на безрассудство. В его то положении? Вот уж мальчишка... А сам радовался, что мальчишка, и злился в глубине души, что не он первый затеял. Но уж Анку бы он не взял. Ни за что! Ни-ко-гда! И не мог же не признать за ней этого преимущества, и стыдно было, что никогда прежде не решался испытать себя ни на чем подобном. Верно, необходимости острой не было, однако не потому ли и не было, что Анка жила чувством, страстями, желаниями, а он логикой измерял каждый шаг, занимался скрупулезным анализом ситуаций, и он, может быть, блистал в этом, и... был беднее Анки в чем-то, несомненно, более важном, человеческом, и беднее не от природы, а оттого, что сам ожелезил себя. Можно оправдываться — легко и просто! — ссылаясь на целесообразность, разумность, на краткость жизни и важность своей работы, но — сколько бы ни сделано! — всегда сделано мало. Верно, никто не знает отпущенного ему срока, но не придется ли после, когда всего достигнешь, жалеть, так же, как и теперь, что мог жить иначе, а не смог или не захотел... Оттуда, из Москвы, он не раз думал, какая суровая и прекрасная страна откроется ему здесь, за далью непогоды, и что же? Она приняла его, а он лишь теперь начинает постигать, как давно желанное, что нельзя быть счастливым, оставаясь довольным собой — не живя, не страдая, не любя, не мучаясь.

Сбивчивыми, стремительными становились его мысли; он едва ли не отрицал все прожитое, готовый ошибаться и радоваться ошибкам, но ближе к Порогу стремительнее мыслей стало течение, и чувство опасности захватило его, и — вопреки всему — хотелось совершить что-нибудь очень безумное!

За спиной поднялось солнце. Оно развеяло туман, пригретая река стала парить на плесах. Золотые спицы пронзали синие пади по берегам, росами сверкали ребристые скалы. Широко впереди вода отливала густо расплавленным цветом красного, но уже обозначился витыми, огненными жгутами стрежень Анивы — струи переплетались, устремляясь, как лава, к скалам, и радужное, отчего-то бело-зеленое, облако брызг и пыли стояло и колыхалось там, точно занавес... Теперь и захотели бы они повернуть, уже не хватило бы сил сойти со стрежня, но надо было удержать на нем плот, чтобы не разбиться о каменные усы у Порога, и Никита, пытаясь работать шестом, как кормовым веслом, опустил его в воду. Тотчас дернуло, плот швырнуло по загривку волны, выворотило из рук Никиты шест и торчмя утянуло под бревна. Анка тоже видела это, и оба почему-то встали в рост, и по дрожанию связок плота чувствовали, как цепко их держит течение. Они словно летели в гору, а скорость все увеличивалась, — неожиданно белый сияющий гребень взметнулся впереди, и Никита успел крикнуть Анке: «Ложись! Держись за скобы, держи-и-сь!..» Плот швырком подкинуло вверх, нос его задрался над водопадом, и им показалось, что они летят в воздухе, Анива перекидывает их через Порог, но в ту же минуту зеленоватая ледяная глыба обрушилась на них, придавила, расплющила плот, содрогнувшийся от страшных ударов и свер-

ху, и снизу уже, и их поволокло вглубь, в клубящую черноту водоворота, и неумолчный гул — как будто прокручивало их через жернова ада — гудел и ревел в ушах. Сдавило грудь, они задохались под тяжестью воды, задохались без воздуха, и невозможно было шевельнуть пальцами, не то что приподнять голову.

...Да, то был прекрасный солнечный день. Взрывники и бурильщики, начавшие работу на скалах, заметили плот издали. Еще не видно было на нем людей, а плот привлек внимание. Трудно сказать сразу, чем, но, во-первых, он очень огромен, чтобы переправляться на таком с берега на берег, во-вторых, здешние аборигены плотов не гоняли, они обходились легкими верткими лодками, а может, странным показалось и то, что плот держался строго по течению и, значит, шел он по воле людей, — ну, конечно, свой брат, туристы! Но почему они не спешат причаливать? Анива шуток не любит, снесет в Порог!

Люди облепили скалу. Сначала ждали, что будет, потом в тревоге заговорили, загалдели разом. Кто кричать стал ротоzeям этим на плоту, кто замахал шапкой, заматюкался, у одного наготове была веревка, — да разве докинешь? Чуть поппись со скалы, и сам загремишь вниз, и не достанешь, — это уж так, к слову только... И видели все, что плотогоны спохватились, да поздно. Кормщик опустил весло в воду, и самого его чуть не закрутило вместе с веслом. Стремнина подхватила шаткие бревна, бросила на дыбы, и их накрыло волной.

У загорелых, обветренных мужиков прилипли к серым губам сигареты. Что-то кричали глаза и жадно открытые рты. И тишина стояла на скалах. Кто-то неуверенно смял картуз, другой отвернулся с платком, у этого вывалилось кайло из рук и глухо стукнуло железом о камень.

— Глядите, глядите, глядите, во-он они!..

Белые, с ободранными боками бревна нехотя всплывали из пучины далеко за бурунами, — их еще крутило в развоях, швыряло то в бок, то в сторону, но две распластанные фигуры чудом держались на остатках плота. Живы ли? Могло ведь и спины переломать! Плот заметно сбило со стресса и прижимало теперь к левому берегу. Возле взмыра клокотавшая пеной улова зацепила связанный в пучок оголовков плота и плюхнула на ноздреватую плиту «Маркграфа», веером расщепив охвостье.

Вот так это было, под небом полуночи...

Но еще раньше, когда тяжелый, неповоротливый плот с разбега соскользнул по гребешку водопада вниз и когда накрыло его волной и стало мотать и бить под водой о камни, острая боль резанула Анку по рукам, и пальцы ее, сжимавшие скобу, разжались. Она поняла это тотчас и знала, что в мгновение, когда осознала это, плот уже пронесло вперед. Глупо было погибать так, и без воздуха. Только глоток, подумала она, и ей показалось, что она всплывает, ничего страшного нет... Но она уже потеряла сознание. Тело, сносимое назад, ударилось о Никиту. Едва ли он сообразил, что это было, но не камень, скорее живое, и он инстинктивно протянул руку, догадался, поймал, схватил, сам чуть не оторвался от скобы, но держался... Глаза он открыл, когда растрепанный плот, подмываемый волной снизу, хлобыстал концами бревен по плите «Маркграфа». У Анки в руке была скоба, — значит, это скобу вырвало... В лице у нее ни кровинки, губы сжаты, будто запеклись... Приподнявшись на локоть, Никита бессмысленно долго смотрел на впавшие Анкины щеки и вдруг заметил, как дрожаще встрепенулись ее ноздри. Она пошевелила рукой, застонала и через боль улыбнулась, точно во сне. А с берега уже бежали к ним через «бом-

бовый пляж» люди. Глядя на них, он прозевал, как Анка очнулась, теперь он видел перед собой только ее плечи и как они сотрясались от беззвучных рыданий.

— Эй, вы целы там?! — орали с берега.

Не слыша своего голоса, Никита показал на пальцах: закурить дайте! Рюкзаки-то смыло.

— Значит, целы... Качать их, ребята!

Досталось потом обоим на орехи. Их счастье, что так и не могли сказать — зачем?! Глупо же! Глупо, — соглашались они и улыбались, и ругатели догадывались, что есть за этой улыбкой что-то важное, нужное этим чертям косолапым. А сколько вообще глупого в жизни! Неужели за все ругать?! Но они ведь прошли Большой, и это что-нибудь да значит, а, ребята?

Конечно, все понимали это, а не то бы...

* * *

Однообразный каменистый подъем на верху скалы венчала сумрачная пирамида — гурий, поставленный здесь по обычаю первопроехавших Севера. Он не предупреждал путника об опасности, не указывал на становище, это был памятник Виктору Снегиреву.

Анка и Алимешкин по дороге сюда уже рассказали Даше, что погиб Виктор в апреле, когда проседают под талой водой подточенные снега. И Даша будто наяву видела черную промоину, в которой глухо клокотала вода, и слышала, как ползла, проседала с хрустом снежная крыша, быстро темнея, напиваясь водой, и как хлупало под отвалившейся глыбой, потом качнуло ее и втянуло потоком в изъеденный обледевший пещерный свод. И при этом она видела огромное оранжевое солнце в дымчатом мареве над головой. Насколько хватало глаз, простирались снега сине-зелеными волнами, как барханы.

Чистый белый снег в Заполярье — вообще редкость. Таким его можно увидеть только ранней осенью, да и то с непривычки, когда, падая, он устилает бурые мхи и пожелтевшие космы вчера еще сочных трав. С осени до весны снега здесь меняют цвет каждодневно — от темнотилового и даже карминного зимой, во время полярных сияний, до густо-серого, почти черного непроглядной беззвездной ночью, и светлеют особенно заметно со второй половины марта. Чем больше солнца и света, тем голубее, нежнее делается заснеженная тундра. Говорят, виной тому микроскопическая пыль космоса, которая оседает на полярные шапки Земли, но, может, снега светлеют от талой воды и просвечивающей сквозь них зелени трав, почуявших первое тепло. Анкиными глазами, с ее слов видела Даша голубые, с зеленоватым отливом снежные волны, и рядом с ними до того нелепым казалось представление о смерти, что Даше хотелось промчаться над ними в какие-то другие времена, в иные дали, но мир не изменился. Справедливо ли это? Ведь не стало человека.

Даша представляла лицо Снегирева — таким, каким видела его на портрете в Анкиной комнате. Кажется, это о нем говорила потом Одарченко, что Виктор хотел быть похожим на Петра, во всяком случае стремился, уточнила она. А ведь и Алимешкин мог пойти на риск, мог оказаться в опасности. Не подозревая о сумятице в ее душе, Петр шел рядом. И оттого, что с ним ничего не случилось, Даше захотелось провести ладонью по его щеке, сказать, что она не отпустит его от себя никогда, ни на шаг... Но это было невозможно, и она про-

сто поменялась рукой с Петром, обошла его с другой стороны, чтобы ветер, наискось налетавший с горы, не сек ему лицо.

— Я знаю, — тихо говорил он, — что виноватых нет, когда человек умирает своей смертью. А тут.., может быть, я... Басов скажет, что он. Дали же мы разрешение на этот поход! Анка, — Алимускин помедлил, — ...ей тяжелее всех. Она нравилась Виктору.

— А что ты имел в виду о себе?..

— Ты не находишь, — натянуто спросил он, — что просто Алимускин — это одно, а Алимускин — парторг стройки — нечто совсем другое?..

— Нет, — ответила Даша.

Она подумала, прежде чем сказать так. Не мог Петр смалодушничать, покривить душой. В чем-то он мог ошибиться, это она допускала, хотя в глазах десятков, сотен людей не имел права на это. Причиной гибели Снегирева была неосторожность, какая-то нелепость, случайность, но разве можно заранее предусмотреть все — неважно, просто Алимускин, ты или ты парторг. Хорошо бы, но...

— Обстоятельства бывают сильнее нас, — сказала она.

— Я понимаю, — согласился он, а на самом деле возразил.

В его потеплевшем голосе была признательность, и Даше стало хорошо оттого, что она ошиблась.

— Я знаю, — продолжал он, не сомневаясь, что Даша правильно поймет его, — знаю, что риск был... И в любом деле, где человек начинает что-то впервые, он еще будет долго. Но не вечно, понимаешь! Было б легче, если бы я этого не понимал. Повторить, воссоздать можно все, кроме человека. А тут даже могилы нет. Когда мы решили сложить на скале гурий, мы никого не призывали, думали, каждый сам принесет по камню... А их, — он с горькой, болезненной усмешкой кивнул на Аниву, где были сейчас строители, такие же молодые, сильные и горячие, как Снегирев, и Даша остро отметила эту болезненную усмешку Алимускина, — их волнует только великое... Камни таскали перводесантники... «Как же так, ребята?» — «А там, говорят, все равно ничего нет...» — Он указал глазами на землю и повторил чьим-то железным голосом: — «Сплошняком литая мерзлотка...» Заметь, даже не мерзлота, а мерзлотка!.. — Он непонимающе посмотрел на Дашу: — Как же так, Даша?! Может, я устарел?! Может быть, нельзя думать так?..

— Учить надо... Нельзя заставить людей чувствовать и страдать одинаково, — мягко возразила она, — но понимать...

— Нельзя. Но нельзя, чтобы в душе была пустота, холод, мерзлотка. Ведь мы как раз об этом говорили с тобой утром!

— Каждый это должен понять и пережить сам, — сказала Даша, и Алимускин понял ее слова как согласие еще с чем-то очень важным для них обоих, чему и слово-то не сразу найдешь, но без чего не бывает понимания и душевного согласия между близкими людьми.

Они поднялись на вершину, где уже стояли в молчаливом ожидании Анка Одарченко, Коростылев, Люба Евдокимова и еще много людей, которых Даша не знала. За пирамидой, сложенной из ровных, обкатанных булыжников, возвышалась стальная мачта с флагом. Холодный ветер гудел в растяжках, рвал на флагштоке выгоревшее, с обтрепанными концами полотнище. Далеко внизу, как бы в чаше между лесистыми сопками, лежал город, над которым почти над крышами домов нависало черное от снеговых туч небо. Город был угрюмым, пустынным, а с вечера он понравился Даше сиянием огней в окнах, шумом и многолюдьем на улицах. Она перевела взгляд в другую сторону, туда, где скала Братства уходила к Аниве крутыми сту-

пенчатыми террасами, и свинцовая издалека лента Анивы показалась ей застывшей, но только на мгновение, потому что за мостом, полыхавшим яркими кумачами и пестрым от столпившегося там народа, клубились пепельно-серые борозды водопада, и река, зажатая в узкой расселине, клокотала вихревыми и пенными морозными ключьями, и странным казалось, что яростный шум воды не доносился сюда оттуда. То ли ветер сбивал в сторону рев Порога, то ли матерчатый треск флага над головой заглушал его, но что-то живое, стремительное и тревожное, как частые удары сердца, властно жило здесь, на скале, и Даше подумалось, что остальные тоже чувствуют это.

Иней, покрывший вершину тонкой, заледеневшей коркой, ломко хрустел под ногами. Ветер, прорвав с севера пелену мрака, доносил дыхание льдов, скручивал в тугие жгуты морозный воздух. Даша невольно шагнула вперед, и взгляд ее, скользящий от вершины к основанию гурия, споткнулся обо что-то нарушавшее ее форму. Это была неровная, косо срезанная по бокам плита, вырубленная из рыжей глыбы гранита. Она выделялась среди лобастых, чугунного цвета булыжников, на ее шершавой поверхности, с которой ладонью огребли иней, были слова: «Виктор Снегирев из Москвы!» Буквы стояли неровно, чуть кривоватые, — так обычно мальчишки вырезают свои фамилии где-нибудь на скамейке в городском саду, — тут же пришлось постараться, ведь не ножом резали, а зубилом, но почерк тот же.

Басов, перехватив недоуменно-вопросительный взгляд Даши, сказал:

— Его автограф... Оставил на проходке отводного туннеля.

И кто-то должен был сказать сейчас слово о Викторе... все смотрели на Басова. Никита чуть откашлялся, невольно подумал, — что же главное в жизни Снегирева? Туннель? Зимник? Последняя трасса, которую он прокладывал? А может, то, как он хотел жить? Или всего важнее — как сами они, друзья, товарищи Виктора, смотрят на мир, в котором Снегирев многое не успел сделать?..

...Однажды барахсанцы ездили в Дивногорск. Красноярцам было чем погордиться перед ними. Словно исполинская грудь, вздыбилась над Енисеем километровая плотина, упираясь плечами в скалистые отроги Саян. Глядя на монолит бетона, не верилось, что какой-нибудь десяток лет назад здесь ничего не было. Ничего, кроме скал и дремотно-спокойной Меж ними воды. «Плотина!.. — восхищенно сказал Снегирев. — Как тут и была!..» Что-то от далеких веков было в ее величии, и стояла она будто уже века... Всем — и статью, и силой турбин, и размахом — она вписалась в Дивные горы. И странная, восторженная оторопь охватывала сознание при мысли, что все это создано не природой, а отчасти как бы и вопреки ей, — создано несовершенным и, в сущности, очень слабым еще человеком, но, может быть, через эту слабость и чувствовалось особенно остро, как велик человек — разум его праздновал здесь свое торжество.

Виктор — восторженный, вдохновенный — бегал по машинному залу станции, носился по гребню плотины, щелкал своей старенькой «Сменой» и приговаривал под добродушные смешки красноярцев:

«У нас не хуже вашего будет! Вот посмотрите!»

Но, когда вышли на речном трамвайчике в Красноярское море, что-то всгрустнул он, присмирел, вглядываясь в безбрежную даль водохранилища. Уже далеко ушли они от створа плотины, уже наскучило однообразие ребристой волны, рассекаемой острым носом теплохода, уже и чайки перестали кричать за кормой, как прямо по курсу появилось одинокое дерево. «Берег!..» — наконец-то вздохнули все

облегченно. Высокая, с почерневшими сучьями лиственница стояла в воде, голая, без хвои, и это казалось странным, потому что корни могучих деревьев умирают годами. Теплоход сбавил скорость, но не изменил курса, — капитан, видимо, хорошо знал новое море. Спокойная гладь воды погасила инерцию судна, и оно, подчиняясь рулю, стало бортом у лиственницы. Чиста и прозрачна была вода, подсвеченная беловатой желтизной песка со дна рукотворного моря. Никита и рядом с ним Виктор всматривались в глубину, не понимая, что там за отражение. И, догадавшись, что им не мерещится, что они в самом деле видят то, что там есть, они отчетливо разобрали узловатые переплетения корней под водой с застрявшими в них огромными валунами, как будто зажатыми в кулак. Дерево, вывороченное в свое время взрывом вместе с корнями, с обломками скал в корнях, на которых росло, осталось забытым, брошенным на земле. Пришла вода, и оно всплыло, встало, как поплавок, и теперь блуждающим призраком носило его по волнам. Было в этом что-то противоестественное, нехорошее, что нельзя скрыть от взгляда, как и неряшливое, равнодушное отношение к природе, и Виктор, лицо которого потемнело, сказал Басову с упреком, какой Никита и принял и простил ему:

«Неужели и у нас тоже так будет?!»

Кто-то любопытный потянулся рукой через борт, дотронулся до ствола, лиственница покачнулась, — так мало нужно было ей, чтобы потерять равновесие, и уже невозможно было обрести его, утерянное вовек.

«Нет, Виктор, — ответил Никита и чуть помедлил. Ему казалось, что еще рано думать о дне Бараксанского моря но, вовремя поняв тогда, что неправ. Рука его легла на плечо Виктора. Обещая себе и ему обещая, он сказал: — У нас стройка в другом регистре пойдет. Такого не будет...»

В том дереве их общая, живая сейчас, как и тогда, боль. И он, Басов, имел право сказать об этом.

...А над головами людей, обступивших угрюмый гурий на вершине скалы, свистал неистово холодный ветер и беспокойно взвизывало полотнище флага на мачте.

* * *

Почти в одно и то же время от штаба отъехали два командирских газика. В первую машину вскочил вездесущий Колка Соколенок и, задыхаясь, крикнул Борису Шавырину, шоферу Басова:

— Гони на скалу! Вот так Басов нужен! — и красноречивее слов был заученный жест: ногтем за зуб и вокруг шеи. Борис, умный парень, не стал переспрашивать.

Вторая машина мчалась на левый берег по приказу Гатилина.

А несколькими минутами раньше в штабе появился небывало возбужденный Скварский.

— Виктор Сергеевич, — держась за сердце, простонал он с порога, — нам надо поговорить!

Гатилин сидел один. «Как сторож!..» — уныло подумал он, тяготясь даже минутой одиночества. И оттого, что откладывалось перекрытие, оттого, что Игарка задерживала вылет гостей, а с часу на час и здесь погода могла окончательно испортиться, в нем исподволь накопилось раздражение и злость на себя. Скварского он всегда принимал с равнодушием, но не гнать же! И вспомнил Варино: «Скварский к тебе без претензий, ты присмотришь, может, человек пригодится...» На что он может годиться! И, лениво позевывая, сказал:

— Садись, Юрий Борисович, порассуждай.

— О чем рассуждать, действовать надо, — будто испугался тот.

— Как о чем? — Гатилин засмеялся. Прить Скварского, обычно спокойного и паточно-вежливого с ним, неожиданно развеселила его. — Ты что же, Юрий Борисович, обо всем можешь?..

— Да, особенно сейчас, — напыжился Скварский, — когда вода в Аниве пошла на прибыль... Басова вам подстроила.

— Не мели ерунды. Первое апреля, старина, давным-давно прошло.

— Вызывайте ее, пока не поздно, сюда! Снимите показания. Придет Басов — тогда все, Упустите возможность... Ведь срыв! Все полетим...

Какая-то крайняя напряженность в его голосе заставила Гатилина насторожиться. Он нахмурился, откровенно ничего не понимая, но уже сработал какой-то тайный механизм в нем, включавшийся в минуты опасности, и Виктор Сергеевич как бы через силу, нехотя пересел ближе к селектору. Пожалуй, надо было справиться у гидрометеослужбы, что там у них стряслось, и стряслось ли, но он все же сдержал себя, спросил Скварского:

— Откуда такие сведения?

— Да вы посмотрите на Аниву, бушует уже! — вырвалось у Юрия Борисовича, но не с отчаянием, как хотелось ему, а торжествующе, и Юрий Борисович осекся.

Тяжелый гатилинский взгляд остановился на нем, пригвоздил в нескольких шагах от стола. Юрий Борисович поник, лицо с припухшими мешками выжидающе вытянулось, и упавшим голосом, каким он и должен был говорить о свалившемся на стройку несчастьем, он сказал:

— Старик тут появился один, из аборигенов. Кажется, Вантуляку. Уж он точно знает! Говорит, утром река стояла, а теперь... В общем, и на глаз видно, что вода пошла... Как хотите, Виктор Сергеевич, но я думаю, что Басов испугался! Понял, что перекрытие не пройдет... Да вы ведь и сами тогда говорили.

Гатилин резко оборвал его:

— Меня не интересует, что вы думаете! Мне нужны факты. Факты! — повысил он голос и, взявшись за тумблер селектора, уже за был о Скварском.

...После утреннего заседания штаба Юрия Борисовича подмывало увязаться за басовской компанией, — малышевская дочка, судя по всему, не успела рассказать Никите о ночных похождениях, и на скале, рассчитывая Юрий Борисович, при нем она вряд ли посмеет. Но и нельзя угнаться за Дашей, во все концы. К тому же решающие события должны произойти здесь. Удивительным было и то, что никто не заводил со Скварским речь о газете. Тут, однако, подвернувшийся ему под руку Валька Бескудин, стихи которого шли в номере, объяснил, в чем дело. Курчавый и уже навеселе, где-то потерял шапку, зато красный шарф во всю грудь, он вместо приветствия бесцеремонно огрел Скварского кожаными перчатками по плечу,

— Ты что же, оставил народ без поэмы? На почту он понадеялся. Там же нет никого, все тут торчат, глазают... Эх, пиши для вас после этого! Пойду сейчас в микрофон прочитаю, чтоб знали Вальку Бескудина. Не знаешь, кто в штабе?

— Гатилин.

— А-а-а... — неуверенно протянул он. — А чегой-то там народ собрался, во-он, за бульдозерами?..

Вместе они подошли туда, и, когда протиснулись в круг, возле

костра увидели Вантуляку с внуком. Старик рассказывал, как на подходе к Барахсану они спугнули красивую лёса девку. Та зачем-то ставила градусник Аниве.

— Это на метеостанции, — пояснил с ходу Бескудин и присел возле старика, с которым была у него своя дружба. Расскажи, Вантуляку, еще раз, я стихи напишу... Значит, женщина с длинной косой, — мечтательно протянул он, и Вантуляку сначала кивнул ему, потом возразил:

— Нет, однако... Она была с длинными сапогами и короткой юбка.

— Ну, а ты что ж, растерялся? — спросил он под хохот парней.

Вантуляку обиделся. Что тут смешного?! Он рассказывал об этой девке не потому, что она красивая, а потому, что она злая, как шакал. И рассказывал он для своего внука, чтобы Вова Токко знал, какие есть лёса бабы. Сын сына его, если захочет взять себе жену, должен выбрать молодую и послушную важенку. Вантуляку растолковал это Бескудину, не понимая, отчего краснеет и смущается юный Токко.

— Ну, а что же девка та или баба?! — напомнил Бескудин.

Та женщина спустилась к реке из дома с белой крышей, что стоит за горой. Она забрела в воду, не заметив приближающихся с подветренной стороны бесшумных веток. «Барахсан тебе!..» — приветствовал ее Вантуляку, и Вова Токко эхом повторил за ним: «Барахсан...» Вскрикнув, лёса баба уставилась на них, будто не признала за людей. «Однако, — пошутил Вантуляку, — долго стоять будешь — юбка намокнет!..» Она опять не поняла, о чем он, и Вантуляку пояснил: «Вода прибывает, шибко много бежит, да?» — «Слепая, что ли, сама вижу!..» — и, лягнув по воде, как хаптарка, ушла назад.

Колка Соколенок, путавшийся от нечего делать у всех под ногами, разинул рот. Он второй раз слушал монотонный, слово в слово, рассказ Вантуляку, и лишь теперь до него дошло, что старик не оговорился, сказав: а вода прибывает... И Колка не стал думать, почему никто больше не обратил внимания на эти слова, он только вспомнил, что Басов на вершине и его надо срочно предупредить. А за Соколенком, бежавшим к басовскому газику, выбрался из толпы Скварский. Он-то все понял...

— Что же вы медлите еще? — нервно спросил Юрий Борисович Гатилина.

Но Виктор Сергеевич уже разговаривал с Басовой:

— Елена Ильинична?! У аппарата Гатилин... В каком режиме Анива?! Уровень, расход...

— Расход семьсот девяносто, — ответила Елена. — Уровень Анивы повышается.

— Вы отдаете себе отчет, что говорите?

— Да, — перебила она. — С семи утра.

— Что с семи? — выкрикнул Гатилин.

— Расход был пятьсот пятьдесят, как и предсказывал Басов. В восемь двадцать он заколебался. В девять поднялся уже до пятисот семидесяти кубометров.

— Минуточку, — Гатилин замотал головой, — ничего не понимаю. Вы докладывали, что в девять наблюдался спад! Откуда же сейчас семьсот девяносто?!

— Сейчас уже восемьсот!

Голос у Елены был нормальный, может быть, чуть дрожал, и говорила она осмысленно, но как же тогда это могло все получиться?

— Такой расход, — вроде бы с усмешкой заметила она, — вас, Виктор Сергеевич, как я понимаю, больше устраивает?

Гатилин взбесился.

— У вас что, позвонок сместился! — рывкнул он.

— Представьте, пятый, шейный...

— Немедленно в штаб! С журналом наблюдений! Высылаю машину... — И слышал, как Елена там, в метеостанции, швырнула на рычаг трубку.

— Это не я вам говорил? — юзил Скварский. — Это я вам говорил, Виктор Сергеевич, я, а вы не хотели верить...

Не замечая его, Гатилин опустился на место начальника штаба, а пальцы все еще вздрагивали, цепляясь за короткий, как спусковой крючок, тумблер селектора. «Черт возьми! — с возмущением подумал он. — Это же полная катастрофа!» Но, как бы там ни было, он уже закончил разговор с Басовой, отдал ей распоряжение явиться в штаб и сделал это в новом для себя качестве. Всего лишь один щелчок так же, как и тогда, во время оленьего гона, но тогда он промазал, — теперь нет. Неужели судьба перекрытия решена, а?! И не его волей... Триста кубометров потока сверх нормы?... Это же все равно, что самому кинуться в водоворот. А Басов? Алимушкин? Кажется, их голоса слышны.

* * *

Накрашенная, в небрежно запахнутом пальто, так что шарф, выбившись, встопорчился на груди, Елена вошла в штаб, громко стуча каблуками, даже вызываясь громко. В ее лице застыло, по-видимому, против ее воли, такое напряжение, при виде которого пропадает всякая охота говорить с человеком. Она не поздоровалась, не замечая никого, прошла к столу и, развернув на нужной странице свой журнал, положила его на середину. Молча, не глядя на нее, вышли из штаба все, кто считал там себя лишним сейчас, — остались Гатилин, Басов, Алимушкин и Даша. Виктор Сергеевич покосился было и на Дашу, но вовремя вспомнил, что она Малышева. «Так даже лучше, — подумал он. — Пусть старик узнает обо всем из первых рук, от дочери...» Однако молчать более было уже нельзя, и Гатилин, придвинув журнал Елены, но ничего еще не видя в нем, глухо спросил:

— Вы подтверждаете свое последнее сообщение?

Елена немного помедлила, ответила четко:

— Расход воды в Аниве поднялся за восемьсот кубометров. Это правда.

— В котором часу уровень соответствовал расчетному? Был такой момент или не был? И как вы объясните все...

— Ну какая разница! Был... Не был... Мы же не дети, — пожала она плечами. — Обратно паводок не вернешь. И, вообще, не надо, Виктор Сергеевич...

Она не просила, она снисходительно разрешала ему прекратить бесполезный разговор.

Никита молчал. Он не Поднимал глаз от стола, и забытая сигарета дымилась в его руке. По тому, как вызывающе держалась Елена, он понял, что теперь объясняться с нею бессмысленно. Она пропустила уровень. Умышленно или нет, — другое дело, но виноват в данном случае он.

Алимушкин подошел к ней:

— Вы читали сегодняшнюю газету?

— Нет. А что, там были инструкции на этот счет?

— Хватит, Петр Евсеевич, — смяв окурок, встал Басов. — Отвечать буду я...

Играя желваками на скулах, Гатилин выжидающе посмотрел на

Никиту. Тот встретил его взгляд, но ничего нельзя было понять по лицу Никиты. Какая-то глухота, отрешенность от всего сквозили в его глазах, и это особенно не понравилось Виктору Сергеевичу, но он удержался от вопроса, когда Басов, ни на кого не глядя, вышел из штабного вагончика. На крыльце он остановился, подставил лицо ветру и, сведя на скуластом, остром своем подбородке пальцы, долго стоял так с широко раздвинутыми локтями и смотрел на Аниву. Пеннися, шумел зеленоватой волной падун, а в проране ветер упруго накатывал волну на волну... Течение сносило в водоворот пенные барашки, срываемые ветром, и Никита видел, как вспухает, вздувается от избытка воды и играет Анива. Если бы начать в девять!.. Тогда напор был слабее. А сейчас расход уже восемьсот... Чем перекрыть лишние триста кубометров? Избегая смотреть на мост, на банкетную площадку, чтобы не встречаться взглядом с людьми, перед которыми не было оправдания, он вернулся в вагончик.

Окончательно убедившись, что Никита не будет разговаривать сейчас ни с Еленой, ни о Елене, Гатилин кивнул ей:

— Идите...

Елена вышла.

Проследив взглядом, как закрылась за ней дверь, Виктор Сергеевич невольно попридержал вздох, — и что бы мог сказать ей теперь Никита?! — подумал он. Сам он считал, что судьба беспощадна только к слабым. И это справедливо, потому что сильные, выдержанные не совершают ошибок, за которые приходится так жестоко расплачиваться. Лично он, Гатилин, рад сделать все, чтобы не причинять Никите новую боль, но ведь нельзя сидеть сложа руки... Нельзя молчать и думать черт те о чем, когда и так все ясно.

Молча поднялась и ушла Даша.

Мужчины... Теперь они остались одни и говорили каждый с собой, и каждый знал, что может сказать другой. Случившееся непоравимо. Но если они молчали, если молчали двое из них, то, значит, трудно было им произнести свой приговор третьему, или они желали, чтобы он сам. понял все и сказал им об этом?!

Стрелки на часах показывали двенадцать десять, а казалось, что прошла вечность.

Широко открылась дверь, и, грудью вперед, с непонятной торжественностью и важностью в походке и в голосе, в вагончик стала вплывать Варя, жена Гатилина.

— Мо-ж-но?! — протянула она, не ожидая ответа.

— Нет, — коротко бросил Гатилин.

«Как бы не так!» — подумала она. Мужское общество настолько же деликатно, насколько гостеприимно. Только когда войдешь, тогда не выгонят — эффект присутствия... И Варвара Тимофеевна сделала очередной шаг.

— Во-он! — рывкнул Гатилин, и Варя, как ошпаренная, выскочила обратно.

Она залилась краской, стыдась, как бы еще кто-нибудь не слышал этого крика, вот пассаж будет, а в голове — лихорадочно: «Ну, слава тебе господи! Мой-то опять на коне!..»

И важной походкой гусыни, потряхивающей хвостом, Варвара сошла с лесенки, поддерживая на весу меховую полу своей шубы, а глазами искала по толпе: где же Скварский?

— Ну?! — Гатилин тяжело перевел взгляд с Басова на Алимушкина и обратно.

Петр Евсеевич шурился от табачного дыма. Он уже перебрал возможные варианты, и то, что собирался теперь объявить Гатилин, было

единственным, что им осталось сделать. Басов то ли не слышал, вопроса, то ли не захотел принять его. Лицо Никиты было землисто-серым, но он думал о чем-то своем, думал! — в этом Гатилин мог поклясться, и это казалось невероятным. О чем тут можно еще думать!

Гатилин сунул в рот папиросу из забытой кем-то пачки, а может, и из его, торопливо, однако уже без былой ловкости, раскурил, затянулся и тут же выплюнул ее, — не до соски, скорей кончать надо! Обтерев губы, он поднялся — по привычке говорить перед народом стоя, — включил наружные усилители, и басок его, слегка хрипловатый, срывающийся от натуги, словно окостеневший в динамиках и усиленный ими, раздался над скалами и в самом вагончике, проникая сюда сквозь тонкие переборки.

— У микрофона начальник строительства Гатилин. На данный момент, товарищи, сложились чрезвычайные обстоятельства по перекрытию, в связи с чем я... — Он закашлялся, прочищая горло, и уже скороговоркой, проталкивая сквозь кашель слова, продолжал: — В связи с чем я вынужден...

Басов, до которого теперь, с опозданием, дошел смысл гатилинских намерений, привстал резко и, прежде чем Гатилин закончил, успел зажать микрофон ладонью.

— Ты что собираешься делать?.. — спросил он.

Хмурясь, Виктор Сергеевич попытался разжать его пальцы, но это требовало больших усилий, чем он предполагал, к тому же сильный треск раздавался в динамиках. Гатилин опустил руку.

— Ввиду подъема воды я отменяю перекрытие.

— Да вы что?! — вскинулся Никита, и это «вы» относилось одновременно и к Гатилину, и к Алимущину.

— Выключайте микрофон! — напомнил Алимущин.

Подождал к пульту и сам повернул рычажок тумблера.

— Виктор Сергеевич! Петр... — повторил Басов. — Я настаиваю на перекрытии. Согласен, лучший момент упущен, но ведь нам важно зацепиться! Где лег один камень, ляжет второй — я в этом уверен. Предусматривал и такой вариант. Да и как можно отказываться, даже не попробовав...

Гатилин рубанул рукой воздух.

— Довольно! Можно спорить со мной, но не с Анивой, — и чертыхнулся. — И, кстати, Никита Леонтьевич, я исхожу из твоих же расчетов, не забывай. Не теряй голову, скажу я тебе, вот что!

Басов, спокойный внешне, только с горькой улыбкой, скорее даже с гримасой страдания на лице, сказал:

Ну ладно, я еще начальник штаба! Со всеми последствиями...

Легонько оттерев Гатилина от пульта, Никита выдернул из гнезда микрофонную штангу и, сматывая с катушки запас провода, чтобы не стоять с микрофоном привязанным к одному месту, вышел на крыльцо вагончика, поднес микрофон к губам, сказал громко:

— Внимание!.. Первая колонна — на правый банкет, вторая — на левый...

Вздыхнул, прислушиваясь, как неровный, многоголосый шум прокатился над берегом. В эту минуту на базе силинской автоколонны взревели КраЗы, и машины цепочкой пошли к прорану, — он знал это, знал, что перекрытие уже началось. И как бы в подтверждение этого тишину над Анивой распорол треск выхлопных газов заработавших бульдозеров. Никита скомандовал:

— Посторонним покинуть банкеты! Левый банкет... Внимание, Гиттаулин! В память о Викторе Снегиреве, — голос Никиты напрягся, — сбросить первый камень!..

— Па-ше-ел!.. — разом подхватила толпа, и крик ее поглотил скрежет железа.

Никита видел, как медленно задирался вверх кузов гиттаулинского самосвала. Вот он достиг зенита, и козырек кузова замер. На крапчатом сколе гранитного обломка, еще державшемся чудом в кузове стала отчетливо видна аршинная надпись «Покорись, Анива!», но водитель уже плавно качнул машину на тормозах, как люльку, и глыба в двадцать пять тонн весом шорохнула по железной обшивке и, скрежеща, высекая искры, пошла вниз. Она задела обрыв и, осыпая со скалы каменную труху, перевернулась в воздухе и плашмя погрузилась в воду. Вспучился над ней сизый высокий гребень, шлепнул разбитой волной под колеса. Камень, наверное, еще падал, еще не достиг дна, а Гиттаулин уже выводил машину наверх через узкую горловину, прорубленную в скалах к банкету, и, сигналив ему, гудели встречные самосвалы, выстроившиеся кильватерным строем. И на правом банкете уже разворачивались порядно три самосвала. Вместе, колесо в колесо, подходили они к срезу площадки, покачивая горбатыми хребтинами скал, чтобы сбросить их в Аниву одновременно. И, когда глыбы эти бухнули в воду и водители, выполняя команду флажковых, убавили газ, все, кто находился на мосту, кто забрался на скалы, кто стоял возле вагончика, все услышали, как течение поволокло их по каменистому ложу. Словно в насмешку над человеческой дерзостью, Анива легко перекачивала по дну обломки скал, и гул, доносившийся сквозь толщу воды, был подобен глухому грому, отдаленно накатывающемуся из поднебесья. Тревожный ропот пробежал по лицам людей и породил сомнение. «Не удержать...» — сказал кто-то рядом с Никитой, но он даже не оглянулся. Он смотрел, как сначала одна, потом другая, и третья глыбы, вскочив гигантские гривы, вздыбились над Порогом, переворачиваясь лоснящимися боками, и вместе с пеной упали вниз. Там закрутило их снова, пока не легли они где-то в глубокой, омутами кипящей пучине.

Странно, но это закономерное, обескураживающее начало не смутило Никиту. Он видел растерянность на лицах своих товарищей, а может, и осуждение, но в то же время он жил уже другим ощущением — то было, пожалуй, осознание еще не упущенной возможности, той, которую он так упорно искал прошлой ночью. Да, он рассчитал, как должны сталкиваться, лоб в лоб, сила тяжести и сила течения Анивы, но формулы, сколько бы он ни вертел ими, не убавляли в данный критический момент превосходства Анивы. Каждой клеткой своего тела он знал, чувствовал, где какой ляжет камень будущей перемычки, и разве мог он согласиться на поражение, и особенно теперь, когда вольно или невольно принял вызов.

Решение было — оно пришло под гул уносимых камней, и только одно теперь казалось ему непонятным, почему он не додумался до него раньше, как сказал бы Малышев — «В Тиши кабинета!» Вот именно, не все нам дается в тиши.

Сцепив скулы, так, что кожа до блеска натянулась на подбородке, Виктор Сергеевич подошел к Басову.

— Да-да, да, — предупреждая его слова, сказал Никита, теперь уже забыв, что минуту назад сердился на Гатилина, и засмеялся. — Это перекрытие!

Он подал сигнал и, подчиняясь ему, груженные самосвалы на правом банкете как будто споткнулись перед прораном. На левом тоже замешкались. Шоферы вылезали из кабин, что-то кричали друг другу, спрашивали, не спрыгивая, однако, с подножек. Перекрывая рокот моторов, мощные динамики передавали новую команду Басова:

— Внимание, Силин и Коростылев... Бульдозеры на банкет! Негабариты в связку. Пары с парами, в гирлянду! Флажковый, к бульдозерам!..

Теперь ясно. Самосвалы отъезжают на несколько метров от кромки банкета и сгружают негабариты прямо на площадке. Стропальщики заводят тросы, и, когда узлы стянуты, флажковый — это сам Коростылев стал там у края банкета — дает отмашину. Бульдозеры, пробуксовывая траками, тяжело утюжат скалу, но все-таки подтапливают связанные друг с другом глыбы к обрыву, под которым дымится взбаламученная до черноты река. Коростылев регулирует так, чтобы камни упали вместе. Еще один взмах флажком — и стонная гирлянда заваливается в пропасть, тяжелый гремющий звон эхом отдается в береговых скалах, дрожат от сотрясения стекла в вагончике. Катят... Перекатываются под водой, как горошины...

Виктору Сергеевичу кажется, что каменные вздохи со дна реки рвут ему душу. Он не смотрит ни на Басова, ни на Аниву. В ушах рев машин, Анивы... И не видит, что гирлянда, пророкотав где-то в пучине, застряла и не дошла до оскаленной пасти Порога.

Никита ошалело тискает кого-то за плечо, обнимает, приплясывает, руки-ноги его ходят ходором, он кричит, забыв про микрофон:

— Давай, ребята! Давай жми, сдается, стерва!..

Силин с Коростылевым — сами с усами! — заряжают другую гирлянду, и снова она гремит, как первая, и так — пятая... и десятая, но уже глуше гул перекатываемых камней, короче, наконец на двенадцатой уже не слышно ничего, кроме тяжелых, как простуженный вздох, всплесков реки.

Зацепились!..

Теперь зацепились! Это — начало...

И это понимают все — и Алимешкин, и Даша, и Коростылев, к которому подбегает и, не стыдясь, принародно, целует Любка, а Вася, утирая лицо сигнальной тряпкой, ошалело грозит ей. Анка Одарченко прячется за чьи-то спины, не хочет, чтобы Никита видел ее красные от слез глаза. И ей самой не понятно, как она, дежурная, успевает в такой суматохе вести наблюдения, записи... На мосту взлетают и летят шапки в Аниву, сверкает серебром вышвыриваемая из карманов мелочь, оркестр, взявшийся неведь откуда, хриповато играет туш.

Старый нганасан Касенду Вантуляку, пожалуй, один опечален сейчас и кротко и скорбно вздыхает оттого, что лёса Советы перехитрили Аниву. Ей уже не осилить, не своротить новые камни, которые человек всаживает, как кулак, в пасть разъяренного зверя, — так волк, задыхаясь, протягивает лапы и просит пощады, так и Анива уйдет в приготовленный для нее капкан глубоко в горе, чтобы тянуть там, если верить лёса Алимке, электрическую упряжку... Куда же смотрят всемогущие койка, как позволили они это?! А рядом со стариком его внук Вова Токко растягивает до ушей широкий губастый рот и восторженно шепчет по русски:

— Здорово как! Железно!

Мудрость учит, что вода сильнее огня и железа, но Вантуляку сомневается сейчас во всем, чему верил сам и чему веками верили его предки. Он хочет, чтобы река выплюнула камни обратно.

Алимешкин, перекрывая грохот бульдозеров, кричит Гатилину:

— Видал?.. Нет, ты скажи, видал?

Соглашаясь, Гатилин трясет головой, скашивает набок тяжелую квадратно-круглую голову. Он бочком подходит к Никите. Не говорит ничего, стыдится своего недавнего честолюбия и в то же время рад за Басова, а про себя думает: «Но я тоже прав. Слишком велик риск...»

Увидев его рядом. Никита какое-то мгновение медлит, потом сует ему в руки микрофон, говорит уставшим, но еще полным возбуждения голосом:

— На, командуй! Дай хоть перекурю разок...

Он садится тут же, на порожках крыльца, кивает и улыбается шоферам, и пробегающий мимо Колка Соколенок кричит Никите:

— Я же говорил: перекроем! Куда она денется!..

...В день осеннего равноденствия в Барахсане жили, работали, радовались и страдали люди, — обыкновенно, как на всей земле. Мало кто заметил, как поредела борода анивского водопада, словно из нее повыщипали самые сильные струи. Люди немножко шумели от радости, рядом, не так весело, шумела Анива.



ВЫСОКОЕ ЛЕТО

* * *

Высокое лето
Вступило в права:
Одело деревья
И подняло травы,
И днями над нами
Висит синева —
Погода в июле
Спокойного нрава.

Весенние ветры
Теперь улеглись,
И надо к себе
Пригладиться спокойно, —
Осмыслить по-новому
Прежнюю жизнь,
И зрелость осеннюю
Встретить достойно...

* * *

Как весело солнце встает,
Пылая на все поднебесье!
Как звонко пичуга поет
Живую рассветную песню!
Лоза у плеча моего
Серебряной веткой качает:
И, кажется, нет ничего,
Что может людей опечалить.

* * *

В разгаре таяжное лето,
Жуки бесконечно жужжат,
И бабочки разных расцветок
Над мреющей марью кружат.

Капустники и махаоны,
Оттенков любых мотыльки
Летают над полем зеленым,
Садятся вокруг на цветки:

То крылышки плавно раскроют,
То снова их плавно сомкнут;
И неги полны и покоя
Цветы, что поодаль цветут.

А солнце всю припекает,
Становится день горячей,
И бабочка — кроха живая
Сидит у меня на плече.

Виталий НЕФЕДЬЕВ



* * *

Средь кедров и елей.
Взлетевших высоко,
Сухие деревья
Стоят одиноко.

Стоят они тихо,
Не мыслят, не дышат,
И шепота юных
Деревьев не слышат.

Сквозь буйную зелень
Их крепкие кости
Белеют вдали,
Как кресты на погосте.

И лес безутешен —
Он полон печали,
Над собственным прахом
Вздыхая ночами...

Над вечностью мира,
Над бренностью мига,
Листаю природы
Зеленую книгу,

В которой пронзенные
Страстной любовью
Все буквы написаны
Потом и кровью.

* * *

В районах Охотского моря,
Где севером дышит простор,
В июле встречаются зори
Над кромкой темнеющих гор.

Едва в помутневшем просторе
Вечернее пламя сгорит,
Как рядом взлетает над морем
Сиянье рассветной зари.

И кажется: в этом сиянье
Вечерних и ранних огней
Является людям слиянье
Прошедших и будущих дней.

КОМСОМОЛЬСК

Отогри Сихотэ-Алиня
Остались давно за спиной,
И я очутился в долине,
Открывшейся передо мной.

Высокой серебряной грудой,
Лучами пронзенный насквозь —
Земли моей трудное чудо, —
В долине сверкал Комсомольск.

Как будто войдя в невесомость,
Он плавно в пространстве парил.
Казалось, он был нарисован
Штрихами прозрачных чернил.

Высокие шпили строений,
Поставленных здесь на века,
Стремительно в небо летели,
Пронзив острием облака.

* * *

Внезапно ночь была насквозь
Свеченьем пронзена.
Рванулся ливень наискось
И лопнул, как струна.

Гроза прошла — и воздух чист.
Все замерло вокруг.
Лишь иногда омытый лист
На ветке вздрогнет вдруг.

Гроза ушла — и нет следа.
Душа моя молчит.
Светлокипящая вода
По желобу журчит.

СОПКА ЛЮБВИ

Я в Солнечном — жду вертолета,
Пора мне в дорогу, пора!
Весеннего дня позолота
На снежной вершине легла.

Почти что отвесной стеною,
Вздымая уступы свои,
Стоит над таежной рекою
Высокая Сопка Любви.

Я вспомнил: с подобным названием
Немало я сопок встречал.
Кто был на вершинах — не знаю,
А сам я пока не бывал.

Но если таким вот названием
Народ увенчал высоту —
Знать, будут Любовь и Признанья
Весной, когда сопка в цвету...

АПРЕЛЬ

То ли реки обрушились вспять,
То ли горы уже не седеют, —
Я сегодня увидел опять,
Как земля на глазах молодеет.

И дробятся ручьи, и звенят,
Тишина переполнена гулом...
Это солнце сияющий взгляд
К охладелой земле повернуло.

* * *

Таня, дорогая
Девочка моя,
Не оберегая,
Береги меня.

Если станет жалко,
Глядя на меня,
Не роняй скакалку,
Девочка моя.

Пусть пройдет неловкий,
Станный твой сосед.
Подними головку,
Погляди вослед...

* * *

Снегом покрыты вершины
На мяо-чанских отрогах.

Я на попутной машине
Еду знакомой дорогой.

Рядом завалы и тропы,
Черные стрелы пожарищ.
Здесь вот погиб в катастрофе
Лешка — мой верный товарищ.

Лешка, товарищ мой старший.
Как получилось, ответь мне?
Может быть, вовсе не страшно
Встретиться так вот со смертью?

Сшиблись машины с разгона,
След торможенья не мерьте:
Правила есть для обгона.
Нет только правил для смерти.

Снежные сопки отроги
И облаков позолота...
Серая лента дороги
Прячется за поворотом.

* * *

Снега уходят, тихие снега.
Уже в полях проталины чернеют.
Березовые рощи прояснели,
И реки обнажили берега.

Посмотришь вдаль — и кажется, вот-вот
С верховьев хлынет паводок весенний.
Природа ждет, когда взорвется лед.
А сердце ждет любви и просветленья...



ЗАПАХ СНЕГОВ

РАССКАЗ

В один из мартовских дней вертолет Литовченко оказался в горняцком поселке Иультине. Поселок растянулся вдоль вымороженной до дна речки Иультинки, а с двух сторон к домам подступали малые и большие сопки, в одной из которых добывали олово и молибден. К этой сопке, именуемой в отличие от остальных горой, прилепились фабричные здания, склады, гаражи. В ней чернели выходы штолен.

Вертолетчикам нужно было доставить в верховья Екытики последнюю партию взрывчатки для геологов группы Жоры Алафердова, а Жора был не из тех, кто упускает свой рейс. Командир звена по радио распорядился отдать Жоре первый же вертолет, зашедший в Иультин. Но вышло иначе.

Сначала увезли в поселок с приступом аппендицита и срочно оперировали никогда ничем не болевшего балагура и хохмача, штурмана вертолета Бориса Калинина. А затем Литовченко, вернувшись из больницы, заявил ожидающим геологам, что летит в Нутепельмен за роженицей. Алафердов поругался с Литовченко и с диспетчером аэропорта, но лишь отвел душу, понимая, что придется либо отложить встречу с Екытикой до завтра, либо дожидаться другого вертолета.

Без Бориса в машине было неуютно и пусто. Литовченко облетал восточную Чукотку вдоль и поперек, мог при хорошей погоде обойтись и без штурмана, и не хватало ему сейчас не поправок по курсу, а голоса, которым они произносились. Молчаливый, высокий бортмеханик Николай Моргунов тихо сидел на месте второго пилота, прикидывая, успеют ли они вернуться назад засветло.

Они прилетели в Нутепельмен после захода солнца. Закат был мирно безмятежен. Он струил на хаотические глыбы торосов у океанского берега и на голубые с фиолетовым отливом скалы медленно гаснущий чистый свет. Вдоль заснеженной морской косы слегка шуршали ручейки поземки, но для Нутепельмена, знакомого с яростными затяжными ураганами, это была безветренная тихая погода.

Роженицу провожали две женщины. Строгая, хмурая, в длинной меховой шубе, и в обыкновенных черных подшитых валенках, — директор местной школы и здешняя фельдшер, улыбчивая гибкая девушка-чукчанка, с непокрытой головой, в кухлянке и синих шерстяных шароварах. На аккуратных маленьких торбасах фельдшера вился сложный бисерный орнамент. На щеках темнели точки татуировки. Черные прямые волосы, туго зачесанные на прямой пробор, были перехвачены за ушами капроновыми красными ленточками, как у школьницы. По-русски девушка говорила свободно и быстро.

— Вы поймите меня, — сказала она, обращаясь к Литовченко, — не могу я лететь с вами. Врач в командировке, поселок мне оставлять нельзя: ведь летают к нам самолеты, вы знаете как. Вы ее, — чукчанка чуть заметно кивнула в сторону роженицы, — сдадите в Иультине. Я созвонилась, ее встретят в порту.

Литовченко потрогал свою мефистофельскую бородку, выпустил из горбатого носа струйки дыма и сказал:

— Все сделаем. А как она сама, не боится?

— Нет, она молодец. — Фельдшер тронула за руку ту, о которой шел разговор, будто призывая ее принять участие в беседе, но женщина лишь смущенно улыбнулась.

— А я считаю это дикостью — оставлять Галину Петровну без врачебной помощи! — заявила директриса. — Вдруг ей понадобится что-то в пути? Вы за это ответите! — И, обращаясь к женщине, сказала: — Вы не соглашайтесь, Галина Петровна. С вами обязана лететь хотя бы медсестра. Конечно, ничего сверхъестественного в предстоящем для вас не вижу — обычное наше женское дело, но порядок есть порядок. Я бы настояла, уверяю. До свидания. — И ушла в поселок, не оглянувшись ни разу.

Фельдшер не уходила до самого отлета. Литовченко надел на нее чью-то мужскую шапку, все время падающую ей то на глаза, то на затылок. Девушка доверительно рассказала летчикам, что Галина Петровна преподает в школе русский язык, приехала в поселок два года назад, после института, а в прошлом году вышла замуж за здешнего электрика. Ничего, хороший парень, да больно водку любит. Сейчас вот, по случаю отправки жены в роддом, так наотмечался, что даже проводить ее не в состоянии, спит. А собирался лететь в Иультин.

Галина Петровна нетерпеливо ходила по краю взлетной полосы, дожидаясь, когда загрузят вертолет почтой, и не обращала внимания на чукчанку и пилотов.

Литовченко глядел в карие удлинённые глаза фельдшера и думал, что она метиска. Больно уж выглядит по-европейски, и нос узкий и ровный, и скулы почти не выдаются, и цвет лица почти светлый.

Моргунов, проверив двигатель и грея в меху куртки замерзшие руки, тоже загляделся на красавицу.

Когда загрузились и собрались улетать, Галина Петровна приблизилась к вертолету и беспомощно затопталась. Николай взял ее под руку, помогая взобраться.

— Спасибо, — сказала она негромко и чуть хрипло.

От этого простого слова Моргунов чуть не застонал. Ему казалось, что он давно забыл все, но, стоило ему вот так прикоснуться к женщине, будущей матери, как прошлое вернулось к нему, болью и обидой обожгло сердце. Со своей женой он прожил недолго, детей у них не было, она постаралась, причем так здорово, что ее самоё-то едва спасли...

Взобравшись вслед за пассажиркой в салон, Моргунов махнул рукой фельдшернице, захлопнул дверь и занялся предотлетными забо-



Анатолий Григорьевич Липицкий родился в 1933 году. В журнале «Дальний Восток» публиковались его повесть «Авария» и рассказ «Поиски повреждения». Анатолий Липицкий много лет живет и работает в поселке Билибино Магаданской области.

тами, стараясь не глядеть на женщину. Грузной и неуклюжей, Галине Петровне было неудобно сидеть, на жестком кресле, но и лежать тоже было неудобно, поэтому она старалась ничем не выдавать себя, даже улыбалась, прислушиваясь, как пошевеливается внутри у нее кто-то, требовательный и невыразимо дорогой для нее.

Она понимала, что в общем-то директор права: ничего сверхъестественного не происходит, все женщины рожают. Она помнила рассказы фельдшерицы о древнем обычае чукчей, когда роженицу отводили в одинокий чум и оставляли там одну. Женщина могла кричать, звать на помощь, погибнуть вместе с малышом, никто бы не помог. Она должна была сама выйти из чума, неся на руках рожденного ребенка, — сильная, крепкая, достойная жить и дарить жизнь.

Галина Петровна понимала, что ей, здоровой, молодой, ничего не грозит, но все это были лишь успокоительные раздумья. Теперь, когда пришел срок и она уже летела в роддом, к страху прибавилась еще и обида на мужа.

Виктор обещал лететь с нею, ему даже разрешили отпуск на неделю. Но с недавнего времени начавшиеся у него выпивки с друзьями стали превращаться в многодневные запои. «Я радуюсь, наследник растет, высоковольтник». — Он поглаживал ее по животу, отводя глаза с мешками под веками, и заваливался спать. «Ты же становишься алкоголиком, Витя, — плакала она, помогая ему утром подняться: у него болела поясница и кололо в боку. — Ты убьешь себя». Он хрипло смеялся и жадно пил ледяную воду из металлической бочки. «Думаешь, я до тебя трезвенником был? Меня уже один раз лечили...» Галина с ужасом думала, что ничего не знает о прежней жизни Виктора, что вообще знает его совсем мало, не может даже понять, где кончаются его шутки и начинается правда.

Она глядела в круглое окно вертолета, видела розовые пирамидки гор, которыми была уставлена внизу земля, и синие тени ущелий, разламывающих горы. Безоблачное небо над горами было фиолетовым, на его фоне отчетливо тлели освещенные заходящим солнцем треугольные вершины.

И тут она почувствовала, как внутри ее все перевернулось; сразу же в ноги хлынул огонь, и разум у нее помутился от боли и страха...

Моргунов подсел к пассажирке, собираясь развлечь учительницу расспросами о работе, о школе, — больно уж грустной сидела она в пустом салоне. Но, взглянув в лицо Галине, умолк на первом же слове. Он увидел, что не только пот оросил капельками ее пухлую верхнюю губу и рябой от пигментации лоб над широкими бровями, не только руки ее вцепились длинными полными пальцами в металл сиденья, но все ее тяжелое тело, одетое в полурасстегнутую шубу, стало изгибаться в судороге.

— Что нужно сделать? — почему-то шепотом спросил он.

Видя, что она не слушает его, а может, и не замечает вовсе, он бросился по лесенке в летнюю кабину.

— Иван Васильевич, она рожает!

Литовченко оглянулся, несколько секунд прошло в молчании.

— Иди к ней, Коля! — В реве двигателя ничего не было слышно, и по движению губ Литовченко Николай больше угадывал, чем слышал то, что ему говорил командир. — Иди. Она там одна, подумает, что мы ее бросили. Иди, не бойся. Успеем еще долететь.

Моргунов, цепenea от предчувствия беды, спустился вниз.

Галина Петровна сидела, упираясь спиной в ребристую стенку салона. Огромные глаза ее со страхом глядели на Николая из-под сбившегося пухового платка.

«Что же теперь будет?! — угадал ее немой вопрос Моргунов. В этом вопросе была слабая надежда, вера, желание переложить на кого-нибудь часть своей боли и ужаса.

— Все будет отлично, Галина Петровна, — заговорил он громко, почти крича, чтобы ей хоть что-то было слышно. И уже с этой фразы старался не умолкать надолго. — Все будет прекрасно, только вы слушайте меня и не возражайте. Сначала мы устроим вас удобней, снимем шубу, вот здесь у меня есть меховая куртка, на полу будет твердо, но удобно, и от двигателя здесь тепло. Вам станет легче, вот так, ложитесь! Под голову можно вторую куртку и платок... Вот так, держитесь за меня! Мы с вами отлично долетим, не надо переживать. Бабушка моя в степи рожала, под скирдой. А боль — это ерунда! Боль можно вытерпеть.

— О-о-о-!!! — Она каталась головой по куртке, хватая руками живот, и ей уже было безразлично, что говорит ей этот мужчина в белой рубашке.

А он понял, что все надежды на иультинских врачей не оправдались. Теперь никто, кроме него и командира, не поможет ей и ее ребенку.

Со словами о спирте и горячей воде, которая обязательно будет нужна «потом», он бросился наверх, в кабину пилота, и Литовченко подчинился требованию и повел машину вниз, в синеющий распад.

Нужно было ощутить под колесами твердую и ровную площадку на заснеженном плато. Литовченко сдул снег и несколько раз переставлял машину, понимая, что, если вертолет завалится на бок, никому отсюда выбраться не удастся: за бортом было под сорок. Выключив двигатель, командир выпрыгнул с ведром и двумя паяльными лампами в снег.

Минут через пять, выглянув в иллюминатор, Моргунов увидел командира, — тот шуровал паяльными лампами. Ведро, набитое снегом, стояло в стороне. Оглядев салон, Николай остановил взгляд на своих ногах, снял унты и, приоткрыв дверь, бросил один Ивану Васильевичу.

— Облейте его бензином! — крикнул он, отвернулся к женщине и сразу забыл о воде и костре.

Больше всего он сейчас хотел, чтобы у Галины все прошло нормально, без осложнений, как обычно. Он тщетно пытался вспомнить все, что когда-либо читал и слышал о родах.

Моргунов действовал в силу интуиции да еще доверяя движениям женщины. Он обмыл ее спиртом из неприкосновенного запаса, снял с себя и подсунул под нее свою нижнюю рубашку. И все говорил, говорил, лишь бы не молчать:

— Галина Петровна, ничего нет у меня другого, только то, что на мне... Не сердитесь. И не волнуйтесь, все будет отлично, вот увидите.

И она поверила, что все будет хорошо. Ведь не оставят ее одну. И лететь им отсюда каких-нибудь полчаса до Иультина.

Она перестала уже стыдиться летчика: он сейчас акушер, санитар. Ухватила за его руку, черпая в этом прикосновении силу и веру.

— Ну, давай же, Галка-умница! Шампанское пить к тебе прилетит специально, когда выпишут тебя из роддома. Будем твою малышку обмывать...

Она так и родила, уцепившись за его руку.

Он с трудом разлепил ее пальцы, чтобы взять в свои ладони шевелящееся мокрое существо, красное и скользкое, с руками и ногами, крупной для крошечного тела удлиненной головой, с животом, от ко-

торого шла пуповина. И тут человечек тонко вскрикнул, раз и другой, словно подтверждая реальность своего прихода в мир.

Галина протянула ему оторванную от своей рубашки лямку, шепнула:

— Перевяжите.

Моргунов боялся за женщину больше, чем знахари и акушеры, все вместе взятые. Закончив манипуляции с пуповиной, Николай спохватился, что завернуть ребенка ему не во что.

— Кто? Кто? — дошел до него вопрос Галины.

— Летчик, Галина Петровна, парень! Килограмма на четыре!.. Да вот завернуть его не во что.

Он стащил с себя белую сорочку и разорвал ее пополам, поспешно стал заворачивать младенца, ощущая спиной холод. Разрезав в длину второй унт и уложив посапывающего ребенка в мех поглубже, Моргунов сунул унт в непослушные женские руки. Галину снова стало гнуть схватками, пришлось ему забрать ребенка и опять уговаривать измученную женщину, что все идет очень хорошо.

Когда все кончилось, Моргунов отдал ребенка матери. Затем позвал Литовченко, и они вдвоем кое-как обмыли Галину, одели и завернули сперва в сухую куртку, потом в ее шубу. Николай почувствовал, что совсем продрог, натянул на себя свитер, надел китель.

— Ну, мамаша, поздравляю, — сказал Литовченко, оттирая побелевшие на морозе уши и щеки. — Молодец, такого героя родила!

Галина улыбнулась подпухшими глазами.

— Спасибо скажешь, когда мы тебя домой отвезем с сыном.

Литовченко, поднявшись по лесенке, прошел к своему креслу.

Через несколько минут вертолет рванулся в небо, разнося, как салют, победный гром по распадку, вздымая снежную метелицу.

Стоя на коленях перед лежащей Галиной, Моргунов поправил прядь волос, падающую ей на глаза, и заглянул в унт. Морща нос, в собачьем меху спал новый гражданин Советского Союза, урожденный чукотчанин.

— Как вас зовут? — угадал он вопрос Галины.

— Николаем. — Он наклонился над нею, чтобы она услышала.

— Спасибо. Вы хороший. Жена у вас счастливая.

«Наверное, счастливая, — подумал Моргунов. — Наверное, счастливая, раз поторопилась выйти замуж за другого».

Теперь он ощутил холод в ногах, одетых в одни шерстяные носки, и со страхом подумал, каково было Галине в этом холодильнике: ведь двигатель тогда не грел кабину. Его начал бить озноб, — не только от холода. Это была реакция на все пережитое.

— Знаете, — громко говорил он, заикаясь от лихорадочной дрожи, — считайте, что у вашего сына два отца.

Галина Петровна улыбнулась сквозь дрему. Ей было покойно и хорошо. Прижимая к груди сына, она блаженствовала от близости ребенка, радовалась благополучному окончанию столь ожидаемого события. И оттого, что летчик опять говорит ей что-то хорошее, только ничего не могла разобрать в этом реве.

Вертолет накренился и пошел снижаться.

Когда носилки с Галиной Петровной и ее сыном понесли к машине с красными крестами на боках, Литовченко и Моргунов подняли руки в прощальном приветствии. Галина вытащила из-под одеяла руку, махнула и совсем неожиданно для себя заплакала.

Литовченко обнял Николая, за плечо, поежился от холода.

— Ну, Моргунов, вы получили крещение Севером. У каждого это по-разному, но — навсегда.

— Я тут временно, Иван Васильевич.

— Все в жизни временно, Коля. Что такое жизнь? Мгновение! Может, это и хорошо, что не сидишь на одном месте это мгновение, а бродишь по свету. Ты говоришь. Север — временно? Ну, уедешь, станешь летать над Украиной...

Они шли, разговаривая, к автобусу, уходящему в поселок. Моргунов косолапо ступал в огромных валенках, которые для него раздобыла где-то аэропортовский кассир — «с возвратом». Литовченко машинально трогал рукой примороженные уши, заглядывал в лицо бортмеханику.

— Я лично трижды уезжал отсюда... Это сильнее нас, Коля. Помнишь: «Ширь Востока и Крайний Север навсегда остаются с нами?» Тут трудно даже сказать, кто с кем — они с нами или мы с ними. Но врозь не получается.

...На следующий день они улетели с Жорой Алафердовым и его взрывчаткой в лесистые верховья Екытики, оттуда пошли за спецгрузом на ветреный мыс Шмидта. Возвратились в Залив Креста и простояли на профилактике, и лишь после этого попали в Иультин.

Подходя к вертолету перед рейсом, Моргунов увидел в руках командира сверток, формой и упаковкой копирующий тот, который находился в его, Николая, руках. Сверток ему соорудили девочки из «Детского мира» в Эгвекиноте. «Когда это он успел купить приданое? — ревниво подумал бортмеханик.

В иультинской больнице они разыскали штурмана, изнывающего под надзором докторов. И уж все вместе пошли в родильное отделение. Калинин двигался бодро, лишь слегка тянул правую ногу.

— Так это был ты? — глядя на комплекты приданого, удивился штурман. — Вот почему вы сюда примчались, а я думал — за мной. Что ж молчали? Ну, отличились! Тут весь Иультин три дня гудел, а по телефону фамилию перевали: то ли Брунов, то ли Хрунов... Я думал — чужие. Во дал, бродяга!

— Ла-ла-ла! — сказал Моргунов. — Может, ты помолчишь?

В приемной оказался всего один халат, и первым одели Николая, а штурман завопил в коридоре:

— А ну, бабоньки, вали на смотрины! Вот он перед вами, герой, воздушных трасс, Коля-Николай! Летайте только на самолетах и вертолетах Аэрофлота!

На крик выбежала медсестра и возмущенно стала выговаривать им. Сестры и роженицы выглядывали из палат, чтобы поглядеть на «того самого парня».

Галина Петровна выбежала в коротком больничном халате, легкая и подвижная, бросилась к Моргунову, обняла его рукой за шею, поцеловала в щеку. Женщины кругом рассмеялись. Кто-то сказал: подумай, мол, девка, стоит ли тебе домой возвращаться.

— Вы сейчас совсем другая, — смущенно сказал Моргунов, отдавая ей комплект приданого. — Я бы и не узнал. Как у вас дела?

— Мальчик благополучно. — Она тоже засмущалась. — Вы не станете возражать, я назвала его Колей.

— Спасибо, Галинка.

Калинин, пробормотав извинения, ушел в коридор, пропуская входящего командира.

— Ну, здравствуй, здравствуй, мать! — загудел Литовченко, завязнул в маленьком халате. — Да ты ко всему еще и красавица!

— Ну, что вы... — порозовев, засмеялась Галина.

— Мы ведь в тот раз и разглядеть не успели. Ну, а сын — в тебя? На мать похож — счастлив будет. Держи, пусть не кашляет.

Она поблагодарила Литовченко, понесла в палату свертки. Затем вышла в коридор с сыном. Заботливая, совсем обычная мама.

— Коленька, — сказала с гордостью.

Моргунов смотрел на чистое лицо ребенка, на ясные голубые глаза, моргающие веки, — да неужели это он, мокрый и жалкий, родился две недели назад на грязном полу вертолета? Муки и кровь, безумный взгляд женщины, ее пальцы, вцепившиеся в руку Моргунова, отчаяние и надежда, вера и страх... И вот она смеется и смущается немножко, и счастлива, и взгляд ее ласкает малыша, нормального пацана.

Великое, непостижимое чудо рождения!

Застарелая обида на жену, теперь уже — чужую жену, шевельнулась в сердце Моргунова. «Молодость — не для пеленок!» — говорила она. Какое это, наверное, счастье, если твоя подруга держит в руках твоего сына, твою дочь!

Моргунов подумал о Галкином электрике, о том, как он встретит ее в Нутепельмене, возьмет в руки сына и пойдет в поселок, гордясь женой, шагающей рядом и с любовью поглядывающей на своих мужчин.

— Иван Васильевич, не пройдем ли мы в Нутепельмен? Как там погода? — Моргунов спрашивал, злясь на себя за глупую зависть к незнакомому человеку. — Мы просто обязаны Галину Петровну с сыном назад привезти, а? И выкуп с мужа взять. Вас скоро выпишут, Галина Петровна?

— Как только будет чем добраться, — сказала Галина, сразу став серьезной. Мысленно она была уже дома, пытаясь наладить все по-новому в своей выросшей семье.

Вертолет устало опустил книзу концы лопастей-крыльев, продолжающих вращаться все медленней и медленней. Моргунов раскрыл дверцу, сошел на утопанный снег, протянул руки за своим, укутанным поверх одеяла в брезент, тезкой.

Снова был вечер, морозный и почти безветренный. Пламенели заснеженные скалы с черными провалами пещер. На дома поселка легли густые синие тени, в окнах светились огни.

Люди шли к вертолету группой, и Николай пытался угадать, кто же отец ребенка. Еще в Иультине удалось дозвониться в нутепельменскую школу и предупредить о возвращении Галины Петровны с сыном. Так кто же все-таки отец? Конечно, не этот сутулый дядька с седой прядью, выглядывающей из-под шапки. И не парень с наклейками на чемодане и с белыми локонами до плеч. Остальные встречающие были женщины: фельдшер с заплаканным лицом и директриса — шубу она сегодня на пальто сменила.

Оглянувшись, Моргунов увидел Галину Петровну в шубе и платке. Галина глядела на людей, которые шли к вертолету, а они, не обращая внимания на Моргунова с ребенком, тоже глядели на Галину и, подойдя поближе, остановились.

Ни приветственных возгласов, ни поздравлений, ни вежливого «здравствуйте».

— Что случилось? — спросила Галина громко. — Где Виктор?

И тогда фельдшер и директриса подошли ближе и что-то зашептали ей с двух сторон, — чукчанка, всхлипывая. Галина стояла, опустив руки, а лицо у нее все мертвело и мертвело.

— Да что произошло?! — спросил Моргунов у мужчины, не отдавая тому плакавшего малыша, хотя тот уже руки протянул.

— Мужа ее, Виктора Недосекина, увезли в лечебницу, — сказал

тихо мужчина, пряча руки в карманы куртки, — Обмывал с друзьями рождение сына. Дообмывался. Отправили в областной центр. Говорят, безнадежен. Вот как все нескладно у них получилось. Алкоголь... А Галину Петровну мы поддержим, поможем.

— Нет-нет! — сказала Галина. И заплакала, беспомощно, по-бабьи приговаривая: — Я знала, знала, что кончится плохо. Зачем я уехала, я же знала, знала...

Все топтались возле вертолета, мешая грузчикам, которые разгружали и загружали почту. Невозможно было увести Галину силой, а она не трогалась с места.

— Я не пойду туда. И вообще, как же я — одна, совсем одна?

— Как это «одна»? — Директриса уже не сдерживалась. — Вам предлагается помощь, о вас думают, заботятся люди, а вы — «одна!» Подумаешь, горе — муж пьяница! Вы подумайте о ребенке...

— Дайте мне вмешаться, — загудел Литовченко. — Я здесь чужой, но право голоса заслужил. — Он подошел к Галине, обнял ее за плечо, притянул к себе. — Что вы от нее хотите? Чтобы она шла в ту квартиру, где ей будет страшно каждую ночь? Чтобы оставалась без помощника и друга с ребенком здесь, откуда вылететь можно раз в месяц? Ну, Галя, прекрати плакать. Где твои родители живут?

Галина расплакалась, уткнувшись в куртку Литовченко.

— В Днепропетровске, — сказала директриса. Она, видно, все знала о своих учителях.

— Мама, здорова, не стара еще? — выяснял Литовченко.

— На пенсию в прошлом году вышла, — опять ответила директриса.

— Ну, так что тут гадать? Иди, Галина Петровна, мы подождем. Пусть тебе выпишут отпускные, полетим в Залив Креста, а там двинешь к маме.

— Вы нас обижаете! — заявила директриса. — Что мы не в состоянии ей помочь?

— Да бросьте вы, никто вас не обижает! У человека — декретный отпуск, пусть возле мамы побудет.

— Да вы понимаете, что вы говорите? — возмутилась директриса.

— Не волнуйтесь: понимаю. А вы считаете, что в Нутепельмене с младенцем легче? У вас тут, наверное, известные всей стране педиатры, молочная кухня, кефиры и прочее, — разошелся Литовченко. — Мы ей организуем место на первый же борт из Анадыря до Москвы. Оформите ей быстренько отпускные, денег на билет, если не наскребете, мы дадим. Неси, Коля, малыша в машину, застудишь. Пока загрузимся, вы успеете.

— Иван Васильевич, метео в Заливе неважное, могут закрыться, — негромко сказал подошедший Калинин.

— Товарищи поторопятся, правда же? Пожалуйста.

Они пошли к поселку втроем: Галина посередине, а директриса и мужчина — по сторонам, как конвой, все время оглядываясь на вертолет и не желая смириться с решением, отличным от уже принятого ими.

И снова гремел над сопками двигатель вертолета, унося экипаж и Галину с сыном на юг, к суровым скалам Залива Креста, к побережью Берингова моря.

Литовченко и Калинин вели машину в наступающую ночь, а Моргунов сидел в салоне, рядом с тихо плачущей Галиной.

Николай, наклонившись к уху женщины, говорил громко, но часть

его слов наверняка терялась в реве двигателя. Рассказывал о своем детстве, о войне. Как сидели они с товарищами на крыльце бабушкиного дома среди бела дня и, конечно, не обращали внимания на самолеты в небе. А когда бабахнуло рядом и брызнули стекла из оконных рам, пацаны попадали все плашмя, кто куда — на крыльцо, на землю. Затем, хохоча, стали подниматься и лишь тогда увидели, что Ольга, постоянная участница их игр, не встает со ступенек и лежит как-то не так. Они по привычке тогда к смертям, всякого нагляделись за годы оккупации...

В конце концов убаюканная монотонным полетом и разговором, наплакавшись, Галина задремала, склонив голову на сверток с малышом.

Они садились в Заливе Креста ночью, при тяжелом северном ветре. Машину швыряло, унося в залив, и Литовченко с трудом посадил вертолет. Пришлось крепить вертолет тросами: из-за перевала в прибрежную долину падали массы холодного воздуха, вызывая жестокий сквозняк. Аэропорт закрылся еще с вечера.

— Я приду к тебе ночевать, Боря! — крикнул Моргунов штурману, уводя Галину в свой барак и прижимая к себе плачущего малыша, наверняка мокрого и голодного.

Литовченко тащил сзади Галинин чемодан и рюкзак с вещами.

Николаю показалось, что его комната стала еще меньше и еще неуютней. Галина стояла, прислонившись спиной к двери, и отсутствующим взглядом смотрела на то, как пытается перепеленать ее сына чужой мужчина.

— Галя, очнись! Раздевайся, командуй. Я же не умею...

Она дала снять с себя шубу и платок, стянула с ног и поставила у двери валенки. Расстегнув кофточку, погрела под мышкой свежие чистые пеленки, перепеленала малыша.

— Может, нужно помыть руки? В умывальнике теплая вода, здесь рядом, через одну дверь.

— Да, — сказала Галина. Взяла мыло и полотенце и вышла.

Малыш плакал взахлеб, по лицу его скатывались слезы. В широко раскрытом зеве рта между беззубых десен дрожал розовый язык. Николай поднял ребенка и зашагал по диагонали взад-вперед по комнате. Ребенок немножко притих.

Когда Галина вернулась, Моргунов качал ребенка на руках, бормоча слова какой-то солдатской песни. Малыш кричал еще громче.

— Давайте его мне, — сказала Галина, протягивая руки за сыном.

Она присела на кровать, положила мальчика себе на колени, расстегнула пуговицы на платье и, выпростав тугую грудь, стала кормить малыша. Можно было представить, как он измучился в ожидании этой минуты.

Моргунов вытаскивал из холодильника, встроенного в окно, припасы, обнаружил зачерствевший белый хлеб, сгущенное молоко в банке, колбасный фарш. Включил плитку и поставил греться чайник с водой. Он раздумывал, не пойти ли к соседям, попросить что-нибудь для Галины, когда она сказала:

— Посиди, я тут сама.

Колыха уже спал. Николай оторвал от «Огонька» обложку и приладил ее у лампочки, чтобы свет не падал на малыша. Галина хлопотала у плитки. И в этот миг ему показалось, что это готовит ужин его жена, а на кровати лежит его сын. «Надо уходить, — сказал он себе — Иначе я свихнусь».

Они пожевали хлеб с кусочками фарша, запивая крепким аро-

матным чаем, который заварила Галина. Николай поднялся, протянул руку к шинели.

— Посиди еще, пожалуйста, — попросила Галина, и в глазах ее мелькнул страх остаться одной.

— Ты ложись. Раздевайся и ложись, нужно поспать. Раздевайся, я покурю в коридоре.

Он курил и думал, что она уснет быстрее, чем он накурится. Но она не спала, лежала, выпустив поверх одеяла руки.

— Не уходи, пожалуйста, — снова попросила она. — Я закрою глаза, посиди возле нас.

Она действительно закрыла глаза, хотя ресницы продолжали вздрагивать и можно было понять, что она не спит. Моргунов присел на стул рядом с кроватью.

Будто и немало времени прошло, и он даже не знал, что помнит все происшедшее так хорошо. Он тогда сидел вот так же, и женщина лежала здесь, но глаза ее были раскрыты, а в глазах была ненависть. «Ты рад, конечно. Тебе наплевать на меня». Почему-то она считала, что ребенка у них не должно быть. Он же пытался объяснить ей, как это здорово, что у них будет ребенок. А однажды, вернувшись из полета, нашел на столе записку: «Скоро вернусь, не волнуйся, это очень просто, так будет лучше». Он выбежал на снежную дорогу, заспешил в Эгвекинот, надеясь, что попутная машина подбросит его. Он почти бежал все пять километров, ворвался в приемный покой с примороженными щеками. Дежурный врач отделения, теряясь и сникая, сказала: «Поздно. Уже часов шесть прошло...».

Наверное, после той ночи и пошла кривь и вкось их семейная жизнь. Жена долго болела, а после оказалась совсем неспособной рожать.

Прошло почти два года после отъезда жены. Моргунов даже не подозревал, как глубоко и крепко сидит в нем обида и тоска и особенно это удивительное, непостижимое желание иметь ребенка.

Тихонько приподнимаясь со стула, Моргунов хотел уйти. Галина раскрыла испуганные большие глаза и прошептала:

— Пожалуйста, еще немножко.

— Я посижу, не волнуйся. Мне хорошо здесь, я не устал. Ты постарайся уснуть, тебе это нужно. — Он гладил ее пальцы, успокаивая, как ребенка, словно был гораздо старше ее, умудреннее опытом, жизнью, горем.

Дом вздрагивал от ударов ветра, одно из оконных стекол чуть слышно позванивало.

Моргунов вспомнил, как жена, бывало, будила его среди такой же ночи и сердилась:

«Ну, что ты лежишь, как бревно! Поговори со мной. Я тут одна совсем, сто мыслей в голове, а ты спишь. — А потом говорила: — Уеду я, Колька. Уеду. Иначе с ума сойду».

Он считал все это женской блажью, капризами. Конечно, он был неправ. Неврестения, бессонница — ему потом многое стало понятным. Но даже если бы он знал, что это — болезнь, все равно в нем не исчезло бы ожесточение к жене, даже чуть ли не злорадство: так тебе и надо! Что же ты теперь от меня хочешь? Мало у меня тепла, любви, нежности?

Галина, заплакавшись, уснула. Посидев еще несколько минут, Моргунов тихонько встал и на цыпочках вышел из комнаты, захватив шапку и шинель. Замок противно хрустнул, запирая изнутри дверь. Моргунов постоял, прислушиваясь, но в комнате стояла мирная тишина.

Калинин не спал еще, молча кивнул на раскладушку, приготовленную товарищу. Штурмана в полете натрясло, да еще он помогал крепить машину, и теперь ему было худо. Он кряхтел на кровати, потирая правый бок, стараясь поудобней улечься.

Николай выключил свет и лег. Раскладушка заскрипела, отзываясь на каждый глубокий вздох, на каждое движение.

Белое пятно оконного переплета то темнело, то светлело от снежных зарядов пурги. В гуле ветра отчетливо различались жалобные тонкие голоса: под напором пурги пели, стонали и плакали провода антенн, тросы креплений, вентиляционные трубы, проволочные ограждения. Двое взрослых мужчин, тревожимые физической и душевной болью, ворочались, скрипели холостяцкими ложами, не имея сил уснуть.

Моргунов провалился в сон уже под утро. Проснулся по привычке в половине восьмого, услышал сквозь дрему рев пурги и хотел опять отдаться сну, — все равно погода не рабочая, — и тут мысль о Колюхе и Галине вошла в него свежей тревогой, и сон исчез. Николай вскочил, подошел к окну, вглядываясь в причудливые сугробы у метеостанции и в силуэты «Аннушек», зачехленных в зеленые намордники и закрепленных тросами за специально забетонированные в скалистом грунте тумбы.

Северный ветер гудел над аэродромом, утихая на короткие секунды, словно там, у черной сопки Утюг, кто-то переводил дыхание, набирая в могучие легкие побольше воздуха. И снова — рев и гул, и поток снега вперемешку с пучками прошлогодних трав и мхов, песка и мелких камней. На склонах сопки из-под снежного покрова проступали острые черные скалы. А над слоем летящего над землей тугого месива — ярко светило солнце в безоблачном синем небе.

— Коля, — сказал с кровати штурман. — Тебе не надоело? Ты — чудак, Коля. Добренький чудак.

В словах Калинина была доля правды, Моргунов понимал это. Действительно, его добротой иногда пользовались люди, недостойные доброго слова. Но сейчас речь о ребенке, попавшем в беду, о несчастной женщине, — при чем здесь «добренький»?!

Через полчаса Моргунов уже стоял перед дверью своей комнаты с двухэтажным судком в руке, тихо постучался. Он считал, что открывать ключом дверь не имеет права.

За дверью было тихо. Как всегда в непогоду, барак просыпался неохотно, почти все жильцы провели тревожную ночь, не выспались.

Прислушавшись к тишине, Моргунов еще раз постучал. Щелкнул замок, дверь медленно приоткрылась. Николай увидел бледное лицо Галины с воспаленными глазами, глядящими на него со страхом и надеждой.

— С добрым утром, — неловко сказал Моргунов. — Тут вот завтрак, поешь. Погода нелетная.

Галина протянула руку, по взяла не судок, а положила ладонь на руку Моргунова и заставила хозяина квартиры перешагнуть порог. Он зашел в комнату, закрыв за собой дверь. Волосы Галины слегка пахли йодом и еще чем-то, напоминающим больницу. Постель уже была убрана, и в комнате наведен порядок. Колюха спокойно лежал, запеленатый, огражденный от стены и края постели двумя подушками.

— Господи, — тихо сказала Галина. — Как тебя долго не было!

— Что случилось? Может, вызвать доктора? Тебе плохо?

— Нет-нет. — Она порывисто прижалась к его шинели, затем отпустила его руку и отошла к столу. — Извини. Сумасшествие какое-то.

Извини, пожалуйста. Мне показалось, что мы совсем одни, Коленька и я. Этот ветер, он так плачет. У меня нет часов. Я просыпалась и засыпала, и мне стало казаться, что прошло уже много дней, ты улетел, а я здесь, и никто ничего не знает обо мне! Прости меня.

Они снова сидели за одним столом, их разделял угол, на котором клеенка протерлась, обнажая некрашеную грубую доску.

Николай украдкой провел взглядом по комнате. Серый цвет стен. Сырой угол. Ситцевая неопределенного цвета занавеска на полке с тарелками. Нестроганная доска, обернутая ватманом, вместо книжной полки. Электрическая плитка, в пятнах и обгарах, на двух сдвинутых вместе красных кирпичах. Железная полутораспальная кровать, расшатавшиеся стулья. «Елки-палки, — подумал Моргунов. — Неужели я всякий раз возвращаюсь в эту берлогу, как в свой дом? Дурак! Оставил человека в этой убогости. Осчастливил».

— Тебе тут показалось ужасно? — Он попытался улыбнуться.

— Нет-нет! — Ей стало неловко оттого, что он мог воспринять ее настроение как требование, каприз. Кто она для него? Случайная пассажирка, которой он по душевной щедрости отдавал свой кров и кусок хлеба.

Он глупо улыбался, поражаясь своей слепоте, своему бездушию и черствости. Конечно, разве скажет она правду! А зачем же спрашивать, если это — очевидно?

— Ты, наверное, хотела бы искупать сына?

— Да. Но нужно, чтоб тепло...

— Сейчас. Вот тут у меня два рефлектора. — Он вытащил запыленные нагреватели, проверил, осмотрел. — Вытри пыль и включай. Я достану ванночку. Нагреем комнату, вода, есть, все будет о'кэй.

Он суетился, пытаясь сделать все как нужно. Хотел доказать Галине, и себе, и бывшей жене, что не так уж и плохо здесь, что, если захотеть, можно все сделать. Он грел воду, помогал затем купать малыша, пытался разговаривать с умиротворенным тезкой.

А Галина не могла понять ни тревоги своего помощника, ни его суеты. Не до мелочей неустроенного быта ей было. Что еще нужно: тепло, можно выкупать крошку, постирать пеленки, покормить, уложить спать, привести и себя в порядок. Можно лечь и лежать рядом с сыном, слышать его частое дыхание, прикоснуться к нему рукой.

Ее мучил стыд за свое бегство из Нутепельмена. Она даже не узнала адреса лечебницы, куда увезли Виктора. Собственно, испугалась она ехать в психиатрическую лечебницу, и теперь ей было стыдно, ведь она совершила предательство по отношению к отцу своего малыша, своему мужу, и никто в поселке не забудет об этом. Нужно было дать телеграмму матери Виктора, с которой они еще ни разу не виделись. А что написать в телеграмме? «Ваш сын спился, в доме для сумасшедших?» Что она знает о его матери, о их жизни? Может, это у него — наследственное. Она же видела, что он болен, тяжело болен, не надо было лететь в Иультин, нужно было оставаться дома. Уж лучше было рожать в своей комнате, чем в вертолете посреди тундры. И дома она бы уследила за Виктором...

Галина, измученная этими мыслями, тоскливо горбилась, сидя возле кровати. А за окнами кто-то плакал, гонимый ветрами, жаловался на холод и на бесконечное свое путешествие, царапался в замерзшее окно, шептал упреки.

Уходил и приходил Моргунов. Принесил еду из столовой, в кастрюльках, обсыпанных снежной пудрой. Летчик щелкал языком и мурлыкал, наклоняясь над малышом, а Галине становилось еще страшней: Виктор может навсегда остаться больным. Она будет ждать и

верить, а он не придет, никогда не возьмет в руки сына, не поднимет его и не обрадуется, и сам никого не обрадует. «От мужчины должно пахнуть потом, табаком и спиртом, а не сметаной и духами», — твердил Виктор.

— А где твоя семья, Коля? — Она ревниво смотрела на то, как смело держит он на руках ее сына.

— Отец и мама в Николаеве, — ответил Моргунов. — Почти рядом с твоими. Мы ведь земляки. Я на Днепре три года жил, учился там.

— А... жена?

— Ушла от меня жена. Сбежала тут с одним, из Озерного.

— Ты все шутишь. — Недоверчиво качая головой, Галина смотрела на его большие руки, осторожные и заботливые, и ей хотелось поцеловать их за ту нежность и мужскую силу, которую они отдавали ее малышу. — А по правде?

— И по правде то же, я не шучу.

— Но... почему?

— Если бы я знал. Наверное, разлюбила. Бывает.

Галина смотрела на странного этого человека, чужого ей и такого родного, будто брат, и ей казалось, что так не бывает. Бросают пьяниц, бездельников, но не таких добрых и заботливых. Может, он — болен? Но он же — летчик, какие тут болезни!

— А дети у вас были? — Она пыталась понять, что оттолкнуло от него ту, чужую, незнакомую ей женщину, которая когда-то была хозяйкой этой комнаты.

Он покачал головой и поглядел на свою гостью с такой тоской и болью, что ей ни о чем больше не захотелось его расспрашивать.

Что он мог сказать ей? Что ему не хочется уходить от нее и Колюхи? Что ему кажется, будто встреча их не должна оборваться вдруг, вот так безжалостно — она улетит, и уже никогда больше им не встретиться. Он молчал, понимая, что ничего этого не имеет права говорить. Он для нее — никто, тем более сейчас, когда у нее беда.

На третий день пурга стала утихать, к вечеру стали проглядывать дали, снег летел уже не той плотной завесой, сквозь которую нельзя было различить ближайший угол соседнего барака. Моргунов понял, что к утру порт откроется и следующую ночь он уже не будет скрипеть раскладушкой под ухом у Калинина. И эта комната снова станет холодной и пустой, лишь случайно забытая мелочь напомнит ему о мальчике и его матери, гостивших здесь из-за непогоды. И всякий раз, когда будет налетать на Залив Креста пурга, биться в стены дома, трогать шуршащими космами снега стекла в окнах, в памяти Моргунова будет возникать не только то, как мучилась бессонницей жена, решавшая, уходить ей или остаться здесь. Он будет видеть перед собой и смуглое тельце мальчика в руках Галины, и свои большие ладони, зачерпывающие воду и льющие ее на ребенка в ванночке. И к запаху снегов примешается слабый запах йода и молока, исходивший от волос Галины. Склоняясь над ванночкой, они иногда настолько близко оказывались головами, что выбившиеся из-под косыночки волосы женщины щекотали его щеку и лоб.

Он уже собрался уходить, стоял в шинели у двери, произнося банальные слова прощания. Галина подошла к нему, положила ладонь на грудь, словно собиралась поправить китель под расстегнутой шинелью.

— Ты не сердись на нас? — Она подняла на него глаза, в которых была доброта и материнская нежность.

Он не понял, как это произошло. Руки сами привлекли ее, и он целовал пушистые пряди волос у виска, щеку, глаза, не осознавая еще ничего, отдавшись порыву. И лишь когда она попыталась отстраниться, он опомнился и отпустил ее.

— Прости. Прости меня. — Он почувствовал, что заплачет от стыда и унижения.

Галина подняла руки, взяла в ладони его лицо и, глядя снизу вверх ему в глаза, сказала:

— Бедный ты, бедный. — И, поднявшись на цыпочки, поцеловала его в угол рта.

Ветер окончательно утих. Бульдозеры срезали снежный вал, разлегшийся на взлетной полосе. Пошли водовозки с Эгвекинота к глубинной скважине. Покатили угольщики на электростанцию. Появились в аэропорту желающие лететь пассажиры. Жизнь возобновилась. По радио ругались с диспетчерами геологи, требовали вертолет.

К концу дня прошел борт из Анадыря на Шмидт. Обратным рейсом, летчики пообещали забрать Галину, посадить ее вечером в Анадыре на московский рейс.

Летчики выполнили свое обещание и приземлились в Заливе Креста, имея одно свободное место для пассажирки с ребенком.

Шагая к самолету с вещами, Моргунов сказал идущей рядом Галине:

— Адрес у нас тут простой: Чукотка, Залив Креста. Если что-то понадобится, ты черкни пару слов, хорошо?

Галина поглядела ему в глаза, словно запоминая сказанное, и пошла по металлическим ступенькам трапа в самолет, не оглядываясь. И в самолете, усаживаясь в кресло, тоже не оглянулась. «Даже не будет знать, где стоят вещи», — подумал Моргунов и смутился своему желанию увидеть еще раз, последний раз ее лицо.

Ил-14, взлетев, сделал широкий круг, развернулся и снова вышел над аэродромом. За первым от пилотской кабины иллюминатором была Галина. Моргунов поднял над головой сжатые вместе кисти рук, и самолет качнул в ответ плоскостями. Уходя на юго-запад, он затерялся в потемневшем вечернем горизонте.

...Прошла неделя, вторая. Аэропорт закрылся. Стояли белые майские ночи. Снег таял фантастически быстро, звенел ручьями, и крепкие запахи талой воды и весны проникали сквозь оконные стекла в комнату.

Светлыми ночами в тесном пространстве своего жилья, где, казалось, остались запахи Галкиных вещей, где спала она с малышом под сердитый грохот ветра за окном, — Николай Моргунов подолгу лежал без сна, курил и думал. О своей неудачной женитьбе. О своей бывшей жене. О Галине, о ее муже, о их сыне. «Все проходит», — говорили древние. А что же впереди? Там, за горизонтом? Завтра? Через год?

Белые ночи переворачивали вверх тормашками весь уклад. Терялись границы сна и действительности. Сон не приносил отдыха. После дневных полетов громовое эхо ледяных пустынь ревело в памяти, а за окнами таяли, оседая, снега, шумели ручьи, убегая в студеное Берингово море. И запах снега — запах чистоты — преобладал над всеми другими.



ДВА РАССКАЗА

Простое задание

В густом тальнике петляла быстрая речка Моховушка. С кустов в воду падали букашки, и бойкие форели рьяно охотились за ними. Утро было погожее, поистине золотое утро ранней осени. Вся тайга крепко пахла свежим листопадом, ядреными грибами и спелой ягодой. Живительный воздух, залитый солнечным сиянием, переполнял грудь здоровой бодростью и чувством радости жизни.

На опушке леса, усыпанной желтой листвой берез, комсомольский взвод ЧОН был построен в пеструю шеренгу.

— Кто не трус — шаг вперед! — властно скомандовал товарищ Демьян, и его острый взгляд цепко пробежал по лицам бойцов.

Закадычные друзья Тимоха Пинегин и Ганька Белозеров — парни из одного захолустного городка, как всегда, стояли рядышком. Они живо перемигнулись и торопливо шагнули вперед.

— Хватит двоих!

Товарищ Демьян увел их в сторонку. О чем они там толковали, их дело.

— Ну и ну! — вздохнул Ганька, когда они остались вдвоем с Тимохой. — Уж дело-то больно простецкое... Я думал, что нас пошлют обломать черту рога, — продолжал он с горьким разочарованием. — А тут на тебе! В разгар драки изволь топтать в тыл. Смешно вышло. Рвались богатыри на сечу, а нарвались на горшок кислых щей...

— Не скули, Ганя! — спокойно возразил Тимоха. — Мне тоже не по нутру такой фокус. Но приказ есть приказ. Ведь ты знаешь, товарищ Дёма зря людей не баламутит. И раз он сказал, значит, так нужно!

— Да я не про то, а так вообще говорю.

— «Вообще» болтуны доклады делают, да их плохо слушают, — сердито оборвал его Тимофей.

— Ладно, не сердись, Тимка!

— Я не сержусь, а так... «вообще».

Они, взглянув друг на друга, весело рассмеялись и пошли «совать ногу в стремя».

Скоро два всадника — белобрысый здоровяк Тимоха и худенький черномазый Ганька — с карабинами на изготовку поехали обратным путем в ближнее село. Впереди них, понуря голову, шел пешком комсмай, похожий на лешего, деревенский мужик. Было тихо, тепло и сухо. Золотой скатертью стлалась под ногами ровная дорога.

Настроение у Тимохи и Ганьки было одинаково скверное. Отряд их потерпел неудачу. Запертая тайными засадами в Моховой пади банда сотника Гордеева точно сквозь землю провалилась. А была там, как в мышеловке: куда не сунься — везде пули. И было это странно, не понятно. Все видели, как помрачнел товарищ Демьян, разглядывая свежие следы бандитской конницы. Они вели на дикие горные кручи,

Из литературного наследия писателя — бывшего чоновца Забайкалья, комсомольца 20-х годов.

в обход всех путей и дорог. Осенний лес с каждым порывом ветерка, точно отряхиваясь, густо посыпал их желтой листвой. И все знали, что скоро от следов ничего не останется. Тогда всем стало ясно: банду кто-то предупредил. Но кто и когда? Это была тайна. Банда ушла, ловко заметая свои следы. Куда она выйдет? Где наделает беды? Этого никто не знал.

И напрасно товарищ Демьян, сидя под деревом, так старательно изучал карту. Что ему могло сказать причудливое переплетение штрихов и линий на лощеной бумаге? Ничего! В живом лесу все было по-своему. Тут у охотника одна тропа, а у зверя — множество. И трудно угадать все его хитрые лазейки.

Все знали, что лесная война — не шутка. Сегодня ты, затайся в чащобе, взял на мушку слепого врага, а завтра — сам можешь оказаться на его месте. И кто кого опередит, того и верх.

Уж это-то всем было хорошо известно.

Когда солнце обогрело землю, превратив мертвый инеек в живую блестящую росу, к товарищу Демьяну привели из лесу косматого мужика. «Чудаки, нашли кого сцапать! — хихикнул Ганька, взглянув на пленника. — Это же не бандит, а самый обыкновенный леший. Хох-хо-хо! Сам хозяин дремучего леса собственной персоной. А вся-то вина его: пугает ребятишек! А те теряют корзинки с грибами да ягодами. Помню, со мной это бывало».

Но это был не сказочный леший, а обыкновенный мужик с сажеными плечами, выгнутыми дугою ногами, косматой бородой и лохматой головой. Одет он был в деревенское отрепье, в каком все здешние мужики испокон веку бродили по лесу. Кто же носит в лесу исправную одежду!

Однако при виде его у товарища Демьяна вдруг заиграли на скуласть желваки, а рука потянулась к маузеру. Это был быстрый, едва уловимый жест. Мало кто его заметил, и никто ничего не понял. Товарищ Демьян умел владеть собою. Он страдальчески поморщился и спокойно приступил к допросу.

Допрос пленника тоже ничего не дал. История его выглядела просто. Ехал человек по своей надобности верхом на коне вдоль лесной тропинки и угодил прямо на засаду.

«Ловко вы умеете таяться, чуть брюхо не напорол на ваши острые штыки! — лукаво усмехнулся косматый мужик, глядя прямо в глаза товарищу Демьяну. — А заприметь я вашу ловушку пораньше — мигом ускакал бы. Как черт ладана боюсь повстречать в лесу лихих людей». Так бы оно и было: ускакал бы в два счета. Под ним был рыжий скакун сказочной красоты и резвости. «Глянь, сам леший на золотом коне!» — ахнули ребята в засаде, увидя его в лучах восходящего солнца. За плечами у него висел старый дробовик, в сумке — сухари и пара свежих рябчиков.

Наездник не струсил, когда ему вдруг загородили дорогу и крикнули: «А ну, слазь!» Он ловко спрыгнул с коня, вежливо поздоровался, охотно ответил, кто он и откуда. И выходило, что он — мирный житель из ближнего села. Но, когда у него отобрали «золотого коня», губы его скривила злая усмешка: «Зря стараетесь: вернуть придется да еще с нахлбучкой!»

Начальник засады, старый партизан, загадочно ухмыльнулся:

— Обязательно вернем, если ты чист и непорочен. Словом, не обессудь, дядя, время военное, а дело наше — солдатское. Скажут нам, садись на лед голым задом — и сядешь как миленький!

Вот вся история его пленения.

Косолапо шагая впереди Тимохи и Ганьки, пленник рассудительно бубнил сочным басом:

— И что вы, товарищи чонцы, прицепились ко мне, как репей к бараньему курдюку? Никак не пойму. Ничего про банду я и знать не знаю. И, кроме вас, в лесу никого не встречал. Правда, видел медведя на ягоде. Здорово шарахнулся мишка от меня, чуть об лесину не трахнулся. Да мне не до него! Сено у меня тут, ребята, на Моховушке. Два большущих зарода. Приехал взглянуть на них: целы ли? А то, может, ворует кто, огнем ли спалило. Любой хозяин, кого ни возьми, трясется за свое добро. Такова наша крестьянская жизнь, — будь она трижды проклята! Ни отдыха, ни покою не знаешь. А попутно я, ребята, высматривал в лесу белку. Много ли, мало ли ее ноне. Скоро пора белковать. А кто же ходит на белковые с бухты-барахты? Надо сперва все обнюхать. И всякий дурак это знает, кроме вашего «сурьезного» командира.

— Да перестань ты, леший, бубнить. Надоело! — лениво оборвал его Тимоха. — Твои слова для нас — пустой звук. И уши не слышат и языки на замке. Понятно? Вот улизнуть не вздумай.

— Мечи наши острые, а стрелы быстры, — добавил Ганька, щеголяя книжными фразами. Он был страстный книголюб. И даже пописывал стишки.

— Вы с ума сошли, ребята! Ей-богу, и смех и грех с вами. Ну, куда я побегу, чего ради? — не унимался арестант. — Да меня все вокруг как облупленного знают. Кого хошь спроси. И никто про меня худого не скажет. Даже при Колчаке я не совался в драку. Ни в белых, ни в красных не числюсь. Нитралитет держал. Полный нитралитет, как Швейцария в войну с Германией. А теперь другое дело. Было время ко всему приноживаться, все приметить. Вижу, куда гнет Советская власть. И скажу, не на худое. Облегченья хочет крестьянству. Да, скажу вам, Михаил Иванович Калинин — всероссийский староста — мне милее всех прежних владык. Тьфу, распроязви их душу! Да я — первый помощник Советской власти! Хлебом кормлю голодную пролетарию.

Тимоха и Ганька переглянулись, усмехаясь.

— Ври побольше! — сказал презрительно Тимоха.

— Да не шибко завирайся! — весело подхватил Ганька.

— Вам, сосунки, все хихоньки да хахоньки! Молочко-то на губах не обсохло, — обозлился мужик. — А меня в уезде знают. Культурным хозяином там числюсь. И хвалят меня наши ученые агрономы. В газете даже про меня было. Сам председатель уезда жал мне руку. И по налогам у меня все в полном аккурате. Эх вы, недотепы! Вот взять бы кнут да хорошенько вас вздрючить. Охотитесь за тигрой, а ловите — мышей, товарищи коммунары-ы!

Но Тимоха и Ганька были о нем другого мнения. Они все еще видели изнуренные лица товарищей, следы неуловимой банды, чуяли смертельную опасность, подстерегавшую их отряд на каждом шагу.

И они хорошо знали ясный приказ товарища Демьяна.

— Арестованного доставить в ГПУ, — приказал он. — Бумаг никаких не дам. Просто скажете, что товарищ Демьян шлет вам долгожданный гостинец — Косматого черта. Пойман в Моховой пади на свежем бандитском следу. Банда улизнула. Играем в кошки-мышки, кто кого обманет. В ГПУ вас сразу поймут. Этого типа там давно знают, да поймать за руку не могут. Хитер и ловок, подлец. Это он нам всю обедню испортил.

А строгие глаза товарища Демьяна, устремленные на них, выражали такое к ним полное доверие, что одно это делало понятным все.

— И вот что, товарищи! — заключил Демьян. — В башке у него все бандитские связи на сто верст в округности. Если он улизнет, то натворит много горя и беды. И долго мы будем рыскать по горам и лесам, искать ветра в поле. И не одна наша голова полетит с плеч.

— Понятно, товарищ Демьян! — воскликнули враз Тимоха и Ганька.

— Я крепко надеюсь на вас.

— Мы не подведем свой отряд! — твердо пообещал Тимоха.

— Верно! — подтвердил Ганька.

— В пути не ротозейничать, будьте начеку. Чем черт не шутит, когда бог спит!

— Так точно!

Командир со словами: «Итак, действуйте, товарищи коммунары!» — отдал им честь по старому солдатскому уставу.

Вот какой был у них разговор по секрету на опушке леса у речки Моховушки.

Косматый черт оказался плохим ходоком, и время в пути шло медленно. Впереди начинался знакомый лес. С утра его прочесала разведка. По нему только что прошел весь их отряд. И деревня была близехонько. Но это был темный лес, где всегда надо быть начеку. Под косящим взглядом Косматого черта Тимоха передернул затвором карабина и поставил его на боевой взвод. То же, глядя на товарища, проделал Тимоха.

Косматый черт продолжал бубнить одно и то же. Глаза же его зорко поглядывали по сторонам.

— Черт те, устал я с непривычки к пешему ходу, — сказал он, замедляя шаги. — А конька-скакунка моего мне вернете. Никуда не денетесь... Видно, привык ваш командир товарищ Демьянов грабастать чужое. Но сказано: «На чужой каравай рот не разевай». Не те теперь времена, пора кончать грабильку.

— Ого, ты даже фамилию нашего командира знаешь! — удивился Тимоха.

— Слышал! Небось из старых офицеров, ухватки-то у него... ваше-благородные. Чуть что — и за шиворот.

— Ох, и надоел ты нам, серый волк. Замолчи! — сердито крикнул Ганька. — Не вводи во грех. Ружье мое может само собой выпалить. И мы — квиты.

— Не имеешь такого права! Я в твоей власти, ты за меня и в ответе, — хладнокровно буркнул Косматый черт. — Веди, куда тебе сказано. Не боюсь!

Наступил синенебый полдень, полный тишины и благодати. Солнце сияло ослепительно ярко, отдавало свою последнюю ласку отдыхающей земле. Лес становился гуще. Появились глубокие овраги. Под кованными копытами застучали каменные пригорки. Дорога, как на грех, завилыла кривунами. «Поскорее бы миновать это окаянное место», — подумали ребята.

Неожиданно где-то вблизи раздалось конское ржание. И захлебнулось оно, точно чьи-то сильные руки схватили коня за морду. Диковатый Тимохин Гнедко живо поднял голову, тревожно насторожил уши. Тимоха вздрогнул.

— Стойте! — воскликнул он. Ганька побледнел, широко раскрыв черные девичьи глаза.

И тут они, оба враз, увидели то, чего не должно было быть. В двадцати шагах от них, на кривуне, стояли вооруженные люди. В кустах сбоку дороги послышался треск сучков. Среди белых берез мелькнули серые волчьи фигуры бандитов.

Их окружали.

— Влипли! — произнес Ганька шепотом.

Косматый черт круто повернулся к ним ликующей рожей. В глазах его сверкнуло дикое злорадство.

— Бросай ружья, дурачье, смерть на носу! — заревел он свирепо. — Теперь моя власть!

Тимоха и Ганька привычно переглянулись. Глаза у них были полны тоски и муки. Они, как всегда бывало, без слов поняли друг друга: «Да, смерть на носу! Но как тяжело стрелять в упор в безоружного врага. Но — надо!» И они, стиснув зубы, ткнули стволы своих карабинов в широченную грудь Косматого черта. И почти враз нажали на спусковые курки.

Гулко грянул их залп. Гром его раскатисто подхватило чуткое горное эхо. И услужливо донесло до отряда.

«Ружья к бою, враг с тыла», — так там поняли их выстрелы. На выстрелы помчался взвод конницы с ручными пулеметами. А за ними напрямик, наперехват, гуськом, неслышным охотничьим шагом двинулись по лесу пешие стрелки.

А Косматого черта будто дубовым чурбаном по ногам ударило. Падая на землю, он был уже мертв.

Ускакать Тимохе и Ганьке не удалось: бандиты стреляли метко.

Полегли друзья неподалеку один от другого. И правая рука упавшего навзничь Ганьки была протянута в сторону скрюченного в три погибели Тимофея. Из порванного пулями кармана Тимохи вывалился расшитый шелковыми незабудками кисет с табаком — подарок чернойбровой казачки.

С тех пор товарищ Демьян не посылал из лесу в село живых бандитов.

Их у него теперь не было.

Сашка Пермьяк

Забытая история

Памяти товарища Докукина

1

Была весенняя ненастная ночь. Город Рубежанск крепко спал, утопая в грязи и во мраке. Только в окнах большого дома, где когда-то жил богатый купец, виден был тусклый свет керосиновых ламп. В одной из просторных комнат за письменным столом сидел суровый с виду сорокалетний мужчина в опрятной солдатской одежде. На худощавом тронутом оспинками лице его лихо топорщились светлорусые усы. Это товарищ Демьян — командир частей особого назначения Рубежанского уезда.

Против него, склонив наскоро перевязанную голову на грудь, на скрипучей табуретке сидел другой человек. Лицо у него, заросшее колючей щетиной, выражало полную отрешенность от мира сего. В соседней комнатшке дежурили два пулеметчика. Один из них спал в одежде на полу, другой дремал в роскошном кресле. Со стола, прямо в окно, во тьму ночи, был нацелен пулемет Кольта. Тут же на столе лежала кучка ручных гранат — немецких, английских.

— Итак, продолжим наш разговор, господин поручик! — строго произнес товарищ Демьян, глядя на человека с забинтованной головой

ненавидящими глазами. — О себе можете помалкивать. Нам о вас все известно!

Допрашиваемый слегка вздрогнул, приподнял голову.

— Спрашивайте. Мне все равно.

— Я хочу знать подробности казни молодого человека по кличке Сашка Пермяк.

— Да, я при этом присутствовал, — безучастно сказал бандит.

— Вот и расскажите все подробно.

— Что ж, пожалуйста. С чего начать-то?

— Со дня появления Пермяка в вашей банде и вплоть до его кончины.

— Видите ли, — медленно подбирая слова, сказал допрашиваемый. — Я попал в Трехречье из Харбина несколько позднее. Пермяк уже был в отряде. Говорили, что он купеческий сын, бежал недавно из «Совдепии». Ухлопал комиссара и удрал в Маньчжурию. Дело обычное. Русских беженцев там хватало. Начиная от бывшего товарища министра и кончая швейцаром из какой-нибудь бордели.

Его кличка Пермяк вызвала мое любопытство. Пермь мне знакома. Я когда-то там жил и воевал на Пермском фронте в армии генерала Каппеля. Я был рад потолковать с земляком. Все же приятно, знаете ли, вспомнить на чужбине былое. Возможно, нашлись бы общие знакомые. Но ничего интересного он мне не сообщил. Ругал все на свете, жаловался на свою судьбу, тосковал по родине. Я еще, помню, посмеялся: кому какое дело до вашей судьбы, дорогой коллега? Карабкайся под солнце, как можешь. Философия простая! Верь в свой наган и будь посмелее.

Товарищ Демьян, сердито нахмурясь, слушал.

— Мы были в походе, шли к российской границе, — продолжал поручик. — Двигались небольшими группами не торопясь. В то время нас догнал, прибывший из Харбина представитель РОВСа* — прапорщик Кулебякин. «Бешеный прапор», как его все называли, тоже оказался родом из Перми. Именно это обстоятельство и послужило причиной интересующей вас драмы.

Итак, в тот день, когда был казнен Пермяк, мы были на бивуаке в березовом лесу. Все собрались вместе, вели разведку и готовились к переходу границы. Вокруг — ни одной посторонней души, кроме нескольких бродящих китайцев, которых мы прогнали прочь.

И вот тут-то прапорщик Кулебякин огорошил нас неприятной новостью. «Я, господа, — сказал он, — сейчас приказал привязать к дереву так называемого Сашку Пермяка. Это самозванец и красный шпион. Я его лично знаю с детства. Он такой же купеческий сын, как я — абиссинский негус. Он сын известного в городе... сапожника-пьяницы. Мой уличный сосед. И еще мальчишкой работал у моего обожаемого родителя на мыловаренном заводе. Пашка Докучаев — таково его настоящее имя. Он — комсомолец и чекист. Клянусь честью!»

Ну-с, дальше последовал допрос с пристрастием. Но все тщетно! Сашка Пермяк умер, не сказав ни слова. Только, когда его повели на расправу, он плюнул прапорщику Кулебякину прямо в рожу. Тот прострелил ему плечо.

— Вот ты и Расскажи, как он умер-то, — скрипнув зубами, сказал товарищ Демьян. — Ставь все точки и запятые на свое место.

Бандит нервно пошевелил плечами, облизнул пересохшие губы.

— Теперь уж мне все равно. Сегодня, вероятно, мне конец! В от-

* РОВС — Российский общевойсковой союз, белогвардейская организация за рубежом.

ряде нашем были «унгерновцы», а они мастера на все такое. Выбрали в лесу две березы. Одни веревками пригнули их вершины к земле, а другие привязали к ним за ноги Пермяка. Затем по команде веревки были отпущены... Да что говорить! Сами понимаете, что может произойти с человеком в таком случае.

— Так! — прохрипел товарищ Демьян, словно кто-то схватил его за горло. — Будьте вы прокляты! — Вскочив со стула, он, тяжело дыша, с искаженным лицом забегал взад-вперед по комнате.

— И еще имею один вопрос. Последний вопрос! — сказал он хрипло, становясь против бандита. — И отвечай мне по чистой совести. Ведь когда-то ты, наверно, был человеком! Ведь тебя же породила женщина. Мать! Тебя родила человеческая мать! Скажи мне ради распроклятого вашего бога! — продолжал он, задыхаясь от удушья. — Как он вел себя в последнюю минуту своей жизни? Ведь видел же парень эти дьявольские приготовления!

Демьян, ссутулясь, тяжело опустился за свой стол — бледный, постаревший сразу на десять лет.

Глаза у бандита лихорадочно блеснули. В них промелькнуло нечто человеческое.

— Да, он все видел... Постараюсь вам ответить. Вы, пожалуй, меня поймете. Так вот, я опустошен войною. И я потонул в житейском дерьме. Дело не только в военном разгроме белой армии. Я говорю о крушении нашего нравственного духа. И моих собственных идеалов. Одним словом, как в песенке: «Судьба — индейка, а жизнь — копейка». Меня уже ничто не может потрясти. Ни святая любовь, ни великое мужество. Но в былое время, я бы боготворил такого человека, как Пермяк. Да-с. Это Муций Сцевола!

— Говори яснее, я не шибко учен! — произнес товарищ Демьян.

Бандит посмотрел прямо в страшные глаза товарища Демьяна.

Горькая улыбка скривила его лицо.

— Сейчас объясню. В древние времена был такой римский юноша Муций Сцевола. В стане врагов он сжег на костре собственную руку. И не дрогнул ни одним мускулом. Видите ли, гражданин комиссар, мальчик больше любил свое отечество! Мне кажется, Сашка Пермяк был также не равнодушен к России. Вот мой честный ответ на ваш прямой вопрос... Прикажите дать мне стакан воды. И побыстрее выведите... в расход.

Товарищ Демьян выпрямил устало согнутую спину.

— Ага! «Любовь к России». Вспомнил-таки эти святые слова, — выдохнул он с каким-то страстным облегчением. — Понял, каков был Сашка Пермяк, невымытый мыловар, сын пьяного сапожника! Да тут ты не ошибаешься, ты совершенно прав. Сашка Пермяк любил Россию. Очень любил! И не только Россию, но «весь мир голодных и рабов».

Обжигая поручика взглядом своих раскаленных глаз, он сказал сурово:

— А бандит ты липовый, хоть и схвачен с оружием в руках. Ты прилудный осел в волчьей стае. Интеллигентный дурак! Замахнулся на революцию и ударил по России!

Подумав секунду-другую, товарищ Демьян резко распахнул тяжелую, обитую войлоком дверь и крикнул дежурному пулеметчику:

— Дорофеев! Поручика накормить, перевязать ему рану. И убирать его с моих глаз немедленно! Позвони Наумову в ГПУ, чтоб его не расстреливали. Да, да! Скажешь, так просил товарищ Демьян. А утром я сам буду у Наумова.

Действуй, товарищ!

2

Когда мы узнали о гибели Павла Докучаева, я чуть не взвыл от горя и злости. Он у нас — не первая жертва. И не последняя, конечно. Но дело тут немножко посложнее. Вы это поймете, когда узнаете его историю.

Когда он появился на нашем небосклоне? Пожалуй, вопрос тут поставлен неправильно. Это на небе всходят разные светила. Ну, и среди людей — сверкают «звезды». Но Павел на «звезду» не смахивал. Он бы, пожалуй, подрался с вами за такое глупое сравнение.

Попал он к нам в начале прошлой зимы. Как сейчас помню тот поздний вечер. Ребята разошлись, а я сидел одиноко в ячейке и читал книгу. В это время в комнату ворвался наш «политпросвет» Афоня с незнакомым парнем в драной шинельюшке. За плечами у парня горбатилась тощая котомка.

— Познакомься! Нашего полку прибыло, — заорал баламутный Афоня, представляя мне своего спутника.

— Очень рад! — говорю. — Кто ты? Откуда? Зачем?

— Родом я с Урала. От Перми до Иркутска шагал с П-пятой армией. П-пехота, — ответил парень, называя свою фамилию, он немножко заикался. — Да вот в конце п-похода свалил меня с-сыпняк, потом — возвратный и еще какая-то сволочная х-хвороба. Едва выжил. Списали меня: воевать не гожусь. А к вам меня послал г-губком. Насчет р-работенки. Ну и вроде на укрепление ваших боевых р-рядов. В союзе — с двадцатого. Вот мой к-комсомольский билет.

Документы у него были в полном порядке.

— Как у тебя с ночлегом?

— А я прямо сюда с дороги. Решил п-первым д-делом разыскать ячейку. Берите меня на у-учет. У вас тут, говорят, беспокойно. И, вообще, я-ячейка для нашего брата — все!

— Правильно, товарищ!

Я тем временем успел к нему приглядеться. Передо мной устало сидел длинный, тощий и сутулый парень со скорбным лицом. Черты лица у него были какие-то иконописные: узкий прямой нос, поджатые губы, синие подглазницы. Реденькие белесые волосы лежали на его голове ровно и гладко, как у пай-мальчика. У него были голубые глаза. А светились они то детским простодушием, то отливали сталью. Говорил он тихо и как-то смущенно, по-ребячьи, заикался. «Уж больно на вид ты какой-то странный, — подумал я, изучая нового товарища. — Таким уродился или успел хлебнуть много горя?»

— Ну, что, дружище! Давай сразу уж потолкуем о твоей нагрузке. В чем ты силен и на что горазд?

Парень впервые улыбнулся хорошей откровенной улыбкой, и она сразу же преобразила его скорбное лицо. На меня смотрел свой в доску парнище, с душой нараспашку.

— Да, видишь, с-секретарь, агитатор я, скажу тебе сразу, неважнецкий. В политике-то я, понятно, кумекаю. Но язык у меня плохо подвязан. К тому же з-заикаюсь. И грамотей так себе, самоучка. Пишу корову через «ять». Не обессудьте, ребята! Мне бы вот насчет суб-ботников хлопотать. Ну там разные поручения: где что проверить, откуда что вывернуть. Военное дело мало-мало знаю. Стреляю неплохо. Словом, грузите на меня все на свете, кроме р-речуг и м-митингов.

— Ладно, потом посмотрим. Пошли спать!

Переспал Павел у меня. А на другой день мы его пристроили на паровой мельнице внештатным работником «куда пошлют». Из-

вестно, как трудно было у нас с работой. Разруха безжалостно душила всех и вся.

Не прошло недели, как Павел стал на мельнице самым полезным человеком. Ничем он не гнушался. И кочегарил, и подменял машиниста, таскал мешки с мукой, колол дрова и подметал контуру. Он же наладил там контроль, при котором ни один плут не мог воровать муку. Хлеб-то сейчас был подороже золота!

Жил он там же, на мельнице, в углу тесной сторожки. Точнее, спал на широченной скамье, потому что все свободное время проводил, как и все мы, в ячейке. На первых порах ему поручили хозяйство комсомольского клуба. И сразу же там все преобразилось. Газеты были аккуратно подшиты, — и попробуй-ка оторвать клочок на сигарку! Книги оказались в роскошном буржуйском шкафу, черт знает, где он его выцарапал! Появился шикарный рояль, скатерти. С красных полотнищ исчезла пылица. К нам в клуб гужом потянулись беспартийные девчата. А ведь, бывало, калачом их не заманишь! Видя, что парень неплохо тянет, догрузили его. Избрали Павла Докучаева заведующим вооружением ячейки. И никто не смел теперь появляться на военную учебу или в караулы с нечищенным карабином. И никому уже не взбрело блажь тратить патроны по воронам и сорокам. При этом не бывало никаких ссор, ругани, начальственного окрика. Да, умел Павел ладить с ребятами, сам был чистехонек душой. Взглянет он на виноватого своими солдатскими глазами и скажет со спокойной издевочкой:

— Непорядок, дорогой т-товарищ! Не вынуждай тянуть тебя на суд ячейки. Ты не буржуйский оболтус и не баба рязанская. Ты — коммунар! И к-карабин у тебя не за тем, чтобы превращать его в р-ржавую дубинку. Сейчас же почисти! И это первый и последний раз говорю. Ладно?

— Слушаюсь, товарищ завооружим! — вытягивался парень, краснея до ушей.

— В-вольно! Сам был таким, да вовремя спохватился. И тебе советую.

В ту пору проводилась Неделя помощи Приморскому фронту. Это было как раз накануне боев под Волочаевкой. На фронте были ребята и из нашей ячейки: одиннадцать добровольцев-конников славного Троицкосавского полка. Мы знали, как туго приходилось бойцам Народно-революционной армии: лютая стужа, голодовка. А тут враг напирал. Идет ва-банк, либо пан, либо пропал. И решили мы собрать у населения уезда теплую одежду, белье, еду. Поделились с фронтом всем, чем могли. Ну, возможности, понятно, были у нас скромные.

В комиссию по сбору подарков первым сунулся Павел со свертком. Принес он пару поношенного, но целого и хорошо выстиранного белья. И тут же смылся. А вскоре, как это бывало обычно, я затащил Павла к соседу в баню. Когда он разделся, я увидел на нем тряпичную ветوشь. «Так вот ты откуда взял белье для фронта! Снял с себя последнюю рубашку». Павел смущенно усмехнулся.

— Там нужнее. Уж я-то знаю. На фронте, брат, грязные подштанники — это солдатская смерть. Ранят тебя, как того и гляди лизнет «антонов огонь»*. И сгоришь, как лучина, от простой царапины. Я сам это видел!

А я это тоже испытал. Полгода провалялся в лазарете, когда схватил офицерскую пулю. Очкастая докторша все ахала: «Ах, если бы вы соблюдали личную гигиену, все было бы так легко и просто!»

* «Антонов огонь» — гангрена.

А какая тут к черту личная гигиена. Мы неделями спали не раздеваясь. И пересмениться не во что. Вши заедали.

Все прошлое лето мы воевали с бандами. Мотались по горам и лесам как угорелые.

Павел был у нас в Третьем отряде особоназначения разведчиком. И показал себя лучше некуда. Как только нагрянули банды, он начал «играть спектакли». То превратится в бродячего приискателя, то в безработного горемыку, мерившего дорожные версты в поисках куска хлеба. А то разыгрывал из себя блаженного дурака, каких на Руси испокон веку было предостаточно. Живет такой чудило-мученик как птица небесная, порхает с места на место и поклевывает то, что перепадает от бабьей доброты да жалости. «Это же Ванюшка-дурачок, чего с него взять-то!» — говорят о таких. Словом, маскироваться Павел мог как угодно. И не раз жизнь его висела на волоске. Но он делал свое дело. Забирался в самые дебри. Ходил по следам банды, как умная собачонка за хозяином: на глаза не суется, а сама тут как тут. Вот так и кружился он вокруг да около бандитов — этакий нескладный чудак, не способный отличить курицу от петуха.

Как-то я спросил у него:

— Дивлюсь, Пашка! Что это за любовь у тебя к сыску? В крови сидит, что ли? Ты бы малость передохнул. Ишь, высох, похож стал на сушеного архиерея. Вот соберу ячейку и постановим дать тебе трехнедельный отпуск. Хоть отоспишься вволю.

А он отвечал, посмеиваясь:

— Покончим с бандами, тогда возьму отпуск. Съезжу на свою пермскую землю. Навещу своих стариков. И девчонка у меня там есть. Ждет меня, в комсомол вступила... А насчет любви к сыску? Да иди ты к чертовой бабушке!

Лицо его стало задумчиво серьезным.

— Н-нет, мне не нравится ни хитрить, ни разыгрывать дурака. И надоело все время трястись за свою шкуру. По натуре-то я любитель парного молока. Зеленую травку люблю и ясное солнышко обожаю. Не смейся, ей-б-богу, не вру! А все дело в том, д-дружище секретарь, что я по фронту знаю, чем пахнет п-плохая разведка. О-однажды на реке Т-тоболе таким макарон погиб полк нашей Три-дцатой дивизии имени Итальянского пролетариата*. Питерцы, москвичи, нашенские уральцы со с-старинных заводов.

Тогда и меня ранило. Как кинулись на выручку.

— Стало быть...

— Чего стало быть? — перебил меня Павел. — Один за всех и все — за одного. Таков закон всех к-коммунаров. Святой, железный закон Парижской коммуны.

И тут-то я его понял: Павел в бою все время старался прикрывать собой своих молодых и горячих товарищей. Нас собой прикрывал!

Вот какой это был матерый человечище!

Любили ли мы его? Мы — не красные девицы! Но если бы ЦК дал нам право учредить должность «комиссара справедливости», мы бы без всяких разговоров выбрали таковым Павла. И — только его. Это уж я ручаюсь!

Павел в одну глухую ночь ушел по особому заданию. Куда и зачем не скажу, хоть режьте. Не имею права! О нем долго не было ни слуху ни духу. И вот... Извините меня, товарищи губкомцы, я за-

* Эта дивизия входила в состав 5-й Краснознаменной армии Восточного фронта.

курю. Не могу говорить о Пашке Докучаеве спокойно. Сердце стучит. И кулаки свинцом наливаются.

Эх, да и что еще можно добавить?

3

Крепкая дверь плотно закрыта. Слушали объяснение товарища Демьяна всего трое: старик с орденом на груди, чахоточный юноша с пером в руке и красивая женщина в солдатской рубаше с маленьким пистолетом на боку. Они сидели за столом, покрытым красной скатертью, а он стоял перед ними, держась одной рукой за спинку стула. Он был бледен, но его усы, как всегда, были лихо подкручены, гимнастерка выстирана, галифе выглажены и сапоги начищены до блеска самодельной ваксой из молока и сажки.

— Я, товарищи, не международный дипломат. Я — член РКП (б). И буду говорить все начистоту.

Политическую обстановку в нашем уезде вы знаете. Контрреволюция продолжает кусаться. И от этих укусов болит не одна моя голова. Недавно мы уничтожили банду полковника Назарова. Это не моя заслуга как руководителя операции. Это заслуга разведчика Павла Докучаева. Благодаря ему мы знали время и место выхода банды из-за границы на нашу сторону. И встретили ее как надо. Тут нас учить нечего!

Да, комсомолец Павел Докучаев был лучшим разведчиком Третьего отряда особназначения имени товарища Розы Люксембург. В этом я убедился еще во время летних операций прошлого года. Он ходил по следам банд, как охотник за зверем, и в каждой деревне умел находить верных людей. Его «цепочка» связи с отрядом действовала безотказно, а его донесения можно было не проверять. Одним словом, все мы им гордимся. Он был настоящий большевик и знал, что такое революционная присяга.

Но сперва я должен прямо ответить на вопрос, который вас больше всего интересует: где, как и почему погиб наш товарищ Павел Докучаев.

Так вот, все банды нападали на нас врасплох. Это вело к тяжелым жертвам. Напоминаю судьбу партийцев из Абакумовки, Лопатихи, Быстрой Речки. Их порубили в капусту на глазах у родни. А разгром ревкомов! А грабежи золотых промыслов! Всего не сочтешь.

Все дело в том, что банды формировались в Маньчжурии. Они набегали оттуда, как ярые волки, а получив по зубам, убегали за кордон. И там они нам недоступны, там они сами себе паны. Трехречье — это осиное гнездо белогвардейщины. Летом мы полностью очистили уезд от вооруженной контрреволюции. Но зимою до нас дошли слухи, что в Трехречье формируется новая банда. Опять готовься к встрече гостей, гадай на бобах, когда они изволят прибыть. Где и сколько их пожелает? Конечно, это сильно тревожило нас. Ведь давно уже пора по-настоящему начать воевать с проклятой разрухой, а не тратить силы на борьбу с белобандитами. Нам нужен хлеб насущный! Впрочем, вы это знаете не хуже меня.

Продолжаю по существу дела. Три месяца тому назад ко мне пришел Павел Докучаев и вызвался на разведку в Трехречье, то есть хотел пойти прямо к черту в зубы. Сказал, что такая мысль возникла у него давно и он все хорошо продумал. «Постараюсь выдать себя за "беженца, кулацкого сынка, — говорил он, раскрывая свой план. — Скажу, что сидел в «клоповнике» за убийство. Удалось бежать. Красных ненавижу. Принимайте, братцы, в свою «теплую компанию». Чем

черт не шутит, может, и удастся втереться в банду. Тогда их замыслы станут нам известны. «Я ведь не здешний, — добавил он. — И сам аллах не разберется в моей родословной».

Это было заманчиво. Но я не политический младенец и понимаю, что лезть с разведкой на чужую землю неполитично, не в нашем духе. Не наше дело совать свой нос в чужой сортир. Правда, меня ничуть не интересует расквартирование чжанцзолиновских вояк. Плевать мне на них! И личные делишки маньчжурского сатрапа Чжанцзолина — не наше дело. Чжанцзолин открыто держит белогвардейцев под своим крылом. И пакостят они нам при его полном содействии и помощи. Но такова классовая природа всех буржуев и помещиков.

Да, товарищи, это я на свой страх и риск послал Павла Докучаева на разведку в Трехречье. Не отпираюсь. И он, понятно, знал, на что идет.

Я уполномочен Дальневосточным ревкомом ликвидировать бандитизм в Рубежанском уезде. Оружия у нас хватает, и крепких бойцов занимать ни у кого не будем. Но это не все, если хочешь победить врага малой кровью. Вот и пришлось хитрить по-лисий, как это мне, старому солдату, ни было противно.

Продолжаю, товарищи! Павлу Докучаеву удалось пробраться в Трехречье. Там он вошел в доверие банды и установил с ними связь. Связь он держал через китайских товарищей, бывших красных партизан из амурского отряда Старика. Товарищи эти по своей доброй воле делают революцию на своей родной земле. Это их святое дело. И ни в чьих посторонних советах они не нуждаются. Но они наши братья по классу. Вот почему товарищ Докучаев сразу же нашел с ними общий язык. И все обошлось без проклятого золота, которого у нас и в помине-то не было.

Товарищ Павел успел уведомить нас о времени и месте выхода банды. Мы узнали количество бандитов и чем они вооружены. И мы раздавили их, как рыбий пузырь!

Но связь с Павлом внезапно порвалась. Потом мы узнали о его страшной гибели...

Тут голос товарища Демьяна осекся. Он жадно выпил стакан холодной воды, который ему поднесла женщина с пистолетом на боку.

— Погиб наш Павел не по чьему-либо ротозейству и не по вине предателей. Его погубила роковая случайность: опознал его земляк-белогвардеец. На его беду выпала там такая скверная встреча. Предвидеть ее было невозможно. Ну, а волков бояться — в лес не ходить!

Вы хотите знать: верно ли, что товарищ Докучаев никого не провалил? Да, верно! Все, кто был с ним связан, — целы и невредимы. Да и нельзя было предполагать, чтобы товарищ Павел провалил братское подполье. Умер он молчком. Это подтвердили теперь пленные бандиты.

Я кончил, товарищи! Судите меня. Но знайте: парень был мне дороже родного сына, а революция — дороже всего!

В числе слушающих объяснения товарища Демьяна был старик с седым бобриком. На груди у него сверкал серебром орден Красного Знамени.

И он мягко сказал:

— Судить вас не будем, товарищ Демьян. И не потому, что победителей не судят. Виноватых победителей судят. Но вы ни в чем не виноваты. Когда на вас нападают, нужно защищаться. Но «совать свой нос в чужой сортир» вам, товарищ Демьян, впредь категорически запрещается. Вот это зарубите себе на носу. Согласны с таким выводом? — обратился он затем к своим товарищам.

— Да! — твердо сказал чахоточный юноша с пером в руке, сверкнув глазами.

— Я — вполне! — решительно кивнула головой женщина с маленьким пистолетом на боку.

— Вопрос решен, — заключил председатель особой комиссии.

Такова история короткой жизни Павла Докучаева — комсомольца двадцатого года, рабочего парня из старинного уральского города Перми. Он шел навстречу не как робкий путник со страхом и надеждой, но как истинный боец, коммунар: грудью вперед, не думая о себе, пробивал дорогу другим.

Историю его знали немногие. А из тех, кто знал, — теперь в живых почти никого не осталось.





Надежда НИКУЛЬШИНА

В МОРЕ-НА ПРОМЫСЕЛ

Из блокнота журналиста

Меня давно влечет Охотское море. Хотелось познакомиться с нелегким трудом рыбаков. Сегодня оформляю отпуск и беру творческую командировку в море.

Редактор нашел мою поездку рискованной. Он бывал в море и знает, что это такое. Но я настаиваю на своем. И он сдается.

Охотская земля встречает прохладной, но солнечной погодой. Здесь осень уже в разгаре. Деревья красуются золотым убранством. «Амфибия» мчится по грунтовой дороге из аэропорта в поселок. Необычный транспорт вначале удивляет, но когда машина без остановки форсирует широкое устье Кухтуя, то понимаешь его значение в местных условиях.

В Охотске я впервые. Деревянные домики, шуршащая под ногами галька, редкие деревца, теряющие увядшую листву, свежая прохлада моря и тишина.

В Охотском рыбтресте за столом молодой человек с мягкими чертами лица и приветливыми добрыми глазами — главный инженер Анатолий Васильевич Есипов. Говорю о цели приезда. По опыту знаю, что рыбаки не особенно жалуют в море женщин. Вижу, как внимательный взгляд главного инженера сменяется улыбкой:

— Ходили в море? Бойтесь качки?

— В море ходила, качки не боюсь.

— Ну тогда все в порядке, — одобительно говорит Есипов. — Завтра в двадцать часов пятьдесят минут, когда будет полная вода, в район лова пойдут буксиры «Алаид» и «Эталон». Пойдете с ними.

За час до назначенного времени прихожу в порт. И хорошо, что пришла раньше. Матросы «Алаида» уже отдавали концы. Ступила я на палубу, и борт медленно и буднично отвалил от причала, провожаемый взглядами рабочих порта. Для экипажа буксира этот рейс такой же обычный, как и десятки предыдущих. Через несколько дней, загрузив трюмы лихтеров рыбой, судно снова вернется в Охотск. Портговые огни быстро отдаляются и вскоре растворяются в ночной тьме. Навстречу дует холодный порывистый ветер.

— Устраивайтесь в моей каюте, — приглашает капитан Владимир Давыдович

Корабельников, — я у второго штурмана пристроюсь.

Каюта капитана просторная и уютная, хотя и не отличается особым комфортом: кровать, диван, письменный стол, стул, кресло. Обстановку дополняют судовые часы, барометр, телефон, ночная лампа, две книжные полки. Ничего лишнего.

Корабельников сидит в кресле и дымит сигаретой, словно отдыхает в гостиничном холле, и с добродушной усмешкой наблюдает за тем, как я обживаю его каюту. Потом он включает электрический чайник.

На чай приходят представитель Охотского порта Борис Владимирович Чумаков, радист Владимир Омельченко и стармех Юрий Осипов. И я забываю, что нахожусь на судне и что под нами темная бездна моря.

...Проснулась я от тишины. Качки нет, и машины не работают. Вскрываю с кровати, подхожу к иллюминатору: виден неподвижный берег. Быстро одеваюсь — и на палубу. Стоим в живописной бухте. По сопкам ползут густые тучи. Неподалеку от нас буксир «Эталон» с лихтерами.

— Где мы находимся? — спрашиваю подошедшего капитана.

— В бухте Большая Молта. Зашли воды набрать, да вот у «Эталона» поломка.

После завтрака моряки решили положить крабов. Упрашиваю их взять меня с собой. Плыть надо в шлюпке к отдаленному утесу.

Боцман Владимир Абубакиров сидит на веслах, матрос Федор Латыпов вооружился шестом, на конце которого вбит гвоздь, я стою на носу — высматриваю крабов. Вода прозрачная. Сквозь нее хорошо видно камни, водоросли, одиноких рыб. И вдруг я замечаю темно-зеленый панцирь. Федор целит в него шестом. Краб увертывается и устремляется в расщелину между камнями. Бегаёт он довольно быстро. Но шест настигает его. Гвоздь легко прокалывает хрупкий панцирь, и краб бессильно повисает над водой. Федор стряхивает его на дно шлюпки. Краб небольшой. Сверху он багряно-зеленый, а снизу желтый. Панцирь, ноги и клешни усыпаны короткими острыми шипами. Глаза высоко подняты на стебельках. Краб агрессивно размахивает

вают клешнями. Коренастый, мускулистый красавец — королевскими называют этих крабов. Они хотя намного меньше тех, что водятся в Японском море, но зато, — объясняет мне Владимир Абубакиров, — вкуснее.

Попадают крабы удивительно часто. Федор едва успевает нанизывать их на шест. Вооружившись веслом, я помогаю ему. Мы входим в азарт, но скоро замечаем, что поймали достаточно, и плывем к своим.

На буксире моряки уносят нашу добычу на камбуз, моют в ванной и бросают в кипящую воду.

Потом в кают-компанию мы садимся за длинный стол. Каждый берет по крабу, и за столом слышится усердное сопение и причмокивание.

Вечером заполняю первые страницы дневника и думаю о тех, с кем познакомил меня море. Трудно разговорить моряков. Они больше молчат, на вопросы отвечают односложно. Их замкнутость меня огорчает. Конечно, состояние это временное и через несколько дней пройдет.

Резкий пронзительный звук прерывает мои мысли. Сперва я не могу понять, откуда он исходит. Оглядываю каюту, взгляд останавливается на переговорной трубе. Снимаю ее со стены и неуверенно произношу:

— Алло!

— Добрый вечер! — отвечает рубка.

— Добрый вечер!

— Поднимайтесь в рубку. Хватит в каюте сидеть!

Узнаю голос третьего штурмана Альберта Юрьевича Аболина. С ним я познакомилась в первые минуты пребывания на буксире. Попросила его объяснить назначение гидрокомпаса, и он, не моргнув глазом, ответил:

— По этой штуке мы определяем район скопления рыбы.

Под взрывы хохота штурман продолжал сыпать шутки И потому, как они тотчас подхватывались моряками, чувствовалось, что Альберт Юрьевич на судне — первый весельчак и балагур. Говорит он с акцентом. Штурман — уроженец Латвии. Мне интересно узнать, что его заставило изменить Балтике. Но на этот раз Аболин задумчив и серьезен.

— Посидите с нами, — говорит он, подвигая мне ящик. И принимается объяснять назначение каждого прибора, находящегося в рубке. И когда беседа наша доходит до взаимного расположения, задаю вертевшийся в голове вопрос.

— Поссорился с начальством и женой. Вот и приехал сюда, чтобы начать все сначала, — откровенно признается штурман.

Мы еще долго говорим о жизни моряков. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы не бояться тоски и одиночества, когда море и судно заменяют и дом, и семью. Таких людей на буксире немало. Капитан плавает в море двадцать лет.

Награжден орденом «Знак Почета». Семья у него во Владивостоке, куда он приезжает только во время отпуска. Навсегда связал себя с морем радист Владимир Омельченко. Ему уже за тридцать, но он холост, и квартиры на земле у него нет. Его дом — буксир. Владимир молчалив, даже несколько суров — настоящая морская душа. А у боцмана Владимира Абубакирова в Охотске дом и семья. Половину своей жизни — пятнадцать лет — он плавает в море.

Открылся мне и другой тип моряка. Как-то наугад я постучалась в одну из кают. Пригласили войти.

— Михаил, — представился молодой человек. — Работаю третьим механиком.

— Что привело вас в море? — повторяю и ему свой вопрос.

— Разочарование! — ответил он поспешно, словно обрадовался возможности излить наконец невысказанные никому мысли. И торопливо начал рассказывать. Родился он в Куйбышеве. Учился в Астраханском мореходном училище. Заочно познакомился с девушкой, переписывались, приезжал к ней несколько раз. В Охотск они уехали вместе. Совместная жизнь, однако, не получилась. Вот и решил уйти в море.

— Есть у меня цель: накопить денег, вернуться в Куйбышев, купить кооперативную квартиру и машину. Хочу создать себе основу для жизни.

— А море вам нравится?

— Оно красивое. Только скучно здесь. Слишком жизнь однообразная. Люди на судне окружают тебя одни и те же. Недостатки их порой раздражают.

Я выхожу на палубу. Моросит мелкий осенний дождь. В бухте тишина. Она нарушается лишь криками неугомонных чаек. Море и берега скрыты туманом. Притихшее судно упряло в себя людей, делавших с ним свою морскую неустрашенную жизнь. Долго брожу по буксиру. Мое «путешествие» заканчивается в носовом отсеке, где помещается маленькая и самая чистая каюта кока. На небольшом столике бойко стучит будильник, рядом с парфюмерными принадлежностями красуется засушенный краб, стопка стирального белья придавлена тяжелым утюгом, на кровать небрежно брошена яркая ткань — будущий халат. Я сажусь на единственный стул и рассматриваю фотографии, прикрепленные на стене. За этим занятием и застает меня Галина. Она — единственная женщина на буксире. Галина влюблена в море, но поварское дело не любит. В родном Запорожье она работала электросварщицей. Все дни Галина гремит на камбузе кастрюлями. В море она уже несколько лет. Характером веселая, неугомонная.

Галина садится на кровать и начинает рассказывать историю из морской жизни.

Вечером капитан сообщает, что после ужина снимаются с якоря. Во время выхода из бухты поднимаюсь в рубку и на-

хожусь в ней до тех пор, пока не одолевает сон.

Будит меня капитан.

— Перейдете на сейнер «Томь»? — спрашивает он и добавляет: — Его экипаж дает лучшие уловы.

Смотрю на часы. Девять часов утра. Проспать приход в район лова и капитанский час! Негодуя на себя, вскакиваю, выхожу на палубу и замираю от восхищения. Огромное голубое море ластится и нежится под солнечными лучами. Таким оно выглядит только на юге. По всему горизонту силуэты кораблей. Среди сейнеров возвышаются белые громады плавбаз.

— А вон и «Томь», — указывает капитан на ближайший сейнер.

Направляю туда бинокль и вижу невзрачное, потрепанное штурмами судно. Борта его пооблезли и покрылись ржавчиной. На палубе в желтых роконах работают рыбаки. Над ними беспокойным облаком кружат чайки.

— Через час «Томь» подойдет на сдачу улова, — говорит капитан.

С интересом рассматриваю мужественные бородатые лица новых знакомых. Рыбаки держатся уверенно, на меня поглядывают с любопытством. Поиск рыбы уже закончился. Эхолот записал скопление косяков сельди.

Охотское море — одно из крупнейших на земном шаре. По климату специалисты сравнивают его с арктическим Карским морем, а моряки приравнивают его к Баренцову морю. Рыб в его глубинах обитает около 276 видов. Дно покрыто огромными полями мидий и морских гребешков, скоплениями кальмаров и осьминогов, морской капусты и водорослями. Основное же богатство Охотского моря — сельдь.

Сельдяная путина началась. Судя по результатам добычи, она сложилась неудачно. Сказалась неблагоприятная промысловая обстановка: шторм, низкая температура воды. Сельдь в таких условиях плохо собирается в косяки.

Но были и еще две важные причины и, пожалуй, основные. Успех рыбацкий начинает коваться на берегу. А суда задержались на ремонте и поздно вышли в рейс. Плюс слабое обеспечение дрейферного лова.

Дрейферный метод лова для рыбаков Хабаровского крайрыбколхозсоюза новый. Появление его вызвано тем, что лов кошельковым неводом эффективен в то время, когда, жируя, сельдь начинает концентрироваться в крупные косяки. А происходит это в конце сентября. Дрейферный же метод обеспечивает лов и при разреженном скоплении рыбы. Обнаружив сельдяные косячки, рыбаки делают замет, преграждая сетями путь сельди. При этом судно ложится в дрейф и в течение всей ночи дрейфует с сетями. Отсюда и название метода — дрейферный.

При дрейферном методе важно обеспечить суда необходимым количеством се-

тей. Но рыбаки вышли в море без нужного вооружения, что и сказалось на уловах.

Но вот парадокс. Экипаж сейнера «Томь» из всего флота добывает вдвое больше других судов. Случайная удача? Не скажешь — условия в районе лова для всех одинаковые. Капитан сейнера «Томь» Владимир Фадеевич Смолин говорит о «секрете» односложно: «Все зависит от нас, рыбаков».

Рыбацкая профессия отличается не столько заманчивой романтикой моря, сколько тяжелым физическим трудом, порою однообразным до изнурения. Он требует от рыбаков полной отдачи сил, дни и ночи превращаются для них в одно понятие — работа. И ни разу мне не пришлось услышать жалобы. Все трудности они преодолевают с той решительной готовностью, на которую способны только крепкие, сильные духом люди.

— Но этого мало, — продолжал капитан. — Иногда нам приходится вытаскивать полупустые сети. Удача не всегда сопутствует рыбаку. Мы ищем сельдь не столько с уверенностью, что она должна быть в том или ином месте, сколько с желанием найти заветные косяки и достать их из морских глубин. Важно при этом правильно настроить орудия лова. Сети те же, как и на других сейнерах, а вот оснастка другая. Опыт, практика помогают предусмотреть множество маленьких штрихов — какие должны быть поплавцы, длина поводцов и вожака, как сети поставить, чтобы в них рыба зашла. К делу надо подходить творчески: не только тяни сети, но и знай, как их тянуть. Рыбак должен твердо верить в свою удачу, иначе ему не стоит ходить в море.

Вера в удачу. Она редко подводит экипаж сейнера «Томь». Но рыбацкую удачу укрепляет не одна только вера в нее. Экипаж не выходит в море без необходимого вооружения. Рыбацкая удача — понятие объемное, вбирает оно в себя очень многое. Один из моментов — хорошо подобранный состав экипажа. Команда на сейнере «Томь» крепкая. Ее костяк составляют опытные кадровые рыбаки, хорошо знающие и любящие свое дело. Здесь каждый может положиться друг на друга. Отлично слаженный экипаж — половина успеха. И если к этому прибавить еще хорошее снаряжение судна, то становится понятно, почему рыбацкая удача никогда не изменяет сейнеру «Томь».

Сенсационная новость пришла неожиданно. На одном из вечерних капитанских часов сообщили, что экипаж сейнера «Токмак» взял кошельком хороший улов.

— Молодец, отличился! Вот так ловить надо! — капитан Смолин потирает от возбуждения руки и спешит сообщить весть экипажу.

— Случайно на косяк напали, — ревностно замечает кто-то.

— Необходимость складывается из случайностей, — строго замечает капитан.

— Пожалуй, и нам стоит попробовать кошельком, — предлагает тралмастер Николай Васильевич Кривов. Ему давно не терпится пустить в ход кошельковый невод.

Сообща решили: как только появится большой косяк, попробовать забрать его кошельком.

...Третий час перо эхолота торопливо описывает круги на широкой ленте бумаги, которую пропускает через себя прибор. Глаза Смолина и его помощников прикованы к перу.

Идет поиск сельди.

Рыба не оставляет визитных карточек. Ее местонахождение определяется по данным разведочной экспедиции по предыдущим заметам и еще чутьем. И все-таки обнаружить косяки сельди в огромном море, все равно, что искать иглу в стоге сена.

Проходит еще часа два, а лента по-прежнему идет чистой. Капитан выходит на мостик и всматривается в море. Он подает команду рулевому: «Право 20 градусов!» И вновь начинается погоня за рыбацкой удачей. Капитан то стоит перед эхолотом, то выбегает на мостик и, определив направление ветра, меняет курс судна. Он, казалось, не замечает хода времени.

Эхолот по-прежнему пропускает чистую ленту, но капитан неугомон.

Наконец Смолин нашел косяк, определил его местонахождение. Перо эхолота начинает записывать первые штришки. Но концентрация сельди редкая. Проходит еще час, пока на ленте бумаги обозначается длинная жирная дорожка.

— Пожалуй, пора начинать замет, — замечает старпом.

— Давай аврал! — решает капитан. На мостике зажигается зеленый фонарь. Это значит — застолбили косяк.

Рыбаки высыпают на палубу, ярко освещенную прожекторами.

— Приготовились! — командует капитан: — Пошел!

Провожаемый взглядами, первым за планшир летит буй. Когда он остается далеко за сейнером, бросают в море первый кухтыль. За ним летит второй, третий. Легкой зеленой струей скользят по слипу сети. Замет продолжается двадцать минут. Но вот брошен за борт последний кухтыль, и закрепляют вожак. Всматриваясь в непроглядную ночь, матрос Лопатин говорит заговорщически: «Ловись, рыба, большая и малая!» Слова его встречаются дружным хохотом. Все рады возможности сбросить с себя напряжение.

После замета идут в кают-компанию выпить по кружке горячего чая. Рабочий день начинается рано — в пять часов. Поэтому за столом никто не задерживается. На судне устанавливается тишина. Лишь на камбузе гремит посудой кок.

— Не уходите, расскажите мне что-нибудь, — говорит Феликс и достает из ду-

ховки противень с поджарившимися булками.

Я рассказываю о своих поездках, встречах. Предлагаю помощь.

— Нет, сам управлюсь.

Феликс удивительно любопытен и общителен. Приходится только удивляться тому, как он успевает справляться со своими нелегкими обязанностями.

У моряков есть поговорка: «На флоте легче найти адмирала, чем хорошего кока». От повара во многом зависит рыбацкий успех: не поедят сытно рыбаки — сети не потянут.

Экипажу «Томь» на кока повезло. Феликс Кузнецов обеды старается готовить так, чтобы они не отличались от домашних. А это нелегко сделать для пятнадцати человек, не жалующихся на аппетит. И если у него что-нибудь получается не так, то это по молодости.

Утром, полусонный, выходит он на палубу, где работа в самом разгаре. Несколько минут смотрит на сети и, убедившись, что улов хороший, удовлетворенно улыбается. Кок не безразличен к тому, сколько центнеров сельди сдадут сегодня рыбаки. Богатый улов поднимает и ему настроение на весь день. Феликс затем идет на камбуз и начинает «колдовать» над обеденным меню. При этом он выполняет обязанности и калькулятора, и повара, и буфетчика, и посудомойки. Завтрак Феликс, обычно готовит вечером: заваривает чай, варит компот, печет пироги, булки с изюмом или ватрушки. Все это он ставит на стол. Чтобы дать коку возможность поспать, рыбаки во время завтрака переходят на самообслуживание.

Утром Феликс готовит обед из двух блюд. После обеда печет хлеб и готовит ужин. Вечером опять заботится о завтраке. И так все дни. Обеды у него вкусные, разнообразные. На камбузе всегда есть квас, компот, какао, кофе, чай. Со стола не убираются хлеб, масло, сахар, кружки.

Феликс любит море, но связывать с ним жизнь надолго не собирается. «Поплаваю, пока молод». Он считает, что повар на судне проходит хорошую практику. С морским стажем его возьмут на работу в любой первоклассный ресторан.

— Давайте на сон грядущий выпьем чайку, — предлагает Феликс и подвигает ко мне кружку.

Сигнал аврала всегда звучит неожиданно — в тот самый момент, когда, казалось, начинается приходиться сон. За пять коротких часов рыбаки едва успевают отдохнуть после напряженного трудового дня. На пронзительный звонок они реагируют механически: полусонные вскакивают с кроватей и бегут к умывальнику. Холодная вода снимает дремоту, но в голове у каждого ноющая боль — последствия постоянного недосыпания. Они привыкли к ней, как свыклись со всеми нев-

згодами, сопутствующими рыбацкой профессии.

Завтракают молча. Никто не пытается подтрунивать друг над другом перед предстоящей работой.

Вместе со всеми выпивают традиционную утреннюю кружку крепкого горячего чая и поднимаются в рубку. Предутренняя сонная тишина нарушается рацией, которая почти никогда не выключается. Вот и теперь рыбаки уже обсуждают предстоящий день. Буксиры и плавбазы, перебивая друг друга, заывают суда на сдачу улова: «Рыбаки, у кого рыбака есть, подходи к буксиру «Чумикан»! «Дорогие камчадалы, уважаемые хабаровчане, у кого есть рыбака, идите к «Сильному».

Начинается рассвет, предвещающая хорошую погоду. На горизонте сверкает огнями несколько сейнеров. На каждом из них в эти минуты начинают трудовой день.

— Кто-то сегодня даст лучший улов? — в раздумье говорит капитан. Говорит по привычке. Как всякий настоящий рыбак, он знает цену своего ремесла: море каждому отпускает столько, сколько сил ему отдает человек.

Капитан смотрит на часы. Стрелки сошлись на цифре шесть.

— Пора! — решает он и смотрит на палубу, освещенную электрическими огнями. Там стоят рыбаки в желтых и оранжевых прорезиненных роконах, делающих их похожими друг на друга. — Начинать! — подает команду капитан.

Заработал мотор, вдохнув жизнь сонному сейнеру. Судно ожило, задрожав в ровном частом ритме.

— Малый вперед!

— Есть малый вперед! — отзывается штурман у руля.

— Подбери конец!

Заработала лебедка, накручивая идущий из глубины вожак. Когда из воды показывается карабин, трамластер Кривов быстро отцепляет поводок и передает его на сетевыборочный рол. Стоящие тут же у кормы Владимир Миняев и Александр Ворстер быстрыми и точными движениями подтягивают сети и передают их Александру Кубышкину и Юрию Нестеренко. Те подхватывают мокрое капроновое полотно и пропускают его через валы сететрясной установки.

— Включай сететряску! — Капитан устремляет взгляд на сети, в которых густо трепещется серебристая сельдь. — Улов хороший, — радуется капитан. Радость капитана передается рыбакам.

— Есть рыбака! — кричат весело.

На палубе все приходит в движение, словно заработал вдруг хорошо отлаженный ритмичный конвейер. Сететряска вбирает в себя сети и выбрасывает из них рыбу. Живое серебро падает к ногам рыбаков, заполняя отведенное для рыбы пространство на палубе.

Рыбаки лишь изредка обмениваются короткими фразами. За годы работы они научились понимать друг друга по взгля-

дам, движениям. Никого не нужно подгонять, каждый работает в полную силу, сосредоточив внимание на сетях и движениях товарищей. Грани между должностями стерлись: и старпом, и радист, и механики, и матросы превратились в рядовых рыбаков, подчиняющихся коротким командам капитана. А он, стоя на мостике, словно дирижер над оркестром, особенно остро воспринимает в эти часы все происходящее на судне: движение сети, рыбаков, каждый звук, рождаемый этой захватывающей картиной труда.

— Вира вожак! Прямо руль! Влево полборта! Вперед! Стоп!..

Сейчас успех одинаково зависит и от слаженных действий рыбаков и от него, капитана.

В восемь часов — капитанский час. Солнце уже поднялось над горизонтом. Чистое голубое небо и лазурная гладь моря ласкают взгляд своей нежностью и первозданностью. Лишь темные силуэты судов да неугомонный крик чаек говорят о рабочем напряжении.

Четкий голос начальника промысловой экспедиции произносит: «Доброе утро, товарищи! Начинаем капитанский час!..»

Пока идет переключки буксиров, капитан прикидывает, сколько рыбы возьмет он сегодня из моря. И, когда подходит его очередь докладывать, уверенно произносит:

— Говорит «Томь»! Доброе утро всем! Ведем выемку рыбы! Предполагаем сдать триста центнеров!

Это лучший прогноз на день. Остальные суда продолжают вести поиск.

Смолин выходит на мостик и кричит весело:

— Давай чай пить!

К обеду рыбаки выбрали сети. Смолин связался по рации с плавбазой «Сухона».

— Давайте подходите! — обрадовались на плавбазе.

Пока шли, рыбаки успели пообедать и теперь смотрят фильм «Директор». Кино — единственное развлечение, которому отдаются они в короткие часы отдыха. Кажется, что люди совершенно не чувствуют усталости.

Огромный белый корпус плавбазы выглядит изящным и величественным, бросая вызов морской стихии. Кажется, что никакой шторм судну не страшен. Наш сейнер рядом с этой громадой похож на утлое суденышко. Ну как тут удержаться от соблазна побывать на борту плавбазы! Правда, страшновато. Высоко. Неожиданно поднявшийся ветер раскачивает штормтрап. Однако с отчаянной решимостью я бросаюсь на «шторм».

Оказалось, карабкаться по штормтрапу не страшно. Главное, не нужно спешить: крепче держись за веревки и надежней ставь ноги на дощечки.

Вместе с механиком Анатолием Назаровым идем в служебное отделение. Анатолию нужны ремни для сететряски. Длин-

ный коридор прерывается лестничными маршами. По обеим сторонам двери кают. Некоторые из них открыты, как бы демонстрируя чистоту и порядок помещений. Машинное отделение поражает чистотой и напоминает пульт управления автоматического центра. Дизельный механик хмурит брови и недовольно говорит: «Женщинам запрещено входить в машинное отделение». Но, узнав, что я корреспондент, приветливо улыбается и отпускает нам дефицитные ремни — пять штук!

На палубе идет приемка сельди с нашего сейнера. Рыба поступает в бункер, а оттуда в бочки. Сельдь смешивают с солью и запаковывают бочки. Делают люди это ловко, красиво. А рядом придирчиво наблюдает за всем, определяя сортность рыбы, старший мастер.

Плавбаза — огромный плавучий рыбозавод, где живут и работают триста человек. Своеобразный морской микрогородок. Понятия: учеба, медпункт, библиотека, магазин, о которых забываешь на сейнере, — здесь не выходят из обращения. Наши ребята уже набили карманы пачками сигарет. Украдкой наблюдают за девушками. Молодые, симпатичные морячки равнодушно проходят мимо рыбаков, не удостоивая их взглядом. Зато меня они рассматривают с нескрываемым интересом.

Покидаем «Сухону». По морю пошла крупная зыбь — вестник приближающегося шторма. С запада по небосводу наступала лохматая туча. «Если солнце село в тучу, берегись, получишь бучу! — декламирует капитан и командует рулевому: — Курс норд-ост. Держать 201 градус!» Начался опять поиск сельди.

Каюты; как и квартиры, могут многое рассказать о своих хозяевах. Правда, морские «квартиры» одинаковые, и все-таки в каждой сохраняется индивидуальность. Напряженная работа не оставляет времени поговорить с людьми по душам. Каюты помогают мне понять характер моряков, взглянуть в их внутренний мир.

Каюта капитана по-спартански строга. Кровать, диван, шкаф, письменный стол. На стенах, зеркало, репродуктор, лампа, вентилятор, книжная полка. Над диваном висят морская куртка и полотенце. Над кроватью талисман — стреляющий из лука папуас. На стене прикреплена женская фотография. Под столом стоят небольшой коричневый чемодан, сапоги и домашние туфли.

Рядом, через стенку, каюта радиста Владимира Миняева. В ней тесно. Половину помещения занимает радиоаппаратура. Вторую часть — кровать, которая заменяет сиденье. Над кроватью висят летняя и зимняя одежда, полка с книгами и бумагами. Здесь мы собираемся на капитанский час.

— У тебя в каюте тяжелый воздух — дышать нечем.

— Это от аппаратуры, — говорил Владимир и открывает иллюминатор.

У радиста голубые глаза, черная цыганская шевелюра, шикарная рыжая борода. С ним у меня сложились самые дружеские отношения. Мы много говорим о жизни, делимся заветными мыслями. С ним легко. Владимир любит и умеет шутить, заразительно смеяться. Ему я могу говорить о неприятных вещах, заранее зная, что он не обидится.

— Тебе здесь не тесно?

— Когда мне хочется танцевать, то иду на палубу.

— У тебя наволочка одинакового цвета с шевелюрой.

— Зато есть гарантия, что ее никто не подменит.

В двух каютах на корме я — редкий гость. Здесь больше всего ощущается качка. В каютах душно, так как иллюминаторы никогда не открываются — они расположены близко к уровню воды. В одной из кают живут старпом и штурман. Их кровати разделены столом. На нем красуется фотоувеличитель. Фотографией увлекается старпом.

Во второй каюте, расположенной напротив, живет стармех Миша. Когда я впервые вошла сюда, меня удивил уют и чистота помещения. Кровать была не заправлена, и одеяло, в чистом белоснежном чехле. На столе учебник для шофера-любителя.

— Мечтаете приобрести машину?

— Я ее уже имею. Только ездить вот на ней некогда.

Миша серьезный парень. Всегда аккуратный. И я думаю, что и в душе у него такой же порядок. Он действительно, он никогда не кричит, держится с достоинством. Мишу зовут ветераном сейнера, хотя ему тридцать три года. Он единственный из экипажа, кто работает на судне с первого рейса.

Остальные каюты расположены в носовом отсеке сейнера. В каждой — по три человека. Здесь холостяцкий беспорядок. В каютах рыбаки только ночуют. Остальное время они проводят на палубе или в кают-компании.

Нет нужды спрашивать рыбаков, тоскуют ли они по земле. Каюты говорят об этом за них. Фотографии жен, детей, любимых в аккуратных рамках висят на стенах, стоят на столах. А рядом дары моря: засушенные крабы, экзотические рыбы, кораллы, раковины, которые моряки преподнесут своим родным при встрече.

Больше всего нравятся мне «семейные» минуты вечернего чаепития. Каждый старается высказать свои мысли, подбросить острое безобидное словцо. На этот раз вечером омрачает радист. «На утро штормовую передают!» — сообщает он. «Этого еще не хватало!» — огорчаются рыбаки. Значит, снова нарушается установившийся трудовой ритм, и придется несколько дней отстаиваться в бухте.

В рубке рация доносит тревожные го-

лоса рыбаков, обеспокоенных непогодой. Непроглядная ночь. Репродуктор, включенный вахтенным, доносит нежную мелодию — привет далекой земли. Идет литературно-музыкальная передача, и диктор читает стихи Есенина: «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!» Стрелка барометра застыла на цифре 270, что означает «устойчиво». Стучу по стеклу — стрелка ни с места.

— Как вы думаете, действительно будет шторм? — спрашиваю я штурмана.

— Будет! — говорит он твердо, и лицо его мрачнеет.

Утром, как всегда, встаем по сигналу «аврал». На море непроглядная мгла. Волны усилились, и сейнер качает так, что на ногах трудно устоять. Из рубки я слежу за тем, как сосредоточены и серьезны лица рыбаков. Чувствуется, каждый готов схватиться с морем и выстоять.

Пока вытянули на палубу первую сеть, рассвело. Над темно-свинцовым морем низко плывут обложные тучи. Лишь на востоке алеет кровавая полоса зари.

— Солнце красно по утру, моряку не по нутру, — произносит капитан морскую поговорку и добавляет: — Все-таки быть шторму!

Улов оказался хорошим. Но из-за ветра и качки работать очень трудно. Рыбаков бросает по палубе, и от капитана требуется удвоенное внимание — подрабатывать судно и следить за тем, чтобы кто-нибудь не оказался за бортом. Ветер рвет слова команды, уносит в сторону, и капитану приходится изо всех сил кричать:

— Право на борт! Вперед! Стоп! Прямо руль! Потихе бери вожака!

Волны час от часу увеличиваются. Сейнер то переваливается с борта на борт, то вздымается на гребни волн и падает вниз. Чужой шторм, истошно кричат чайки. Они остервенело набрасываются на сети, жадно хватают рыбу и, проглотив ее, садятся на воду отяжелевшими бумажными кораблями. От них пестрит в глазах.

Интересные птицы — эти чайки. Рыбаки любят их, считая вестниками удачи. Делятся с ними добычей. Но сегодня чайки ведут себя беспокойно. От их истошных криков болит голова.

— Феликс, ты что курей своих распустил? — кричат рыбаки коку, вышедшему из камбуза. Шутка сопровождается дружным смехом. Когда добыча хороша, то и шторм не помеха веселью.

— Ветер переменит рыбу. Надо бы в трюм ее, — беспокоится Калягин;

— Задохнется. И сети разъединять нельзя, потом не возьмешь. Надо сразу все брать! — качает головой капитан и вдруг запевает: «Мы будем сильными руками из моря сети выбирать...»

Смотрю на подвижную фигуру капитана в теплой ватной куртке, на его серую кепку, натянутую по самые глаза, небритое, багровое от резкого ветра лицо, на котором сверкают белизной два ряда крепких зубов, и отмечаю: в азарте капитан.

Рыбаки тоже в азарте. Именно в такую погоду они особенно понимают значимость своего нелегкого труда. Уже пять часов работают они без перерыва. Темно-зеленые сети кажутся бесконечными. Слово морская волна переваливается через борт и покорно ложится к носам рыбаков вместе с дарами моря. И кто только придумал эти слова «дары моря»? Посмотрел бы он сейчас, каким трудом они достаются!

— Веселее, ребята! Держите руки штопором! — кричит капитан.

— Главное, не дать завалить ветру сети, — говорит помощник.

— «Главное, ребята, сердцем не стареть!» — вместо ответа запевает капитан.

Успевает он между делом слушать и рацию. Никто, кроме экипажа «Томь», рыбы сегодня не поймал. Все обеспокоены непогодой. Все вокруг: море, чайки, голоса в эфире — охвачено предштормовой тревогой. Но тревога эта взбадривает моряков, они словно обрадовались возможности проверить себя в шторме. Именно в такие моменты понимаешь, почему море так привязывает к себе людей. С морем не заскучаешь. Оно не даст скучать моряку.

Улов сдавать пошли к плавбазе «Томск». Огромное судно среди бушующих волн стоит неподвижно. Сейнер же бросает словно скорлупку. Осторожно ошвартовались. Сдали 160 центнеров. Для штормовой погоды улов отличный. Пока сдавали рыбу, поступило штормовое предупреждение. На ночь ожидается усиление ветра до восьми баллов, днем — до одиннадцати. Северная часть Охотского моря находится под воздействием циклона. Всем судам дано указание уйти в укрытие. От плавбазы берем курс в Эйринейскую губу.

Все ринулись теперь в кают-компанию. Шумно расселись за столом. Кок щедро наполняет чашки. Сегодня он поработал вдвойне. От сильной качки перевернулась кастрюля, и ему пришлось готовить борщ заново. Едят с большим аппетитом. За столом не умолкают шутки, смех. Настроение у всех приподнятое.

Ветер усиливается. Волны перекачиваются через сейнер. У руля стоит Иван Павлович Лопатин. Рослый, сильный, он уверенно ведет судно по курсу. Бунтующее море его несколько не смущает. С уважением оглядываю внушительную фигуру матроса. На такого можно положиться — такому сам черт не брат.

Ночью, просыпаясь, я вслушивалась в разъяренный вой шторма. Утром меня разбудили громкие разговоры в кают-компании. Рыбаки по привычке встали чуть свет. Одеваюсь и выхожу на палубу. Снова вижу перед собой знакомые очертания бухты Большой Молты. Здесь укрылись от непогоды десятки рыболовных сейнеров, плавбаз, буксиров, лихтеров. На стоящая корабельная деревня! Настроение у всех унылое. Неизвестно, сколько продлится это вынужденное безделье.

Пользуясь вынужденным отдыхом, рыбаки «Томи» устраивают санитарный день: приводят в порядок сейнер, прибирают в каютах, моются в душе. После обеда, отремонтировав кошелек, они устраивают в кают-компании настоящий кинофестиваль.

Кино здесь смотрят с той же серьезностью, с какой и работают. При этом чувства свои каждый старается держать при себе. Зато над забавными моментами все смеются от души.

Спустя несколько дней пребывания на сейнере я почувствовала монотонное однообразие. Хорошо тем, у кого есть хобби. Но в море человеку трудно найти занятие, которым можно было бы увлечься. Да и свободного времени мало. Читать нечего. Те немногие книги и журналы, которые имеются на судне, путешествуют из каюты в каюту. Но в последние дни мою душу бередят иные мысли и чувства. И никто из рыбаков не догадывается, какую бурю они во мне вызывают. Она сильнее, чем шторм, который мы пережили.

У меня такое ощущение, словно я до сих пор жила бессознательно, и только теперь, в море, познала «чувство жизни». Я взяла для себя примером мужественный труд рыбаков, и круг моего личного разомкнулся, стал частью их жизни.

Моим любимым местом на сейнере стала рубка. Отсюда хорошо просматривается море, по рации узнаешь все рыбацкие новости. Наконец, это командный пункт судна. Здесь ведется поиск сельди, отсюда во время работы экипажа капитан подает команды. В рубке рыбаки несут вахты, в любое время суток здесь обязательно кто-нибудь присутствует. Но за что я особенно люблю рубку — это за ее способность заряжать человека трудовой атмосферой. Именно здесь, пристроившись за штурманским столом, я исписала добрую половину своих блокнотов.

Видимо, я своим присутствием мешаю рыбакам (в рубке тесновато), но они охотно вводят в курс происходящих событий, и я разделяю с ними радость, вызванную удачным уловом, чувствую себя как бы живым приемником их настроения. Чувства мои искренни, ибо заботы, удачи и огорчения экипажа с законным Правом считаю своими и ревностно отношусь к «нашим» удачам и неудачам.

Особенно мне нравится бывать здесь в вечернее время. День закончен. Море торпливо гасит раскаленный шар солнца.

В рубке уютный полумрак. Напряженную тишину нарушают лишь звуки работающего эхолота и команды капитана рулевому. Глаза рыбаков прикованы к эхолоту, а

мои — к морю. Ветер вздымает волны и обрушивает их на сейнер. Но, подвластное рукам рулевого, судно уверенно идет по заданному курсу, выискивает новые рыбные косяки.

Когда, несколько дней находишься в море, забываешь о том, что существует иной мир, кроме этого водного пространства, кажущегося бесконечным во времени и пространстве. И уже не хочется возвращаться на землю. Ощущение это едва ли появилось бы на пассажирском судне, где у человека достаточно свободного времени, чтобы предаваться воспоминаниям. Другое дело воспринимать море через трудовой настрой.

Охотское море не для праздных людей. Это море тружеников. Его суровый нрав, проявляемый в жестоких штормах, напряженные трудовые будни, прерывающиеся лишь в короткие ночные часы, не оставляют времени для меланхолии. Люди и море работают неустанно. И это трудовое содружество человека и стихии создает особый наступательный и захватывающий ритм, которому невозможно не подчиниться.

Море особенно четко разделяет время человека на день и ночь. День требует полной отдачи себя морю и делу, тут не до мечтаний и желаний. Днем человек не принадлежит себе, и лишь ночью он может позволить себе отвлечься от дневных забот. Для меня, человека земной профессии, подобное разделение времени показалось вначале странным и нереальным. Ведь до сих пор я жила своим ритмом, подчиняясь однажды заведенному режиму. И, может, потому, что больше располагала свободным временем, чаще отдавалась мотивам грусти, испытывала мрачные чувства. Другое дело на море. Среди всех добродетелей морякам прежде всего нужно мужество. Море диктует человеку свой образ жизни, правда, он вносит в него некоторые свои коррективы, но здесь нужно быть не зрителем, не свидетелем событий, а активным их участником, иначе море сломит человека.

Сегодня — десятый день моего пребывания на сейнере. Пора возвращаться на землю, но не хватает решительности попрощаться с рыбаками и перейти на буксир. Буксир доставит меня в Охотск.

...Сегодня на капитанском часе стало известно, что снова ожидается штормовая погода. Сейнер взял курс на Магадан. Значит, сегодняшняя ночь для меня на судне последняя.

Поднимаюсь в рубку и подхожу к карте. Твердая карандашная линия — курс судна — указывает направление в бухту Веселая, расположенную неподалеку от Магадана.

ЖЕНЩИНЫ СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ

ОЧЕРК

Каждый раз, когда обстоятельства приводят меня в эту солнечную, полную тепла и тишины долину, где белоснежные приветливые домики утопают в зелени садов, а вдоль улиц выстроились шеренги пирамидальных тополей, невесть когда и кем завезенных сюда с юга России, а горизонт окольцован грядой высоких сопок, похожих на древние крепости, я допоздна брожу по улочкам этого негромкого городка и с удовольствием подмечаю: «Гляди-ка, новый универмаг!.. А вот этих домов в прошлый раз не было!..»

Мне надо выйти на центральную площадь, где над пятиэтажным зданием Совета разворачивается по ветру шелковое полотнище государственного флага. Чуть поодаль на вершине холма возвышается памятник героям борьбы за власть Советов. Ступени, ступени, ступени... И каждый раз, поднимаясь по ним, я думаю об одном и том же: сцементированы они людского кровью...

Чем выше поднимаешься, тем просторнее распаивается панорама города и его окрестностей с островерхими терриконами шахт, фабричными корпусами, жилыми массивами; тем прозрачнее голубизна воздуха, полнящего долину, и шире становится даль; и самые сопки как бы отодвигаются к горизонту, и меж ними вдруг проступают контуры дорог, по которым нескончаемо движутся караваны машин. На Находку. На Владивосток.

Город живет. Город трудится. Город связан вот этими своими артериями со всем краем. С Дальним Востоком. С державою.

Право, я не знаю на Дальнем Востоке, — а уж, кажется, поездила! — города, где связь времен ощущалась бы так же конкретно, как здесь, в Партизанске.

Как-то мне довелось довольно обстоятельно заниматься историей революционной борьбы и партизанского движения в Приморье. От тех времен остались тетради с выписками из документов, рассказами свидетелей и очевидцев. И, кажется, нет ни одной записи, где эта долина ни фигурировала бы.

Вот строки из резолюции общего собрания рабочих рудника, датированной 16 июня 1918 года:

«Заслушано: Доклад приезжих делега-

тов из Никольск-Уссурийска о течении настоящего положения в крае.

Постановлено: О текущем положении в крае по большинству голосов постановили: вынести резолюцию о сплоченности рабочих. Заявляем, что в случае необходимости мы выступим с оружием в руках на защиту Советской власти и всех завоеваний революции!»

Вот листовка от 16 февраля 1919 года. Вдумайтесь в ее слова:

«Бандиты расстреливают и порют раскаленными на огне шомполами крестьян и рабочих. Мы восстали потому, что страстно хотим помочь нашей Советской стране свергнуть палача Колчака, восстановить Советскую власть в Сибири и на Дальнем Востоке и прогнать интервентов...

Помогите нам! Поддержите нас! Ни пяди не уступайте завоеваний революции!..»

Вот сообщение из этой мирной долины во Владивосток о черных делах интервентов:

«Они расстреливают, избивают палками, шомполами до смерти... Они обливают кипятком, выворачивают руки, пытаются. Чаша нашего терпения переполнилась, и мы все, как один, с оружием в руках организовались в боевые отряды и восстали против поработителей!..»

Под этими строками дата: 18 мая 1919 года.

Еще сообщения. Во Владимиро-Александровском расстреляны преимущественно старики, двадцать человек. В Новицком — пятеро. В Гордеевке — девять стариков, и десятый тоже ранен... 3 июля, в 8 утра, интервенты вступили в Казанку. Была сожжена школа, четыре крестьянских дома и у разных крестьян три сарая и два амбара. Сожжена потребительская лавка... Расстрелян слепой старик, избиты прикладами его сын 18 лет и дочь 16-ти...

Я не знаю, живы ли поныне, там, за океаном, бывший майор Ф. Б. Ольфдайс, начальник гарнизона на руднике, и действовавший по его указаниям и полномочиям бывший 1-й лейтенант 31 полка Д. Л. Бресслер, — это они руководили тогда всеми бесчинствами интервентов в долине, они подписывали приказы и обращения к населению, выражающие надежду, что «...все граждане окажут содействие вой-

скам союзного командования, китайским, американским и японским...»

Живы ли они, ведь им сейчас, как минимум, каждому под восемьдесят. Но я помню, с какой ненавистью жители долины, в особенности женщины, и поныне произносят эти имена!

Это здесь, в солнечной мирной долине, был создан первый в Приморской области Советский полк численностью до шестисот человек при четырех пулеметах, и это здесь завьюженным февральским днем 1920 года торжественно встречали Объединенный партизанский отряд, несший людям долгожданное освобождение.

Впрочем, тут должны говорить опять-таки документы. Вот абзацы из сообщения «Красного знамени» от 18 февраля 1920 года.

«После 19-месячного господства реакционной колчаковской власти рабочие и служащие рудника... могли дружно и смело подсчитать свои силы. Выйдя со всех рудников и железной дороги, малые и старые вооружились красными флагами и бантами на груди... Собравшись в Народном доме, все пошло встречать борцов-партизан... На глазах партизан были слезы, глаза их были обращены на детей. И взгляд их как будто говорил этим малюткам: «Верьте в нашу силу, верьте нам, и мы постараемся создать вам счастливое будущее!...»

Я, может, и не вспомнила бы сейчас обо всем этом, но к таким воспоминаниям вела тематическая цель моей последней поездки в город Партизанск. В крайисполкоме мне посоветовали: «Будете там — обратите особое внимание, как увлеченно участвуют в работе Совета женщины этой долины».

И это тоже одна из прочных традиций Партизанска. Может быть, идет она как раз от той далекой поры, когда девушки-горнячки вместе с мужчинами уходили в сопки к партизанам, а женщины, проводив мужей, оставались с малыми детьми, зная, что впереди всякое будет — и грабежи, и произвол, и лютые расправы интервентов над мирными жителями. Ни одна горнячка не остановила, не задержала, не отговорила мужа или брата.

Я не была на городском слете женщин Партизанска, узнала о нем уже недели через две-три. Но, беседуя с женщинами депутатами городского Совета, с работницами на фабриках, учительницами в школах, отчетливо представляю себе, как все это происходило.

...Вот они рассаживаются — шумно, весело, как, должно быть, женщины во всем мире: что-что, а поговорить, посудачить, обменяться новостями, перекинуться шутками — нас хлебом не корми.

Слово предоставляется секретарю горкома партии Людмиле Александровне Красиковой, и она идет к трибуне — тоненькая, изящная, почти девочка-подросток. Женщины города любят ее, любят за спра-

ведливость. Ссора ли какая в семье, недо-разумение — мало ли что бывает между мужем и женой, — жена идет к Красиковой. А та чисто по-женски спрашивает: «А ты-то сама себя ни в чем виноватой не чувствуешь?» И усадит посетительницу рядышком с собой и поговорит доверительно, душевно, и вроде никакого определенного совета не даст, только скажет: «Ну ладно, иди подумай», — а глядишь, день-другой прошел, и, как говорится, снова «на земле мир».

Людмила Александровна, оглядев зал, заговорила негромко как раз о традициях, которые берут начало из толщи времен, от грозных событий гражданской войны и борьбы с интервентами. И вспомнила, как в годы Великой Отечественной войны женщины, заменив мужей, уходивших на фронт, почти пять лет выполняли такую работу, которая испокон веков считалась сугубо мужскою. И как уже после войны, когда мужчины стали возвращаться в Партизанскую долину — редко кто не по-калеченный, не раненный, — а город начал расти, раздвигать плечи, ставить на окраинах новые предприятия, — тяжесть многих хозяйственных забот опять-таки должна была лечь на женские плечи.

Хорошо говорила Людмила Александровна, проникновенно, и не одна женщина в зале тайком смахнула кончиками пальцев непрошеную слезу.

— И вот сейчас у нас, глядите, — продолжала Красикова, — двадцать восемь женщин возглавляют руководящие посты на предприятиях и в учреждениях. Из четырехсот депутатов Совета — 229 женщин. Двести женщин работают пропагандистами, двести семьдесят читают лекции по путевкам общества «Знание».

И тоже, вероятно, с тех грозных лет партизанской славы повелось в Партизанске превыше всего ценить гражданственность, умение человека общественные интересы поставить прежде личных, даже если личные по-особому дороги.

Первой выполнила в городе личный план девятой пятилетки работница кожгалантерейной фабрики Валентина Сергеевна Семенова. В бухгалтерии фабрики сперва даже не поверили этому, пересчитали все наново — нет, правильно! На призыв Семеновой последовать ее примеру опять-таки откликнулись прежде всего женщины. Около четырехсот работниц предприятий города стали первыми лидерами соревнования.

Когда-то Партизанск был исключительно городом шахтеров. Определенная необходимость в женском труде имела, но, естественно, была она невелика. А ведь как-никак, если женщина не работает, семейный бюджет делается чуть ли не в половину меньше. Да и молодые женщины не хотели отдавать себя целиком одному только домашнему труду, у многих из них были производственные разряды, профессии, другие эти профессии мечтали получить.

Так возникла мысль «привязать» к шахтам несколько предприятий легкой промышленности, которая основана главным образом на использовании женского труда. В Партизанске появились новые фабрики: швейные «Молодежная» и «Авангард», кожгалантерейная «Горизонт». Дальневосточникам теперь хорошо известна продукция партизанских швейников: по всеобщему признанию, она не уступает продукции фабрик Ленинграда, Львова, Прибалтики.

А вот имена тех, кто дает здесь эту отличную продукцию, к сожалению, почти неизвестны широкому кругу потребителей. А ведь неплохо было бы, чтобы рядом с фирменным знаком на изделии, значились имена лучших мастериц, скажем, Екатерины Максимовны Фандюшиной с фабрики «Авангард» или Прасковьи Семеновны Рыжовой, Татьяны Ивановны Утюговой, Лидии Давыдовны Петруниной с «Молодежной».

Товары из Партизанска все смелее завоевывают рынок. Дамские сумочки ничем не хуже импортных; кофточки, мужские сорочки радуют глаз тщательностью исполнения, мягкостью тонов — выбирай на любой вкус.

Но сделать вещь хорошо — это только половина заботы. Время требует, чтобы наилучшие качественные результаты достигались при наименьших затратах, чтобы себестоимость была невелика. На всех трех фабриках города женщины депутаты городского Совета рассказывали мне об одной запомнившейся им сессии. Было это вскоре после выборов. В исполкоме сформулировали вопрос так: «О состоянии и мерах усиления сохранности социалистической собственности на предприятиях и в организациях города».

Это не потому, что появилось много расхитителей общественных богатств, а потому что, как показал анализ, экономия и бережливость — понятия, которые имеют две стороны. С одной, — собственно заботы о сохранности материальных ценностей. С другой, — заботы о наиболее рациональном использовании всех сырьевых ресурсов с учетом интересов качества.

Среди выступавших была и депутат Раиса Магсумова, швея фабрики «Молодежная». Ее знали в городе как человека, высоко принципиального, живущего заботами об интересах и авторитете своего коллектива, — за это, собственно, люди и облекли ее своим доверием.

И вот теперь Раиса Магсумова говорила:

— Применительно к нашему предприятию, есть такой надежный путь к бережливости и высокому качеству продукции, как усиление претензионно-исковой работы. От нее зависит сохранность сырья, материалов, готовность и качество продукции.

Она шаг за шагом анализировала опыт такой работы, и трудно было поверить, что говорит это рядовая швея, а не дипломированный экономист или технолог.

— Каждый месяц, — рассказывала она, — мы тщательно разбираем в коллективе все претензии по недостаткам, пересортице, порче продукции. Это помогает выявить причины потерь, упущения в технологии на каждом производственном участке. Главное ведь не просто констатировать факт, а проследить, откуда он берет начало, кто или что мешает работнице давать продукцию отличного качества. И вот результат. За один год количество рекламаций уменьшилось на фабрике в четыре раза.

Депутаты, выступавшие следом за нею, — а были это по преимуществу женщины — со скрупулезностью анализировали, где и какие упущения еще есть на предприятиях города, упущения, из-за которых уважение к продукции предприятия проигрывает в глазах потребителя. Немало было высказано и различных советов. Почаще надо рассказывать молодым работницам, что стоит за самим именем: Партизанск. Усилия наставничества обратить на качество труда и продукции. Женщины говорили: женская любовь к нарядам и приобщение к шитью издревле свойственны нам, а мы почему-то еще слабо учим этому собственных дочерей. Не наша ли вина в том, что кое-что делается еще руками равнодушными?

Конечно, мужчины на сессии тоже не были пассивны.

Сейчас, после XXV съезда партии, первоочередное внимание обращено к вопросам эффективности и качества общественного труда, и это закономерно. Женщины Партизанска очень рады, что их поиски и заботы отвечают требованиям партии, это удваивает-утраивает их силы.

Казалось бы, имеет ли прямое отношение к этим проблемам, например, медицинское обслуживание? Но в депутатской комнате исполкома мы толкуем по душам с главным врачом больницы поселка Лозовый, депутатом Верой Ивановной Козьминой, нет-нет да и возвращается она к исходному рубежу нашего разговора: эффективность труда и его качество зависят не только от факторов, так сказать, находящихся внутри производства, но и от внешних элементов жизни города. От быта тружеников. От их жилищных условий. От четкости работы сферы обслуживания. От здоровья людей.

Вера Ивановна председательствует в комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению. Как терапевт, человек незаурядного врачебного таланта, она известна далеко за пределами Партизанска. Как человека, мыслящего государственными категориями, ее знают главным образом горожане.

В комиссии только шесть медиков. Остальные девять человек — люди, не имеющие отношения к медицине. — Справляются? — Несомненно! — Но как же, как? — А очень просто. Здоровье — это

не только само лечение и, если угодно, менее всего лечение. Это профилактика, санитария, опрятность в быту, такие условия труда, которые исключали бы производственный травматизм. Нужен ли непременно врачебный диплом, чтобы заниматься всем этим? Контроль за строжайшим соблюдением правил санитарии и гигиены на предприятиях общественного питания и в торговле. Тщательный анализ работы турбазы. Агитация за то, чтобы люди, когда приходит пора отпусков, не рвались непременно в далекие южные здравницы, выматывая силы по аэропортам, а старались отдыхать и в местных условиях: на рыбалке, в туристическом походе. Вот далеко не полный перечень вопросов, которыми занимается депутатская комиссия. И опять-таки решающее слово здесь за женщиной, потому что, как, посмеиваясь, говорит Вера Ивановна, «что б там мужчины ни толковали, а в быту, в семейных делах в девяти случаях из десяти как женщина решит, так обычно и бывает».

...И еще одно знакомство. С веселой, насмешливой, острой на язык Зинаидой Степановной Черновой, председателем комиссии по торговле и общественному питанию.

— У нас в комиссии сплошной матриархат, — смеясь, сказала она. — Чего-чего, а женского участия с избытком.

Из шестнадцати членов комиссии тринадцать — женщины.

А примечает женский глаз многое. И, к сожалению, не всегда только радующее. Исполнок веков считалось, что, когда горняк поднялся на поверхность, святое дело — принять рюмку, другую. А такое ли уж святое? Прежде, когда труд под землей, в сущности, был каторгой, может, это и по-

зволяло забыться. А теперь — механизация. Под землю добрых две трети работ выполняет машина. Конечно, шахта шахтой и осталась, но это уже давно не та шахта. С какого же горя пить-то? Зарботки шахтеров растут непрерывно, живет горняк в современных условиях, с удобствами, почти в каждой квартире телевизор, многие имеют автомобили, мотоциклы, по несколько раз побывали многие и в поездках по дальним и не дальним странам. Какое ж тут горе «заливать вином?»

Комиссия начала с того, что объявила безжалостную войну полулегальной торговле спиртными напитками в столовых и буфетах, выступила против продажи вина близ шахт и фабрик.

Зато складываются традиции, каких город прежде почти не знал: семейные торжества, свадьбы, рождения, получение очередных орденов, медалей отмечать в столовых или ресторане, а не где придется.

Так они и живут — женщины горняцкой долины. Это они сегодня внедряют на фабрике «Молодежная» опыт передовых предприятий Горьковского объединения «Маяк» и Тираспольской швейной фабрики имени 40-летия ВЛКСМ по управлению качеством. И это они, женщины, на фабрике «Авангард» после XXV съезда партии пересмотрели в сторону увеличения свои прежние высокие обязательства по количеству и качеству выпускаемой продукции.

...Вечерами обелиск на сопке озарен светом прожекторов. И в такие минуты кажется, что он невесомо вознесен над землей. Над городом. Над временем.

Солдаты БАМа

ОЧЕРКИ

ХРОНИКА МОСТОВОГО БАТАЛЬОНА

Тонкие высокие березки кланяются синим сопкам, быстрой реке. Ветер шумит в вершинах, шевелит брезентовые крыши военного городка, раскинувшегося на оголенном косогоре. Мы сидим в командирской палатке, и майор Светлов перебирает снимки, на которых запечатлена служба батальона на БАМе.

Приказ о передислокации был внезапным. Люди и машины снимались с незавершенных объектов и грузились в эшелоны. Светлов получил назначение на должность комбата, когда уже сидел в вагоне. Перед отъездом он успел заглянуть в энциклопедию, и его поразила цифра сброса воды: девять миллионов кубометров!.. А кто ее знает — далекую таежную Бурею?

Но пока мирно струились зеленоватые струи, и «Уралы» ходили прямо по воде, объезжая обрывистый берег. Подходы к реке заболочены, иссечены протоками, заросли огромными тополями. Здесь предстояло сделать совмещенный железнодорожно-автомобильный мост, как строили во время войны, чтобы от станции Ургал, связанной ранее построенной веткой с Транссибирской магистралью, быстро дать проход строителям БАМа на запад, навстречу идущим из Тынды.

Первые снимки... Ургал — узловая станция будущего БАМа, плацдарм для разворота работ. На восток до Комсомольска-на-Амуре — 508 километров, на запад, до Москвы — 7696. Вот прибыли первые эшелоны. Площадка под военный городок — марь, не проходима ни для машин, ни для тракторов. Грязь — по колена. Каждое бревно надо нести на спине. Зато быстро растут срубы «капитальных» зимних палаток, появляются дощатые тротуары. Молодой комбат показывает себя хорошим хозяином: устраивается основательно, и по нему равняются.

От дурманящего болотного багульника у солдат кружилась голова. По вечерам марь загадочно мерцала огоньками фосфоресцирующих гниющих пней, и, казалось, кто-то бродит вокруг в черной тьме

Грянули проливные дожди с буйными грозами. Поплыли чемоданы под койками. По утрам солдатские гимнастерки от сырости — хоть выжимай.

Потом — морозы. Минус 30, 40, 50.

— Кто умеет класть печи?

Молчание в строю.

— Я, — выступает вперед Саша Ишкин — паренек из Мордовии.

— Ты — печник?

Электросварщик.

— Чего же берешься?

— Да видал, как мамка клала. Велика хитрость!

Глину и песок он нагревал на костре. Не успевал истратить тазик, как раствор замерзал, и приходилось греть снова. Сейчас трудно сосчитать, сколько печек сложил Саша, скольким ребятам помог набить руку в этом деле... Печи военных палаток! Плита, стояк с загогулиной дымохода, меж ними две горизонтальные трубы, а сверху сетка для сушки портянок. Неуклюже, да зато тепло в палатке.

Пока занимались рубкой леса, отсыпкой дорог и обустройством городка. Но все разговоры комбата клонились к одному — к мосту, который нужен был, как воздух, чтобы как можно скорее открыть путь на запад, где за рекой, в тайге, связанные с миром лишь вертолетами, сидели на голодном пайке, порой без бензина и без хлеба, другие подразделения строителей, идущие на соединение с теми, кто двигался на восток из Тынды.

Майору тридцать семь лет. За плечами у него военное строительное училище и академия, небольшие мосты и тепловоды, в возведении которых он участвовал как главный инженер батальона. Ему еще не приходилось строить мосты на таких широких и бурных реках, как Буряя, с такими трудными подходами. Но это не пугало, а скорее радовало его. Он любил реки, с увлечением говорил об их своеобразии, о том, что нет в инженерном искусстве ничего интереснее, чем мост. И солдаты, захваченные восторгом комбата, готовились к своему главному делу, как к празднику.

Мост начали строить в самое лютое время, когда утихомирилась, обмелела Буряя, когда его величество Мороз сковал ее полутораметровым ледяным панцирем. Термометр показывал минус 50—57, по-

рой его зашкаливало. Лопались скаты машин. Замерзали дизель-молоты. Холод жег руки сквозь рукавицы. А «железные солдаты», как называют на БАМе воинов железнодорожных войск, работали. Прямо на льду стояли пилорама, где распорядился сержант Нестеров, и передвижная кузница, где под зорким взглядом прапорщика Пророка гудело пламя в горке и ковалось железо.

Впервые после войны делали такой мост: забивали в дно реки сваи — пучки старых рельсов, ставили железобетонные оголовки и деревянные крест в крест опоры, а на них — металлические пролетные строения. Полностью готового проекта не было: институт не успевал выдавать чертежи.

Горели костры. Пылали смоченные в солярке тряпки, обмотанные на шейках дизель-молотов, рассчитанных на мороз не ниже 35 градусов. Копровики долго мучились, пока не приспособились добавлять в горячее эфир, копры день и ночь стучали по сваям.

Командир копрового отделения Николай Викулов рассказывает:

— Мороз аж слышно, как звезды перешептываются. Но холод — он не страшен, можно одеться потеплее. Да и сама работа не давала замерзать.

Ледорезы строили истинно сибирским способом вымораживания: делали майны во льду и очень осторожно (избавь бог, слишком сильно ткнуть ломом!) скалывали лед, пока не добирались до дна. Не всегда это получалось. Иной раз приходилось затыкать дырки мешками с мукой. А одну манну так и не удалось проморозить, и пришлось делать рязь на льду и опускать его четырьмя кранами.

Чтобы бетон затвердел, нужна температура не ниже 30 градусов тепла... Строили тепляки с тамбурами, ставили буржуйки, теплогенераторы и, приспособившись, догнали температуру до 45 градусов тепла, чем сократили срок затвердения бетона.

Комбат дневал и ночевал на стройплощадке, в штабной палатке, где стояло несколько коек, неотступно думал о бетонировании: «Сядем на бетоне — не уложимся в срок». И бетонщики Н. Пушкин, В. Нудный и другие солдаты роты старшего лейтенанта Борисова работали днем и ночью, пока не довели до конца бетонирование основания очередной опоры. Старались делать все как надо: выдерживать температуру, хорошенько вибрировать, поливать усыхающую поверхность водой, чтобы бетон набрал нужную крепость.

Разница температур в тепляке и на воздухе была сто градусов! А солдаты работали...

В разгар работ и морозов, когда еще не все ладилось, на стройку приехал первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС А. К. Черный. Алексей Клементьевич придавал мосту первостепенное зна-

чение, ведь от него зависел разворот работ на Восточном участке БАМа. Ознакомившись со строительством, спросил:

— А успеете к весне?

— Успеем, если край поможет материалами.

— Что надо?

— Брус из толстого леса, металл для скоб, болтов.

— Поможем, давайте заявки.

И с новой силой закипели работы. Комбинат Ургаллес подобрал крупномерную древесину и напилит брус. С хабаровских баз был срочно отправлен металл. Стройка жила. Стройка торопилась.

Вот солдаты, одетые в полушубки и валенки, в ушанках, завязанных под подбородком, накатывают бревна на пилораму, вот прямо на морозе у костра «рубают» борщ из мисок, вот прием в комсомол у вздымающейся опоры. Историограф батальона — военврач и душа коллектива по призванию — Евгений Супрун скрупулезно фиксировал детали труда и быта мостовиков.

Объектив запечатлел и разукрашенный флагами вездеход «Ураган», что промчался по мосту, открыв движение на запад, и жителей окрестных поселков, аплодировавших 622-метровому мосту, построенному, как в сказке, ровно за три месяца.

Ряд солдат, прапорщиков и офицеров батальона получил поощрения за досрочный ввод моста.

Мост построен. По нему открыто движение, и вдруг новое испытание... Штормовое предупреждение... В верховьях Буреи прошли ливневые дожди, сформировался высокий паводок, какой бывает раз в пятьдесят лет. Подъем воды над обычным уровнем составил пять — девять метров, интенсивность подъема достигает полметра в час, наивысшие многолетние уровни паводка превышены на полтора-два метра. Под угрозой затопления оказались сельхозугодья, населенные пункты, линии связи и электропередач, объекты строительства БАМа, техника.

Буря... С отрогов круглого хребта, где на двухтысячметровых вершинах лежат льды и снега, берут начало левый и правый притоки, прыгая с уступа на уступ, пересекая луга и пихтовые леса, соединяются в самую Бурею и гудящей стрелой мчатся дальше вниз. Необычно жаркое лето растопило снежник и льды, а тут хлынули ливни, и, питающаяся льдами и дождями, еще малоизученная гидрологами, Буря, хлынула бурным валом, все сметающая на своем пути.

Сообщения одно тревожнее другого. В три часа ночи стало затоплять поселки Усть-Ниман и Чекунда. В восемь утра: заливают Усть-Ургал, люди — на крышах и деревьях. В полдень: разрушены все водомерные посты, под водой девятнадцать экскаваторов. На базе ГСМ вода поднимает цистерны и бочки, и солдаты техбата по груди в воде ставят заградительные решетки. Затем: смывает мосты

на малых речках, заливая лагерь изыскателей. Терпят бедствие лесники, заготавливающие лес. Вода подбирается к военному спортивному лагерю: восемьдесят детей на окруженном водой пятачке.

В воздухе шесть вертолетов. Ю. Филимонов, В. Фомин, В. Иванников, И. Томяк и другие военные летчики и бортехники с мастерством и мужеством, зависая над крышами домов, над кабинами залитых машин, спасают терпящих бедствие: на их счету 1300 спасенных.

Мостовой батальон построен по тревоге. Командир ставит задачу по охране моста.

— Пловцы-разрядники, шаг вперед!

А дежурная рота Борисова уже рубит шесты, снаряжается спасательными жилетами, баграми, веревками, топорами, железными «кошками». И военврач Супрун бежит с ящиком «скорой помощи».

Комбат сам возглавлял спасательную команду. Связь с мостом уже прервана. И когда они подлезжали, путь им преградил поток, хлещущий через дорогу, несущий деревья и бочки, лодки по лесу. А навстречу бежит весь мокрый солдат.

— Там люди! — машет он рукой в сторону карьера.

Карьер залит вместе с техникой. Солдаты — кто примостился на ковше экскаватора, кто на дереве. Отрезан и сам мост, а там тоже люди: связисты, регулировщики.

Одна машина в это время пытается с ходу пролететь через поток, но застревает, шофер только успел выскочить на крышу кабины, как ее опрокинуло. Хорошо, что рядом дерево, и смельчаку удалось ухватиться за ветви.

Оставалось лететь на вертолете...

Приземлились на клочке сухой земли у моста. Подступы к нему залиты километрами. Уже в воде ледорезы, предназначенные для предохранения опор от ударов. Ревущий мутный поток нес лодки, бочки, бревна, коряги, вековые деревья метровой толщины, пенился у опор, громозил огромные заторы. Мост вибрировал, гудел как натянутая струна, вздрагивал от каждого удара. Оставалось полтора метра до низа пролетных строений. А вода прибывала.

Было воскресенье, четыре часа дня. Комбат расставил людей по опорам. На каждой — трое солдат и офицер. Привязавшись веревками, они спустились под пролетные строения и лицом к лицу с бушующим потоком стали пропускать летящие на огромной скорости бревна и лесины. С другой стороны моста еще по три человека на каждой опоре со спасательными кругами в руках страховали их на случай, если кого-нибудь снесет.

Майор Светлов вспоминает:

— Как приехал на мост, сердце забило. Вода поднялась выше проектной отметки на три метра. Смотрю: автомашина «Жигули» плывет, дом с крышей и трубой несет. Аж волосы дыбом встали. Ле-

дорезы уже в воде, и наш мост оказался беззащитным. Полтора миллиона рублей, столько трудов! И вот-вот его снесет! Был большой риск защищать такую громадину. Задача прямая: либо спасти мост, либо погибнуть вместе с ним! Компромисса не было, как на войне. Особенно опасно было у двенадцатой опоры. Солдат туда я старался не посылать: думал, лучше самому рискнуть.

Затор леса давил на эту опору, угрожающе рос. Треск, шум, в этот ад не каждого можно было послать. Комбат, старший лейтенант Борисов и военврач Супрун сами спустились в люк и стали разбирать затор. Супрун взбегал на шевелящийся завал, набрасывал веревку на одно из бревен, а остальные тянули его и пропускали между опорами. Они уже почти разобрали затор, как вдруг бревно, на котором стоял Супрун, сбалансировало и весь затор с оглушительным треском двинулся под мост.

— Женья! — предостерегающе крикнул комбат. И Супрун, пролетев несколько метров на бревне, схватился за пролет и, подтянувшись, выскочил на мост.

Турист, обходивший полстраны, и летописец батальона, он успел заснять и кадры борьбы со стихией. Вот команда высаживается из вертолета. Вот по пояс в воде голые солдаты растаскивают веревками завал, вот переваливают через мост сучковатые лесины. Мост вечером: последние лучи солнца, черные стены леса, черные тучи, силуэты прожекторов.

Наступила ночь. Вода прибывала. Комбат с нарастающей тревогой в душе засекал уровень реки: 70 сантиметров до пролетов, 50, 40. Вековые лесины лезут на мост, круша перила. Дрожат опоры. (Лишь бы выдержал, не подвел бетон!) Хлынул ливень, загрохотал гром, засверкали молнии.

Стало очень опасно на мосту. Его судьбой уже интересовалась Москва. Сорок сантиметров до катастрофы! Продолжать спасательные работы или бороться бесполезно, и пора убирать людей! Вот такая сложная дилемма: снимать людей — не будет моста, не снимешь — погибнут люди, пойдешь под суд... По радио на мост поступил приказ: убрать всех, кроме команды Светлова, ему — оставить на мосту минимум людей. Мост — важный объект, но люди дороже.

Три часа ночи. Вода прибывает. До пролетных строений (до катастрофы!) — двадцать сантиметров. Мост, как туго натянутая струна и содрогается при каждом ударе. Светлов и девятнадцать самых отчаянных солдат и офицеров с ним в свете прожекторов и фонарей бросают веревки, ловят бревна и протаскивают под опоры.

Рядовой Александр Козлов говорит:

— Да, я на всю жизнь это запомню! Жутковато было сначала. Под ногами бурлит, гудит все: кричишь — не слышно. Я рядом с Шурыгиным Сергеем стоял и Морозом Василием, и комбат, по

пояс мокрый, бревна таскал с нами, пока не наступил пик и вода не спала. Все видели такое в первый раз, как в песне про Ермака было...

Да, многие, наверное, увидели в ту ночь то былинное, что испытывали далекие предки, первыми проложившие пути на восток, к Тихому океану. Как «ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали». Все это было на диком берегу Буреи, где первопроходцы XX века построили с таким огромным запасом прочности и отстояли от стихии важнейший объект БАМа — Бурейский мост.

Приказ по батальону гласит: «За смелость и находчивость при защите моста объявить благодарность» — и дальше следуют фамилии — тех, кто был тогда на мосту.

Солнце садилось, кончался день, и в кабинет комбата заходили люди, чтобы решить дела на завтра. Шла речь о сооружении труб, отсыпке дороги, строительстве сборно-щитовой столовой, гаража, вплоть до огорода, на котором уже выращен первый урожай картофеля. Много за-

бот у комбата: недаром слыл он хорошим хозяином и чутким командиром. Не забыть бы разобраться с трудным письмом от жены одному из солдат и поздравить прапорщика Бородая: сын у него родился! Первенец БАМа!

Но за всем этим стояло высокое предназначение батальона. Народ наш помнит подвиг железнодорожных войск и в первые горькие годы войны, когда они взрывали мосты, дабы враг не прошел, и потом, когда, обеспечивая стремительное наступление, с автоматами в руках, навели и построили восемьдесят тысяч километров дорог и четырнадцать тысяч мостов.

И вот БАМ с его масштабами, дикостью и необузданным нравом природы, таящей много неожиданного, коварного. Бурейский мост — лишь эпизод. Впереди много схваток, не раз еще будет испытывать солдатские сердца природа — жечь огнем и лютым холодом, топить, бушевать, пока по стальным путям, по глухим тоннелям и грохочущим мостам побегут поезда к океану. И тогда народ наш поклонится вчерашним мальчишкам — ныне «железным солдатам» за их терпение, мужество, труд.

БАМ, Восточный участок



Анатолий МАЛЫЙ,
Василий ГОЛУБНИЧЕНКО

ЗДЕСЬ ОТЧИЗНА МОЯ

ОЧЕРК

В аудитории одного из московских художественных вузов первого сентября собрались студенты. Мастер курса проницательным взглядом обвел взволнованные лица своих воспитанников и сказал:

— Вы выбрали искусство. Замечательно! Но этого еще мало. Выберет ли искусство вас?..

Случается и так. На переломе пятнадцати-шестнадцати лет человек вдруг открывает в себе тягу к гуманитарным наукам, к художественному осмыслению мира. И тогда подросток начинает писать стихи. Потом он берется за кисть, откладывает ее и выходит на сцену... После мучительных сомнений поступает на факультет журналистики, а в итоге становится хорошим телевизионным режиссером.

Крайне редко бывает, чтобы подросток, решив посвятить себя служению одной из муз, точно знал, что он хочет сказать в искусстве. Редко, но бывает. И хотя должно пройти немало лет, прежде чем человек осмыслит свое творческое кредо, следование той генеральной линии, которая, пусть интуитивно, не до конца почувствована в юности, способна привести к формированию цельной художнической натуры.

...Парень рос в московской семье. Мать — пианистка, отец — художник. Рядом — театр Корша. Одно увлечение сменяется другим... Но вот однажды он попадает на Центральную студию документальных фильмов, куда его приводит сосед, фронтовой кинооператор. И эта экскурсия в мир кинематографа производит на пятнадцатилетнего паренька такое потрясающее впечатление, что определяет всю его дальнейшую судьбу.

Уже через год он — штатный сотрудник студии. Правда, камеру ему не доверили. А вот должность дали не по годам солидную — начальника отдела снабжения фронтовых киногорупп. Но он и этому был несказанно рад. Работать рядом с такими мастерами советского документального кино, как Кармен, Фролов, Ешурин, Микоса, быть вместе с теми, кому он мечтал подражать, — разве это не счастье?

Энергичный паренек летал из Москвы в Казань за пленкой, доставал для кинооператоров все, что им было нужно в те грозные годы. И ухитрялся улавливать «технологии съемок», увидеть, как монти-

руют фильмы, старался не пропустить ни одного просмотра готовых лент.

В сорок четвертом его призвали в армию. Он водил грузовики по военным дорогам, доставлял пехотинцам патроны, артиллеристам — снаряды, увозил в тыл раненых. А после Победы вернулся на студию. Его взяли помощником оператора.

Впоследствии он работал ассистентом у Копалина, Киселева, вместе с Романом Карменом снимал «Повесть о нефтяниках Каспия». Это была великолепная школа профессионального мастерства, редкая по созвездию именитых учителей.

А когда пришло осознание своей самостоятельности, молодой оператор решил оставить Москву и выбрал Дальний Восток.

Так складывалась биография призера многочисленных кинофестивалей и конкурсов, лауреата Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кинодокументалиста Федора Алексеевича Фартусова.

Экзотика Дальнего Востока — грохочущий океан, пики вулканов, скалистые, вздыбленные острова, изогнутые ветви деревьев, бескрайняя снежная целина — навсегда пленила воображение художника.

Однако уже в первых своих лентах — «Острова Командора», «Трудная нефть», «Есть в океане земля» — Фартусов стремится не только зачаровать зрителя необычностью, фантастической красотой Дальнего Востока. Он хочет объяснить, почему те, кто здесь живет, так накрепко связаны с этой землей, влюблены в нее.

Анализируя творчество кинодокументалиста, критик В. Синельников большое внимание уделяет атмосфере романтики, столь присущей фартусовским лентам. «Лирический герой фартусовских картин, — пишет он, — чувствует и видит, как художник, за плечами которого биография романтическая, почти из гринговских романов».

Думается, что утверждение это справедливо лишь частично. Безусловно, объяснение истоков эстетических взглядов художника нужно искать в нем самом, в его характере, биографии. Но ведь зачастую взаимосвязи эти очень усложнены, противоречивы, и потому полное отождествление их в известной мере проблематично.

Творческое лицо Ф. Фартусова определяется не только — и даже не столько! — эпизодами, решенными действительно в романтическом ключе (в основном, это природа), а прежде всего, лирико-психологическими фильмами-новеллами.

Кроме того, он автор целого ряда кинорепортажей, которые отличает склонность к философскому осмыслению событий. Более того, Фартусов прекрасный мастер жанровых зарисовок, сочных по своим реалиям, снятых через призму тонкого юмора.

Проблема выбора героя — проблема номер один для любого художника. Думается, что романтический склад характера человека — отнюдь не самый главный критерий для Фартусова. Во всех его лентах — с удивительной последовательностью! — прослеживается жадный интерес к людям пытливым, с ярко выраженным личностным началом.

В самом деле, что так крепко объединяет всех героев кинодокументалиста? Прежде всего, активная жизненная позиция, мощный потенциал всех сил и энергии, сфокусированных на глубоко осознанной необходимости — рыбачить ли, как у А. Хан (фильм «Рыбачка»), изучать природу у Камчатки, как у ученых Ф. Крогус и Е. Крохина («Один день длинной жизни»), выращивать овощи, как у Ф. Горбатой («Подвиг на островах»), осваивать тайгу, как у строителей Ургала («Новоселье»), или же стоять за штурвалом ледокола, как у Л. Ляшко («Океан-судьба моя»).

Вот, вероятно, почему далеко не случаен в последнем фильме крохотный по метражу образ молодого матроса. «Когда мы шли на Кубу, все так и трепетало во мне... Народ другой, разговаривают не по-нашему. А когда Панаму проходили, так я прямо не уходил никуда... и смотрел, смотрел...» — рассказывает он в синхронном интервью.

Признание это, конечно, весьма наивно, но оно имеет принципиальное значение для понимания характера героев Фартусова. Его интересует элемент романтики не сам по себе. Для автора важно другое — жажда познания мира, умение удивляться, столь свойственные юности.

— Я думаю, что каждый из нас считал: мы будем первооткрывателями. С возрастом это, к сожалению, прошло.

Так говорит капитан Л. Ляшко. И, словно в доказательство тому, звучит его рассказ, как он с товарищем, сбегав с урока, вышел на ялике в открытое море, где вскоре разыгрался шторм.

Высказывание героя невольно воспринимается как автобиографичное. Судя по всему, он не причисляет себя к романтикам (автор, впрочем, и не стремится представить его непременно поэтом).

В фильме «Рыбачка» мы знакомимся с Александрой Хан. В сорок лет приехав на Сахалин из Средней Азии, бывшая колхозница-рисовод вдруг почувствовала не-

преодолимое влечение к морю, к рыбацкому делу. Она не только осуществила свою мечту, но и впоследствии два десятилетия руководила самой передовой на острове рыбацкой бригадой, стала Героем Социалистического Труда.

На экране А. Хан, которой уже за шестьдесят. Но можно ли поверить в ее возраст, глядя на энергичную, жизнерадостную женщину, командующую рыбаками в море, слушая ее темпераментную речь!

Капитан Ляшко, другие моряки — люди зрелые, с солидным жизненным багажом — тоже неоднократно говорят, что их влечет океан. Раз это не дань мальчишеской романтике, то что же? Привычка?

Нет, нет и нет.

Океан, как известно, сам по себе не может манить человека — это было бы уже что-то из мистики. Моральной категорией его делает наше отношение к нему как к стихии, подвластной лишь сильному, мужественному характеру.

Выходит, что океан, профессия моряка, рыбака — это нечто гораздо большее, чем пленительные краски марины или возможность добиться сверхвысоких трудовых показателей. Это способ существования людей такого склада, духовные и физические силы которых требуют реализации в напряженных, зачастую критических ситуациях.

А вот два других героя Фартусова, из фильма «Здесь Отчизна моя».

Старый пасечник Петр Григорьевич Ахмылин. Грубые, заскорузлые руки крестьянина. Лицо человека «от земли», изборожденное глубокими морщинами, преисполненное мудрого спокойствия. Но это далеко не созерцательное спокойствие старца, отрешенного от суеты сует. Пасечник размышляет вслух над вопросом: «Почему я люблю Родину?»

Он выскажет одну мысль, потом другую, но, неудовлетворенный их неполнотой, отвергнет обе и снова погрузится в размышления. Мы так и не услышим в фильме его окончательного ответа — есть вещи, о которых не скажешь в двух словах.

Примечательно же то, что перед нами человек, незаурядный по масштабам своего мышления, цельности прожитой жизни. Природа наделила его пытливым умом, а годы созидательного труда, общения с ней сформировали труженика-философа.

О зарождении уважения, влюбленности в другого своего героя сам Ф. Фартусов рассказывает так:

— Хирург Егоров человек с интересным, сильным характером, специалист высокого класса. Но меня заинтересовало не только это. Он — пытливый человек. Ведь далеко не каждый хирург умеет создать для себя инструмент. Егоров сам совершенствуется в этом деле, сидит за станочком, выпиливает. Наверное, случилось то, что он в свое время окончил ремесленное училище.

У него своеобразные отношения с сыном, который окончил школу, а учиться дальше не захотел. Отец спокойно это воспринял. Я ведь, говорит, в свое время тоже не захотел. Врач Егоров активный, равнодушный человек. Эти черты, пожалуй, главные в его характере.

Герои Фартусова, так непохожие друг на друга внешне, душою сродни создателю — они не мыслят жизни без Дальнего Востока. Каждый из них по-своему ярок и колоритен. Наблюдательный глаз художника сумел подметить главное в их характерах, присущее лишь им, и черты, типичные для многих дальневосточников: мужество, высокое чувство товарищества, коллективизма, щедрость души. Они не просто любят свой край и дело, которому служат, но и с вдохновением, с полной отдачей преобразуют эту холодную, стылую землю, отдают ей тепло своих сердец.

Фартусовские фильмы эмоциональны, взволнованны, поэтичны, но по-особому. Примечательно, что, когда героем фильмов Фартусова становится город — будь то Хабаровск, Южно-Сахалинск или Владивосток, — кинематографист, прежде всего, идет к людям.

Не будет откровением тот факт, что наша «киноурбанистика» обросла изрядным количеством штампов, поэтому редко кому из авторов удается выйти за пределы решения информационно-познавательной задачи. В картинах подобного рода применялись проезды по улицам и облеты на вертолетах, на первом плане были архитектура, памятники, кварталы, парки.... А человек, создающий эти ценности, или вовсе отсутствовал, или заполнял кадр, чтобы не было пустынных улиц.

Картина «Владивосток» — тоже обзор, но с качественно новым содержанием. Автор раскрывает тему через людей, которые живут здесь, на краю России. Это профессор А. В. Стаценко, ветеран морского порта Ф. П. Одинец, мастер Дальзавода Г. А. Сетраков, жена моряка Т. Чернобыльская и звукооператор Приморского комитета по телевидению и радиовещанию В. З. Лихачев. Таким образом в обзорный фильм вошло пять интервью, каждое из которых открывает зрителю характер, образ мышления людей и истоки их родства с городом.

Герои Фартусова на экране естественны, они говорят искренне и самообытно, что подчеркивает их индивидуальность. Вот слова профессора Стаценко:

— ...Вы выезжаете из Москвы, из чисто русского стиля — Ярославского вокзала, прилетаете или приезжаете сюда, во Владивосток, и вы видите ту же матушку Русь, несмотря на то, что махнули без малого за десять тысяч километров... И большинство людей, которые здесь остаются потом, это люди... не стесняющиеся расставаний.

Вся лента пронизана высокой гражданственностью и патриотизмом, любовью к

приморскому городу, его людям. Общаясь с ними, мы в то же время получаем и большое количество фактических знаний. Поэтический глаз Фартусова видит и открывает для нас богатство архитектурных ансамблей, сочетание старого портового города с новым, наблюдает и находит в его людях то, что отличает их от жителей других городов.

Вообще, синхронные интервью занимают большое место в художественной ткани фартусовских лент.

В конце 50-х годов человек в нашем документальном кино начал уверенно и образно говорить. Фартусов одно время был механиком синхронной аппаратуры. И, пожалуй, именно тогда он понял, как много может дать синтез кинообъектива и синхронного разговора. Документальные ленты обретают еще большую достоверность, когда зритель присутствует при рождении человеческой мысли. Вот почему в фильмах Фартусова дикторам почти всегда приходится томиться от «безработицы». Бесстрастно-официально вещающий диктор — постороннее лицо, оно разрушило бы ту особую душевную тональность, которая так дорога нам в киноисповедях документалиста.

— В фильме «Мальчишки уходят в море», — говорит Ф. Фартусов, — есть несколько синхронных интервью, взятых у ребят пионерского лагеря. Если эти «синхроны» убрать, пропал бы аромат ребячей непосредственности. Никогда не забуду очаровательного мальчишку, его рассказ о том, как он впервые надел флотскую форму и «утонул» в ней. И дальше парнишка рассказал, как умолял свою бабулю перешить форму, потому что, как он выразился, форма накрыла его с головой. Уберите эту деталь, и ни один диктор не заменит ее. Так что хорошо, когда есть интересные рассказы, персонифицирующие героя. И не только в моих фильмах. Возьмите, например, такую интереснейшую картину Бориса Галантера «20 дней жаркого лета». Чего бы она стоила, если бы из нее исчезли живые голоса людей!

Можно было бы продолжить перечисление талантливых, документальных лент, в которых синхронные интервью играют немаловажную, если не главную роль, и это был бы внушительный список. Тем не менее, споры, развернувшиеся еще несколько десятилетий назад относительно их «чужеродности» в произведении документального кино, продолжают и по сей день.

Думается, нужно дискутировать не на тему «Быть или не быть?», а о том, как сделать, чтобы плохие «синхроны» не дискредитировали этот бесспорно важный прием из арсенала выразительных средств кинодокументалистики; о том, что к вопросу об использовании синхронных съемок необходим дифференцированный подход; о том, как раскрепостить органическую природу человека для того, чтобы он и перед кинокамерой оставался самим собой.

Есть еще один, очень важный герой фартусовских картин, встреча с которым всякий раз доставляет всем нам истинное наслаждение, характер его удивительно многогранен. Он предстает перед нами то в минорном настроении, то открыто ликуя, а порой обрушивается на нас, грозный, разъяренный... Герой этот — природа Дальнего Востока.

Туманная дымка предрассветного часа, сквозь которую огромными белыми птицами кажутся спящие корабли на рейде.

А какие закаты в фильме «Есть в океане земля»! Солнце, опускающееся к вулканам, прильнувшее к изумрудной воде.. Кажется, видишь каждый лучик, рельефно ощущаешь упругость волны.

Картина «Океан — судьба моя» — это кинопоэма о великой стихии.

Все, что бы ни снимал документалист: тайга ли это, море или вулканы, — одухотворено авторским отношением, имеет свой характер, настроение.

Проблема охраны и приумножения природных богатств Дальнего Востока, единства человека и природы — проблема, по-настоящему волнующая сердце кинематографиста. В этом отношении подлинным художественным открытием является финальный кадр из его фильма. «Один день длинной жизни».

...Подшел к концу кинорассказ о камчатских ученых — супругах Ф. Крогиус и Е. Крохине. Автор, от лица которого он велся, как бы прощается с полюбившимися героями. От неказистого деревянного помоста-причала отходит моторка. Волнами расходится по обе стороны речная гладь, и на том берегу остаются два человека. Их силуэты становятся все меньше и меньше. В кадр плавно «въезжают» лента бесконечно длинной реки, высоченные сосны, пики сопков... И вот, наконец, фигурки героев совсем теряются из виду, растворяясь в открывшейся панораме величественного камчатского ландшафта.

Этот долгий-долгий отъезд, снятый на едином дыхании, прекрасен своей проникновенной лиричностью, но главное то, что он вдруг вырастает в потрясающий художественный образ — образ слияния, единства человека и природы!

Финал картины, как и вся лента в целом, лишний раз — и наглядной убедительностью! — свидетельствует о новой, еще далеко не раскрытой грани дарования Фартусова, не только лирика, но и философа.

Вот размышления самого кинематографиста:

— ...Сейчас я думаю о более глубокой работе, потому что отснятые до сих пор фильмы в большей степени фиксируют факты. А вот если копнуть поглубже психологию... показать становление личности.

Думается, на этом направлении художника ждут новые, еще более значительные художественные открытия.

Ф. Фартусов начинал свой творческий путь в кинематографе как оператор. Если

от матери он перенял любовь к музыке, то отец-художник, наверное, наградил его какой-то особой восприимчивостью к пластике природы, к краскам.

В композиции фартусовского кинокадра вы не обнаружите и малейшего стремления эстетизировать действительность. Вычурность, открыточная красивость, жонглирование всеми цветами радуги, столь искушающие операторов, порой даже опытных, органически ему противопоказаны.

Большинство фартусовских героев внешне красивыми назвать никак нельзя. Но тем не менее, они обладают притягательной силой. Несмотря на морщины, безыскусность, «художественный беспорядок» причесок, диспропорцию черт лица, — люди обаятельные, красивые своей одухотворенностью, которую сумел подсмотреть и запечатлеть глаз кинооператора.

Иногда Фартусов озадачивает нас явной неуравновешенностью композиции кадра. Скажем, в «синхронах» Л. Ляшко, который находится не в центре экранного полотна, а справа. Эта неожиданная асимметричность — да еще на широком-то экране! — поначалу вызывает чувство протеста и недоумение: мастер «не знает» элементарных правил композиции...

Но потом ловишь себя на мысли, что тебя тянет — и раз, и два — посмотреть на ту, левую половину кадра. А там не пустота — навигационные приборы, карты, световые табло... И тут понимаешь, что «неправильная» композиция, по замыслу оператора, своей дисгармоничностью контрастирует с внешне спокойным рассказом капитана о своей профессии, акцентирует наше внимание на деталях обстановки, которые служат важной социальной характеристикой героя.

Эксперимент? Да. И, думается, правомерный. Открывая новые возможности известных выразительных средств, художник разрушает динамический стереотип нашего зрительского восприятия. Без поиска нет находок.

Идя наперекор привычным канонам, оператор прибегает к рискованно длинным по метражу планам, которые, казалось бы, должны непременно ослабить наш интерес к ним, а происходит обратное. Вспомним финал картины «Один день длинной жизни». Этот же прием он использовал потом и в начале фильма «Океан — судьба моя», когда корабль медленно-медленно, почти незаметно отделяется от причала и уходит в морской простор. Здесь же Фартусов повторил прием, найденный им в картине «Здесь Отчизна моя», представив и океан выпуклым.

У кого-то, быть может, возникнет мысль: зачем же открывать то, что открыто — тобой же самим?.. Пластические повторы у Фартусова — вовсе не признак инерции автора, пожелавшего идти проторенным путем, а художественные автореминисценции, в которых сконцентрировано его видение мира, его мировоззрение.

Фартусов-режиссер большинство своих

лент выстраивает по законам излюбленного им жанра — новеллы. В последних своих работах интересно использует режиссер прием временного среза, ретроспекции, который позволяет показать образ в динамике его развития.

«Кинематографист монтирует не пленку, а мысли и чувства зрителей». Думается, что эти слова С.- Юткевича точно характеризуют и строй монтажных образов Фартусова, который можно было бы назвать музыкально-эмоциональным.

Не случайно, самой музыке отводится важная роль в его фильмах. Плодотворным оказалось творческое содружество режиссера с композитором В. Гевиксманом, который написал музыкальную партитуру не к одному его фильму. Фартусов стремится использовать все многообразие функциональных возможностей музыки. Она звучит с экрана как выразитель эмоционального начала, того или иного настроения.

Шопеновская «Фантазия-экспромт», органично вошедшая в художественную ткань фильма «Один день длинной жизни», «сообщила ему философскую глубину», писали потом рецензенты.

В синхронном интервью изыскателя («Мы строим БАМ») звучит соло трубы. Оно подчеркивает поэтичность его слов о призвании, о смысле собственной жизни и жизни товарищей, приехавших на БАМ. Впоследствии это соло трубы, прозвучав в кинорепортаже еще несколько раз, становится лейтмотивом поэзии труда строителей магистрали.

Режиссерский почерк Фартусова отличается стремление к стилевому единству всех компонентов кинематографического произведения. Примечателен в этом отношении его новый полнометражный фильм о Сахалине «Подвиг на островах», а еще

раньше — «Рыбачка», «Один день длинной жизни» и другие.

В ряде картин последнего времени Фартусов удачно выступил и как сценарист. Думается, что это отнюдь не дань моде, а логическое продолжение тенденции к авторскому кинематографу, наметившейся еще много лет назад.

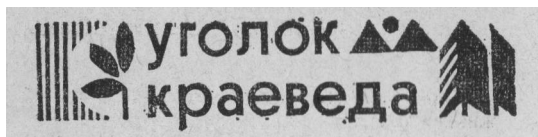
Фартусов — оператор. Фартусов — режиссер. Фартусов — сценарист. Это триединство, пожалуй, наиболее полно характеризует зрелость творчества дальневосточного документалиста и обещает рождение новых интересных произведений. Что ж, древнегреческие философы считали цифру «3» самой счастливой.

«Когда мы в титрах фильмов находим имена Федора Фартусова, Владлена Трошкина, Владлена Кузнецова, Бориса Панкина и других, мы понимаем, что со стороны кинематографистов силы выдвинуты достойные. Талантливые, опытные», — пишет журнал «Искусство кино».

В этом году Федору Фартусову исполнилось пятьдесят лет. А двадцать лет назад, только приехав на Сахалин корреспондентом Дальневосточной студии кинохроники, он не скрывал, что не собирается оседать здесь надолго и всерьез: «Вот нагляжусь досыта на экзотику, сниму пару фильмов и вернусь домой». Но пройдет время, и один из его киногероев, старый докер, скажет:

— Нравится мне Владивосток тем, что здесь море, пароходы и что чуть ли не каждый знает меня.

В этих словах — и сам Фартусов. Его мечты и надежды, замыслы и свершения, история любви к Дальнему Востоку, о которой красноречиво говорят уже одни названия его фильмов: «Мальчишки уходят в море», «Океан — судьба моя», «Здесь Отчизна моя...»



НИВХСКИЕ ТОПОНИМЫ

Посмотрим на карту Хабаровского края. Сколько различных рек, озер, гор, бухт, заливов — и все они имеют названия. Многие названия на Нижнем Амуре и Сахалине дали в незапамятные времена нивхи — маленькая народность, издавна живущая в этих местах.

У народов, населявших наш край, в прошлом не было письменности. Как остатки материальной культуры для археолога дают материал для заключения и выводов относительно быта, культуры, так топонимы для языковеда могут послужить тем материалом, при помощи которого можно заглянуть в прошлое каждого народа или народности.

Главным занятием нивхов была рыбная ловля и охота, и это отразилось в названиях многих мест.

Вот река Пила Вагс. Она находится на западном побережье Северного Сахалина. По-нивхски пила — большой, вагс — сиг. Следовательно, по-русски эта река называлась бы Большой Сиг. И там же есть речка, которая носит название Мать Вагс, что в переводе будет река Малый Сиг. Мать Лонри (промысловое угодье к северу от устья Амура) — Маленькая Форель. Чоми — название речки и одного из нивхских селений на Амурском лимане. Чо — рыба, ми — поселок — внутри, то есть рыбная речка. Река Лангери на острове Сахалин. Лангр — нерпа, ери — река, то есть Нерпичья река. Пангери (река на о. Сахалин): Панг — сима, ери — река. Река, в которой водится сима. «Вот где простор для любителей рыбной ловли», — подумал я.

А где же прекрасная дальневосточная рыба кета и горбуша? Не могли нивхи не зафиксировать этих рыб в своих названиях рек, заливов, селений. Скоро я обнаружил, что есть названия, связанные с этими рыбами. Алгмыр — название одного из родовых рыболовецких угодий, располагавшихся к северу от устья Амура. Алг — позади, мыр — заездок для ловли горбуши, летней, осенней кеты. Селение Лыгиво расположено на западном побережье Сахалина. Лыги — осенняя кета, во — селение; буквально: Селение осенней кеты. А осетр? Я нашел название Тукимиф (название одного из островов в районе Нижнего Амура). В переводе этот остров будет называться Осетровый остров. Интересно попутно отметить, что си-

нонимом к слову «туки» является «пилачо», что в переводе означает огромная рыба. Действительно, осетр — рыба не малая.

Для ловли рыбы нивхами было придумано много хитрых снастей. Из волокон крапивы они плели сети, специальной плавающей острой с вынимающимся наконечником били морских животных. Об этом тоже рассказывают топонимы.

Кеф — название нивхского селения на западном побережье Сахалина. Ке — сеть, невод, ф — суффикс — село Сетевое. Мео — название селения в Амурском лимане. Мео — две рыболовные снасти.

Нивхи прекрасно знали свою местность. Амурский лиман, например, они называли Мать Керк, что буквально обозначает малое море. Охотское море — Пила Керк — большое море.

Мыс Марии (о Сахалин) нивхи называют К'енвырк'ры. Где к'ен — солнце, выр — заслон, щит, загородка, к'ры — утес. Утес, загораживающий солнце. Мыс Марии, действительно, далеко отбрасывает сплошную тень. Человек, плывущий на лодке вдоль берега с северо-востока на юго-запад, долго не выходит из тени.

Часто названия различных скал, утесов, мысов, бухт и заливов указывают на характерную черту того или иного объекта наименования. На карте Сахалина залив Пильтун похож на длинный вытянутый палец человеческой руки. И древние нивхи, не имея географических карт, заметили эту характерную черту места и назвали его Большой Палец! Остров Байдукова на Амурском лимане нивхи называют Лангр — нерпа.

Сахалин, по религиозным воззрениям нивхов, это огромное живое существо. Северная часть его называется Голова Земли, а мысы Анива и Крильон — Ноги Земли, что соответственно по-нивхски будет Миф Тёнгр и Миф Нытьх.

И даже нефть, которая на Сахалине имела природный выход, называется по-нивхски Мифнар — кровь земли. Раз остров Сахалин, по религиозным представлениям нивхов, — живое существо, то нет ничего удивительного в том, что это существо шевелится (во время землетрясения). Тогда древние нивхи били землю палками, как бы приказывая ей не шевелиться.

Еще в незапамятные времена на больших высокобортовых лодках под парусами нивхи выходили в море для охоты на мор-

ского зверя. Я стал искать названия местности, где преимущественно изготавливали эти лодки. Такие названия были найдены. Например, Кайган — порт на восточном побережье Сахалина. Кай — парус, ган — собака. В связи с этим названием интересно отметить связь паруса и собаки. Собак нивхи запрягали не только в нарты, но и использовали летом для транспортировки лодок вверх по течению реки. То есть и собака, и парус двигали лодку. Еще одно название — Мусьво (западный берег Северного Сахалина), переводится так: Мусь — боковые доски лодки, во — селение. Возможно, именно здесь изготавливались доски для бортов лодок.

А вот названия, говорящие о величине.

Пила Кры (Мыс Лазарева) — буквально Большой утес. Пила Налу (Верещагинская бухта) — Большая бухта. Мать Налу — название небольшой бухты на западном побережье Сахалина — Маленькая бухта. Пильду — название озера в районе Нижнего Амура. Пил — большой, ду — озеро. Большое озеро. Тамлыво — название селения на западном побережье Сахалина. Тамла — многочисленный, многолюдный, во — селение.

Интересно отметить, что данная этимология топонима Тамлыво подтверждается этнографическими данными. Так, в известной монографии Л. Я. Штернберга читаем: «Что касается величины зимних селений, то самые большие из них следующие: Тамлыво и Лиркрыво (по 144 человека)... Летом самое многолюдное селение Тамлыво»*. Пила Хитф — название острова в низовьях Амура — Большой остров.

Нивхи занимались не только рыбной ловлей и промыслом морского зверя. Они охотились на обитателей тайги, а также на водоплавающую дичь. Особенно опасным для нивхов был такой, обладающий огромной силой зверь, как медведь. Охота на медведя без огнестрельного оружия представляла опасность, поэтому охотились сообща, группой в несколько человек. После охоты нивхи, как и все охотники, рассказывали подробности, связанные с добычей медведя. И рисовали на специальной деревянной посуде события, связанные с такой охотой. Пиктографическое изображение событий, очевидно, представляет собой предысторию появления письменности у всех народов. В связи с медведем особенно хотелось бы остановиться на таких топонимах, как Ухта, Мхыль, Челмок — названия по этнографической карте Л. И. Шренка**. Ухта — се-

ление на Нижнем Амуре — выражение «Ну, давай!», «Держи!», «Бери!» — восклицания во время добычи медведя. Мхыль — селение там же. М — счетный суффикс для полых предметов, хыл — орнаментированная деревянная посуда из цельного куска дерева (с пиктографическими изображениями событий, связанных с обстоятельствами охоты). Челмок — селение на Нижнем Амуре — основа глагола челмидь — прижимать уши (о животных), мок — табуированное название медведя.

Из топонимов можно узнать и о религиозных верованиях этого маленького народа:

Милково — (восточный берег Сахалина). Милк — черт, злой дух, во — селение. Селение злого духа. Лукво (селение на западном побережье Сахалина). Лук — лохматый, мохнатый (о животном), во — селение. Селение мохнатых псов. Собак приносили в жертву во время медвежьего праздника, когда «кормили» воду — приносили жертву хозяину моря — Тол-ызнгу, хозяину тайги и гор — Пал-ызнгу.

При анализе топонимов удалось узнать, чем питались древние нивхи. Аркай — (селение на о. Сахалин). Ар — связка юколы, кай — парус. Аркво — название селения на западном побережье Сахалина. Арке — крупная корюшка, во — селение: селение крупной корюшки. Хойхудо — селение, где добывают тайменя. Пырки — название селения, а также небольшой реки на западном побережье Сахалина. Пырк — каша, смешанная с кетовой икрой, приправленная нерпичьим жиром и травами, и — река. Танквынгво (Воскресеновка). Тангвынг — черемша, во — селение. Черемшовое Чайво (восточный берег Сахалина). Чайное селение. Сами нивхи земледелием не занимались, а вели торговлю с маньчжурами и японцами и покупали чай у этих народов.

Каркк-хыр-эри — река, у которой копают ирисы. Корни этого цветка употреблялись в пищу и служили предметом жертвоприношения.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что топонимы являются интересным и ценным материалом для исторических и филологических наблюдений и исследований. В топонимах определенные этапы развития языка и исторический путь народов нашли, как нам представляется, благоприятную среду для своей консервации. Топонимы могут служить драгоценным историческим источником, помогая выяснить былой этнический состав и миграции населения в прошлом, быт, нравы, обычаи, религиозные верования, хозяйственный уклад. Данные топонимии дополняют фактический материал истории, этнографии, археологии, социологии.

И. МЕРКУШЕВ.

* Л. Я. Штернберг. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны Хабаровск, 1933, с. 386—387.

** Л. И. Шренк. Об инородцах Амурского края. СПб, 1883.

Ю. БРИЛЬ

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО, ОТКРЫТИЕ НОВОГО

*Размышления об общем и индивидуальном
в молодой прозе*

Вряд ли кому из молодых писателей польстит, если о его произведениях скажут, что они похожи на прозу или поэзию того или иного, пусть даже маститого, художника. «Похожим» никто не хочет быть. Каждый старается петь своим голосом и свою песню.

Творческая индивидуальность создается долгим и кропотливым трудом, и трудно найти рецепты ее создания, но Горький, например, когда-то писал: «Кто хочет быть писателем, должен найти в себе себя — непременно!» Что значит «в себе»? Молодому Горькому казалось, что то множество книг, которое он прочел, довлеет над ним, заставляет говорить то, что уже было сказано. Позднее писатель понял, что самобытность, оригинальность ничего не имеют общего с литературным сектантством. Он уточнил и само понятие «своего», индивидуального. Оказывается, оно неотделимо от такого понятия, как общее, зависит от него, питается им, не может без него существовать. Позднее Горький заметил, что прочитанное им, переплавляясь работой ума и сердца, становилось его опытом, одной из составляющих его индивидуальности. Литературное наследство самого великого пролетарского писателя явилось катализатором для созревания таланта многих художников.

Молодых писателей часто обвиняют во вторичности. Любого из начинающих литераторов подстерегает опасность повторять сказанное (да и, наверное, невозможно без этого обойтись в ученический период творчества). Однако откуда вторичность берется? Это вопрос сложный, для каждого индивидуальный, хотя в общем можно сказать, от неумения переварить прочитанное, от всеядности, преклонения перед фактом. (Впрочем, это утверждение может показаться весьма спорным).

Литературу многих времен и народов ее теоретики раскладывали по полочкам методов и жанров, выстраивали в ряды

стилевых потоков, то есть предполагали существование каких-то общих точек соприкосновения между творчеством отдельных авторов. Внутри метода социалистического реализма, несмотря на многообразие проявлений творческих индивидуальностей, можно разглядеть контуры сходных явлений. Общее создает сам ход литературного процесса: преемственность, взаимовлияние, то есть как вертикальный срез литературного древа, так и горизонтальный. Но и то характерное, по которому мы узнаем место произведения в литературном процессе, определяет сама действительность. Она подсказывает магистральные темы, общие сферы их разработки.

Но порой жизненное и литературное начала переплетаются настолько сложно, что сказать, где одно, а где другое, невозможно.

Мы говорим, проза Толстого была подготовлена всем творчеством предшествующих ему художников: Пушкиным, Лермонтовым... Это закономерно, факт литературной преемственности. Но вот ученые обнаруживают неизвестные ранее черновики Пушкина, и в них, к немалому своему удивлению, находят наметки образов, напоминающих во многом героев «Войны и мира» — Болконского и Наташи Ростовской.

Критики всегда своей задачей считали не только анализировать творчество отдельных писателей, но и подмечать литературные тенденции, начало стиливых течений. Не случайно, например, в их сегодняшний лексикон проникли такие термины, как исповедальная, ироническая проза, проза «деревенщиков...» Если названные явления в какой-то мере обозначены и описаны, то это благодаря тому, что они уже стали в некотором смысле историей. Разобраться в сегодняшнем дне литературы, тем более строить прогнозы на завтра, всегда труднее. Однако такие попытки делаются. Рассуждая в «Новом мире» о молодой прозе, М. Чудакова выводит такую характерную ее черту: «Сейчас, именно сегодня... время автору прямо, непосредственно вершить свой суд над всем...» Другой критик в том же самом журнале, размышляя на ту же самую тему, пишет другое: «...стремление уйти от категоричности прямого приговора: того, который предполагает владение, истиной,

что называется в самой последней инстанции».

Надо заметить, что суждения прямо-таки противоположные. Кто же из критиков прав? Наверное, каждый прав и неправ по-своему. Действительно, в советской прозе можно найти немало произведений, которые бы служили подтверждением как слов М. Чудаковой, так и А. Марченко. Все это говорит лишь о крайностях в суждении. Нельзя всю молодую прозу подводить вот под такие пусть характерные, но частные замечания.

Карта молодой прозы широка и многообразна, и то, что может быть общим для какой-то группы прозаиков, выступит как частное по отношению ко всему литературному потоку.

Нетрудно, наверное, заметить такую общую черту прозы, да и поэзии писателей-дальневосточников, как насыщенность картинами природы. То особое очарование миром природы, то пристрастие к нему, которое чувствуется в каждой повести, в каждом рассказе, питает сама действительность. Реки и моря, безбрежные пространства тайги с несметными экзотическими обитателями. Ко всему этому в поисках общеприятного в жизни прикасается писатель.

Но природу можно писать по-разному. Она может служить просто фоном, на котором разворачиваются события, она может быть и предметом эстетического осмысления. У молодых прозаиков она почти всегда в центре. В. Коренев пишет повесть «Красная рыба», где герои очень обостренно чувствуют равновесие в природе. У В. Сукачева, А. Машука, А. Прихненко пейзаж — излюбленный композиционный компонент, раствор той особой марки, при помощи которого соединяются кирпичики произведения. Но каждый из молодых авторов ищет свою, еще не проторенную никем тропу.

С первой же книги В. Сукачев заявил о себе как писатель со своим особым видением мира. В. Сукачев «ищет себя» в русле лирико-философского мироощущения, в котором работали и работают многие советские художники слова. Такие, например, как К. Паустовский или А. Платонов, из современников Ион Друце.

Тем не менее В. Сукачев находит и свои темы, и свой ракурс изображения, свои слова. Его герои — люди, очень тонко чувствующие едва заметное движение жизни. Они смотрят на мир будто впервые, детскими глазами.

«— Вась, — задумчиво тянет Карысь, — а куда вон та дорога идет?»

— Какая? — Васька тоже притих, и тоже смотрит далеко вперед, и видит мир, о котором раньше только смутно подозревал¹.

Шестилетний мальчуган из рассказа «Там, за поворотом» познает природу, не-

объятность тайги как реальность и как сказку и чувствует первый тревожный смутный страх перед ней. Его героям, живущим не в пыльных городах, — у светлых рек, среди девственных лесов, доступен язык природы. Они не просто любят природу. Они советуются с ней, учатся у нее, чувствуют ее рефлексивно, а сами чувствования доходят до экзальтации: «И вдруг такая тоска навалилась на Светлану, такая любовь к этому миру природы, что так доверчиво и доступно лежал у ее ног, полный неистраченных сил, первозданной красоты и целомудрия, так больно Светлане сделалось и за себя, и за эту землю, что она быстро закрыла лицо руками и тихо заплакала».

Часто герои В. Сукачева — люди «не от мира сего». Взять, например, Макара Чупрова («В той стороне, где жизнь и солнце»), Но чудак, каждое утро ходивший на свидание к солнцу, оказывается намоного духовно богаче маленького, кругленького директора КБО, видящего в тайге лишь место промысла и в природе некую враждебную среду. Макар открывает молодому специалисту Ниночке тайгу. Это было для нее немаловажное открытие, потому что одно открытие подводит ее к другому. Она начинает понимать Макара.

И кто знает, чем кончатся совместные прогулки Макара и Ниночки в тайгу.

Есть в первой книжке В. Сукачева рассказ под таким, немного странным названием «Чудо-юдо, сладкий сок». Егор Васягин, работник зверосовхоза везет в тайгу на подкорм собакам мясо. Собственно, это еще и не мясо, старая, отработавшая свой короткий век, лошадь Лидка. Она станет мясом, когда Егор доедет на ней до таежной зимовейки, снимет с плеч карабин...

Долгая дорога разворачивает перед Егором воспоминания. Лидка не, просто честно отработала свой век. В одну из страшных ночей она спасла от верной смерти Анфису, жену Егора. Писатель размышляет над сложной моральной проблемой, когда естественный акт крестьянского труда обернулся безнравственным поступком. И вообще, можно ли этот поступок считать безнравственным?

Не сразу В. Сукачеву удается вывести свою чистую, не замутненную вторичностью ноту. В повести «У светлой пристани» есть сцены, которые порядком набили уже оскомину. Вечер в лесопункте. Сначала танцы под магнитофон, потом посмеявшийся над ним баян — переборы по клавишам, наконец пляска: «Вздрыгнул и пошел по кругу, ловко переставляя ноги в кирзовых сапогах». Но, переходя от рассказа к рассказу, писатель для разрешения конфликта и живописания героев находит незахваченные ситуации, постепенно складывается у него и свой лексический словарь. «Светлая пристань», «светлая», «Светлана», «Ночь была светлой, томной, и светлые мысли пришли к Савелию». У Сукачева особая любовь к слову «свет»

¹ В. Сукачев Карысь. Рассказ. «Лит. Россия», 1976, 16 апреля.

лый». Оно, работает на настроение. Именно такое настроение, светлое, может быть, слегка разбавленное грустью, переходя из рассказа в рассказ, становится индивидуальной особенностью молодого писателя. Но вот беда, оно же и—ограниченность. Трудно будет с такой палитрой, прекрасной, но ограниченной в цвете, выйти на широкий простор художнических открытий. Уже в первой книге В. Сукачева можно увидеть, как его находки, его маленькие открытия тяжелеют, становятся шаблонными.

Если в рассказе «В той стороне, где жизнь и солнце» мы вместе с Ниночкой удивлялись мудрости тайги, учились у нее, то в рассказе «У реки» те же самые лирические откровения природе вызывают недоумение. Было рассказано о грустной, не сложившейся жизни Назанова, о его взрослой уже дочери, о его жене Марье Владимировне, не сумевшей разделить с ним любовь к тихой реке, привыкшей жить в другой, чуждой для Назанова «городской жизни», а закончено знакомыми нам словами, но не на ту тему сказанными. «Погасли огни в доме, и, словно это от них зависело, удивительная тишина разлилась над миром. Даже река, стремительно несущая свои воды, в эти минуты словно притаилась. Словно она прислушивалась к тайным мыслям человека и хотела ему помочь найти ту, единственную». Вроде неплохо сказано, но какая «единственная», для кого?

Если бы мы обратились к нескольким повестям и романам одного из известных советских прозаиков С. Залыгина и попробовали проанализировать их с точки зрения стиля, мы бы обнаружили, что картину стиливого единства составить не так-то просто. В «Соленой пади» мы можем встретить такие кондовые словечки как «допрежь», «загодя». В повести «Оська — смешной мальчик» их нет и в помине. Там нагнетание терминов, «суперинтеллектуальный лексикон». Очевидно, обращение к разному жизненному материалу требовало от писателя и разных художественных средств. Тему колхозного строительства и тему НТР, конечно же, нельзя писать одними красками. Да, но как же в таком случае найти след творческой индивидуальности? Будем думать, что в данном случае она залегает на большей глубине.

Человек от земли, близкий природе, исследуется и В. Кореневым, но уже по-другому. Сам мир природы у него не необятный и мощный, как у В. Сукачева, а имеет определенные границы, начало и конец. Героя поражает ее защищенность, уязвимость. Но вместе с тем он не забывает о ее материальной сути. Природа — это источник, из которого мунгумуйские рыбаки черпают пищу насущную. («Красная рыба»)¹. Своей повестью В. Ко-

ренев утверждает трезвое, хозяйское отношение к ней. Инспектор Домрачев понимает, что запрет на лов красной рыбы — мера крайняя, но мера, вызванная необходимостью. Но он знает и то, что, отобрав у односельчан право на промысел, он рушит существующий испокон веков способ существования — жить рыбой. И мы по-человечески понимаем Домрачева, который идет на компромисс с профессиональной честностью, разрешая некоторым из рыбаков поставить сеть. «...Степке-то Лукьянову можно было одну-две тони сделать все-таки дома у него семеро по лавкам. Артюхе Жилину тоже разок по сплавать, много ли получает старик-то в колхозе, а семья у Артюхи немалая. Шаталаеву бы еще... Старик сызмальства на кету ходил. Как ему без кеты?..»

В. Коренев создает острую драматическую ситуацию. Конфликт составляют два полюсных отношения к миру природы: бездумно хищническое и бережливое, хозяйское. Но в самом разрешении конфликта писатель допустил немало психологических неточностей, поэтому нельзя сказать, что поставленную художническую задачу он решил в полной мере. Махровый браконьер Гошка в начале повести предстает хотя и зверем, но очень осторожным: и хитрым. И вот вдруг Гошка стреляет в милиционера. Он же, конечно, знает, что от ответа ему не уйти. Есть намек на то, что Гошка совершает преступление в момент нервного возбуждения, в аффективном состоянии. Но намек, вероятно, мало, разрешается конфликт мелодраматично. Юный милиционер убив, но раненный в руку Домрачев связывает вооруженного матерого бандита. Моментально суровый окрик инспектора превращает его из волка в послушную овечку. Несмотря на эти неточно поставленные психологические акценты (они скорее идут еще от неопытности автора), В. Кореневу удалось разработать тему по-своему. А это шаг на пути обретения собственного видения жизни, и это в свою очередь создает основу собственного стиля писателя. Пока же мы можем наблюдать работу над стилем.

Есть неверное понимание стиля. Стиль как печать индивидуальности, проявляющаяся на лексическом уровне. Да, стиль обнаруживает себя на уровне лексики, но не только на нем. Его следы видны и в сюжетостроении (динамическом срезе произведения), в композиции (статическом срезе), наконец, в характере образности повествования.

Если мы проанализируем лексический строй корневской прозы, то увидим в нем немало так модных в литературе последнего времени словечек разговорного плана, словечек исконных. Таких, как: «взопрем», «свербило», «ядренный». Рисуя людей, близких природе, писатель имел, конечно, свой «резон». Но вот когда на страницах повести мы встречаем такие словосочетания, как «ужались тени», «ему избытку нет», «мозжение охватило тело» или

¹ В. Коренев. Красная рыба. «Дальний Восток», 1975, № 9, 10.

«ядреется решимость», возникает сомнение: так ли уж необходимы эти словесные изощрения? Не пропущенные через сердце автора, они не становятся его достоянием, его собственными словами. Это искусственное словотворчество, подстраивание под народный лад, конечно же, не помогает ему обрести собственный голос.

На более глубинном уровне следы самобытного, установившегося стиля у В. Коренева тоже заметить не просто. И это само собой разумеется: молодой прозаик в работе, в поиске. Недавно журнал «Наш современник» опубликовал его очерк о строителях моста через Амур «Мост». Здесь, уже в ином жанре писатель использует сжатую, пружинную сюжетную модель, уже знакомую нам по его ранним произведениям. Здесь он зондирует боевым оперативным жанром новые сферы человеческих отношений, здесь его язык, теряя несколько сочность (это и оправдывается жанром), приобретает точность характеристик персонажей, естественность героев.

А. Прихненко в повести «Спасатели» тоже любит и «ведро утра» и полную таинства звездную ночь. Но эта любовь не становится всеобъемлющей. А. Прихненко с одинаковой эмоциональностью живописует природу близ Азовского моря, Камчатки и побережья Татарского пролива. Но природа для него, хотя она выступает очень часто как композиционный компонент повести, не главный объект эстетической оценки. Природа везде по-своему хороша и лучшая там, где твое дело, твоя работа. Тем не менее автор порой находит для нее свежие краски: «Как пахнет океан на рассвете — густая соль и только что располосованный надвое матерый арбузище!»

Здесь мы узнаем героя первой книги

А. Прихненко, который умел слышать, как трепещет лист под ветром, умел видеть в крохотной осенней почке след будущей жизни. В сборнике «След человека» можно найти много общих точек с рассказами В. Сукачева, то же пристальное всматривание в мир природы, то же любовное отношение к ней, есть даже рассказ, близкий по сюжетной канве. «Волшебная ложка», где девочка так же, как и Карысь, соприкоснувшись с природой, раздвигает для себя рамки окружающего мира.

Во второй книге автор найденное переоценивает заново, ищет новые приемы владения формой. Главное, что теперь занимает прихненкового героя, — поиск самого себя. И это знаменательно, ведь и автор ищет себя, свое отношение к миру, свои темы, свои формы отлива образов. Герои В. Сукачева тоже ищут себя, но они определяются больше в нравственной сфере.

Прихненко-Максим Грачев ищет себя в работе. Какая бы она ни была: трудная или нетрудная. В духе горьковских героев Грачев поет гимн труду. Он призывает любить работу всякую, повсе-

дневную, пусть скучную, но нужную людям. Он предостерегает от ложного понимания романтики, которое, как думают некоторые, в бродяжничестве, в поисках экзотики. «Это, в лучшем случае, ложный пафос, и романтика плохая. А истинная — когда и в повседневной жизни находишь радость»¹.

Кажется, правильно все, что говорит Грачев. Но говорить правильно — это еще не все, что требуется от художника. Однажды на письмо одного из авторов, заметившего, что стихи Твардовского зовут на большие дела, поэт ответил следующим образом: «А что касается стихов, которые звали бы человека на большие дела, то не мне, конечно, судить о том, насколько отчетливо в этом направлении звучит моя поэзия. Во всяком случае, я бы не назвал ее зовущей на малые дела. Иной вопрос: насколько зовущей она зовет?»²

«Зовущей ли зовет» проза А. Прихненко? Часто она декларативна. Максим Грачев много говорит о пользе работы, но о том, что он сам работает, только сообщает: «Вот это была работа! — радуется он, — всю жизнь бы так, чтоб не чувствовать времени. Этого, кажется, я и искал. Правда, не так, как хотелось бы, все это кончилось. Но все равно было здорово... Все работали в каком-то едином порыве». Во многих случаях Прихненко дальше плохой очерковости не идет. За гимнами работе он забывает, зачем, собственно, нужна работа, забывает, что работа не самоцель.

Можно прислушаться к Н. Машковцу³, который выделил в прозе молодых поток произведений с развитой публицистической струей, с открытостью, искренностью повествования. Проза А. Прихненко поднята тем же самым плугом, что и проза Е. Мельникова («Угол прицепа»), В. Шапошникова («Вечный путь»), В. Личутина («Обработано — время свадоб») и другие.

В сегодняшней критике раздается много призывов: «Доверие — к сложности», — провозглашает В. Камянов⁴. Страстно звучащий авторский голос, гражданская активность, искреннее желание напоминают М. Чудакова, С. Липсис⁵. Однако хочется согласиться с С. Залыгиным, который говорил, что герой мыслящий необходим нашей литературе. Герой может быть и сложным, и искренним: одно другого не исключает. То есть эти два потока молодой прозы противопоставлять нельзя. Од-

¹ А. Прихненко. След человека. Рассказы. Хабаровск, Кн. изд., 1974.

² А. Твардовский. Не желаю вам легкой жизни, «Юность», 1974, № 5.

³ Н. Машковец. Преодоление литературности. Заметки о прозе молодых. «Наш современник», 1975, № 4.

⁴ В. Камянов. Доверие к сложности. Заметки о прозе минувшего года «Новый мир», 1974, № 3.

⁵ С. Липсис. Молодая проза — молодой герой. «Юность», 1975, № 6.

нако идее противопоставления дает жизнь тот факт, что счастливое сочетание «искренности» и «сложности» встречается довольно редко.

А. Прихненко дает голос искреннему герою. Но задушевного разговора с читателем не получилось, потому что герой рассказывает то, что знает каждый, искренне, прямо, на полном серьезе. Читатель знает, что работать надо хорошо, что в свободном творческом труде счастье, знает он и о популярно изложенных А. Прихненко двух типах романтики, истинной и ложной. Есть в повести и любовная линия, но, увы, она также не выдерживает проверки на сложность. Описание этого необыкновенно сложного чувства автор сводит к манипуляции сильными открытыми словами. «Несчастлив?» Порою уверенно скажешь: да! А в другой раз засмеешься в ответ — счастлив! Потому что верю в настоящее чувство и обязательно встречу Ее». Встреча с ней, конечно, происходит. Пожалуй, эту пикантную сцену можно процитировать: «Я прошел в глубь комнаты, положил на стол кинокамеру. Сел на стул, держа на коленях перчатки, шапку и шарф, изредка, будто страшась чего-то, взглядывал мимоходом на девушку. Она играла — я слушал. Она упражнялась просто, шлифуя, оттачивая, видимо, пройденные недавно вещи. А я слушал — и вдруг таким бедным показался мне мир моей одинокой комнаты. Один и один». По этим двум цитатам можно вычертить график развития чувства героя: ждал, увидел, полюбил.

Исповедь героя не получилась яркой и впечатляющей. В ней много «правильных» слов, но они лишены силы действенности. И дело не столько в форме подачи материала, сколько в содержании. Читатель мог ожидать совсем другое. Во-первых, у героя необычная, экзотическая работа — «спасает» затонувшие суда. Герой — молодой инженер, должно быть, культурный человек. Но о своей работе герой рассказывает как бы с чужих слов, в которые трудно поверить, потому что сам герой порой выглядит анахронизмом. Достаточно послушать рассуждения героя о театре. Что же вынес для себя из храма искусства наш герой, молодой советский инженер? «Слушал «Бориса Годунова». Понравилось. Особенно Шуйский хорош, такая игра! Но больше всего на меня действовала атмосфера театра — покой, торжественность, нарядность. Взгляды девушек и взгляды... на девушек. Чувствовал, как возвращается в меня какая-то утраченная было сила».

Театр в нашей стране стал уже давным-давно массовым, доступным каждому видом искусства. Театр у нас любят и понимают, а ходят на спектакли, конечно же, не для того, чтобы вдыхать аромат духов и ловить «взгляды... взгляды».

Не каждому молодому писателю удается осмыслить всю глубину факта, сопоставить его с другим. Не хватает знания жиз-

ни, чтобы поставить его в определенный ряд явлений. В таких случаях не помогают и формальные поиски. Они приводят к каким-то результатам лишь тогда, когда подкрепляются находками содержательного уровня.

А. Прихненко меняет лирически-плавное повествование, которое мы наблюдали в первой книге, на импульсивное с придыханиями и обрубленными фразами, и кое-где оно отзывается отголоском исповедальной прозы и рубленого телеграфного стиля. Он расшатывает спокойное течение слов, то замедляя его, то переводя в бешеный скач. Автор может описывать мельчайшие подробности, каждый шаг героя. Вот Максим берет полотенце, мыло, идет умываться. Сообщается, что вода была холодная, что приятно освежила. Автор может, пропуская слова, задыхаясь как бы от недостатка воздуха, строчить событиями, «Познакомились. Регулировщик. Кончается служба, сын недавно родился, жена его ждет... Остановил он машину. Она везла сено. Влез на сено — еще два парня лежали там, — и мы добрались до города». Здесь повествование настолько сжато, что становится ущербным и смысл повествования.

Литературная традиция уже накопила немало опыта в освоении так называемой производственной темы. После В. Катаева с его «Временем вперед», после М. Шагинян с его «Гидроцентральной», писавших о производстве как о боли и радости человеческого сердца, после Г. Бокарева с его «Сталеварами» и А. Гельмана с его «Премией», нашедших поворот развития темы, сумевших почувствовать знак времени и движение литературы, конечно, уже нельзя говорить об абсолютной новизне темы строительства Байкало-Амурской магистрали. Когда мы говорим: «производственная тема», — помним: название условное. Говоря о теме БАМа, которая лишь часть производственной тематики, также не забываем об этом. О стройках писали и писали много. Все же масштабы и значение БАМа настолько велики, что создают свою, совершенно особую атмосферу труда, раскрывают по-новому и самого человека,

Нет ничего удивительного в том, что молодые прозаики В. Сукачев, В. Коренев, Б. Машук обратились к новой, пока еще не разработанной опытными мастерами прозы теме, написали о людях, строящих Байкало-Амурскую магистраль¹. Новая тема ставила новые художественные задачи, давала повод к поиску новых средств их решения. Здесь уместно вспомнить слова В. Сучкова, который суть художественно-стилевых исканий определял так:

«...изображение новых человеческих отношений, изображение нового героя, откры-

¹ Повести В. Сукачева, В. Коренева, Б. Машука помещены в сборнике «Великие версты». Изд-во «Молодая гвардия», М., 1976.

тие новых сторон действительности средствами искусства».

Молодой прозе всегда было свойственно выходить первой на разведку новых литературных троп. Вспомним такие имена, как Шолохов, Фадеев. Их первые произведения, написанные необыкновенно рано, возвысились до литературного явления, стали истоками литературных традиций.

Кому как не молодым выходить на разведку новых литературных троп. Ведь и строят БАМ молодые. Им, как и набирающим опыт писателям, предстоит еще многое осмыслить в значении и сути стройки века.

Писатели обратились к новой теме и потому, что знают БАМ не понаслышке. В. Корнев работал на строительстве моста через Амур, В. Сукачев также бывал не раз на стройке века. И сама она, стройка века, шагает по их, дальневосточной земле.

Мы помним первые газетные материалы о первых строителях БАМа. С газетных полос смотрели люди мужественные, романтики, но трезвые, сознательно идущие на трудности и лишения. Для многих из них возвращение до срока домой казалось изменой общему делу. Два молодых героя В. Сукачева — Юрка и Димка — приезжают на БАМ, работают в геологических партиях. Димка находит себя, свое дело, а Юрка уезжает. Вот такая, очень простая схема фабулы. Фабула, конечно, знакома, но ведь решить-то ее Можно тоже по-разному. С первых же строк повести мы узнаем автора, его акварельные краски, его героя, завороченного миром природы. Поначалу мы Юрку «Путаем» с Макаром Чупровым. Ведь и он «ощущает всем нутром своим» родство с ранним утром. И Димка тоже похож на Чупрова. И он любит «просто брести между сопки и видеть, как рядом с тобой бежит в ту же сторону черная речка. А в речке хариус и таймень». Потом мы убеждаемся, что у Юрки отношения с природой сложнее, чем у прежних героев. Тайга оказалась для него будничной, неинтересной. И как результат — случайный выстрел, убитая им лошадь, бегство из геологоразведочной партии.

По повести «Беглец» можно уже судить о В. Сукачеве как о прозаике со своим сложившимся стилем, со своим способом эстетического освоения действительности. В то же время прикосновение к новой теме не проявило нам в писателе новые стороны его таланта. Больше того, его палитра осталась без изменения, хотя тема требовала иных красок, иных героев. БАМ у В. Сукачева — регистрация места действия. Колорит природы, особенности производственных отношений стройки века им не уловлены. Те события, которые произошли на Буре, могли произойти в любом уголке дальневосточной или сибирской тайги, в любой из бесчисленных геологических и изыскательских партий. Ну а в том, что события повести В. Сукачева мог-

ли происходить на Буре, можно даже усомниться. Впервые попавшего на БАМ человека поражают не только остроконечные сопки, необъятная тайга, но и обилие техники, неумолчный шум механизмов. В «Беглеце», как и в ранее написанных повести и рассказах, есть сцены, написанные сложившимся художником. В то же время, обращаясь к теме многообещающей, к благодатному жизненному материалу, писатель не сделал шага вперед, что настораживает. Видимо, нужен был поиск, исследование жизни. Только тогда интересная тема могла обернуться своеобразным ее разрешением.

В. Корнев идет по другому пути. Он не подводит свой художественно-эстетический багаж под печать темы, как делает В. Сукачев. В. Корнев отталкивается от самой действительности. Опыт очерка «Мост», где он писал людей и события, существующие на самом деле, показал дорогу более глубокому освоению темы. Герои повести «Амгунь — река светлая», подобно героям очерка, строят мост. Мост через Амур построен (об этом рассказано в очерке). Теперь стремительный бег железной дороги упирается в Амгунь. Мост через Амгунь построить — такова задача строителей. Но предстоит еще большая сложная работа. Она еще не началась. Как бы воспользовавшись короткой передышкой перед штурмом Амгуни, автор старается разглядеть людей, чьими руками покоряется тайга, усмиряются реки. Писатель далек от лозунгов, от парадных суесловий. Чтобы строить БАМ, мало отдавать ему свою мускульную энергию. От водителя Фомичева он потребовал разлуки с женой и любимой дочерью, тягостных раздумий, переживаний, ведь расставание с женой было не таким, каким оно должно быть в счастливых семьях. Угадываются сложные судьбы у начальника колонны Клюева, бригадира Шалабина. Но БАМ и вознаграждает за преданность стройке. Это радость созидания, это счастливая болезнь — жить стройкой.

В повести «Амгунь — река светлая» В. Корнев, как и в «Красной рыбе», пытается заглянуть в душу человека, говорить его чувствами. Вот это углубленное изучение человека, пристальное внимание писателя ко всем изгибам характера вновь проявились в его прозе. Человек крупным планом, человек сложный со всеми его неустроенностями, привлекает писателя. Путь, по которому идет В. Корнев, подкупает своей тернистостью, за ним будущее, он обещает хорошие всходы. Но пока он мало что дал, и говорить о том, что творческая индивидуальность писателя сложилась, рано. Еще не определилась общая мера для соотношений событийного и психологического в сюжете. Если в «Красной рыбе» сюжет строился на острой фабуле, которая как-то проявляла характеры героев, то в повести «Амгунь — река светлая» действие настолько вялое и замедленное, что «проникновение в чело-

века», высвечивание его характера происходит под давлением, с натугой.

Писателю, подобно актеру, приходится вживаться в роль, жить мыслями, поступками героев. И, чтобы голоса героев звучали искренне, необходимо перевоплощение. Способность к нему, конечно, не дается сразу. Она — результат долгого кропотливого труда. В последней своей повести В. Коренев не избежал многих неточностей в психологии героев. Как и у А. Прихненко, они проистекают, видимо, от недостаточного знания жизни, от недостатка мастерства.

Наиболее обостренный момент повести — мостостроители расстаются с женами: «В боковое зеркальце Фомичев ухватил глазом жену Шалабина — бежит вдоль дороги за колонной простоволосая, поддерживает рукой подол юбки, чтобы не путалась в ногах. Фомичев поддал газу, глянул в зеркальце — не видно Люськи, отстала».

— Не боишься? — спросил он Шалабина.

— Чего?

— Люську одну оставлять. Шустрая она баба...

Шалабин улыбнулся, откидываясь на спинку сиденья:

— Мы сына ждем. Шалабина-младшего.

— Затянули вы что-то с ним.

— У ней не ладится что-то по женской части.

— А...а. А так посмотреть, баба здоровая».

Этот неуместный, пошловатый разговор характеризует героя не с лучшей стороны. Толстокожесть скорее грех, чем добродетель. И ведь вряд ли автор рассчитывал на такой эффект, скорее он добивался обратного. Стройка призвала людей особого качества. Высокой пробы. Строитель — человек душевной чуткости и тонкости: такого героя и хотел показать писатель. При всем его внимании к человеку, он не всегда может говорить его словами, на языке его чувств. Иногда ему мешает общий грех молодых писателей, таких, как А. Прихненко, Б. Машук и многие других, — очерковость.

Знание каких-то отдельных сторон жизни недостаточно, чтобы изобразить правду художественную. Художник всегда должен помнить горьковское: «Факт — это еще не вся правда, это сырье для правды». Разумеется, таких людей, похожих на героев В. Коренева, можно встретить на БАМе, можно встретить и более примитивных. Но вот вопрос — типичны ли они? Художественная правда существует по своим законам. Если писатель не смог трансформировать узнаваемое из жизни в яркий художественный образ, оно становится неубедительным.

В повести Б. Машука «Другие, Лютов и километры», помещенной в том же сборнике, что и последние повести В. Сукачева и В. Коренева, есть прекрасная заметка для конфликта: дорогу можно про-

вести прямо по старой насыпи и в обход. Есть два мнения. Которое из них верно? Писателя могла бы здесь заинтересовать нравственная подоплека двух противоположных инженерных решений. Конфликт бывает в жизни и подсказан ею. Но он не прозвучал в повести и, вероятно, потому что писатель рассказал о нем чисто публицистическими средствами, кратко и чересчур ясно, вместо того чтобы строить на нем всю повесть. Разбитая на несколько несвязанных сюжетно кусочков, повесть рассыпалась. В ней и рассказ связиста, и исповедь Гафурова, и размышления бригадира Стебелькова. Все это персонажи случайные в структуре повести, существующие как самостоятельная единица, а не как часть целого. Автор старается высказать все знания о БАМе. Мы читаем о том, что БАМ — это не только вечная мерзлота, не только тайга с бездорожьем, это трудности, о которых мы и не предполагаем, что на БАМ приезжает много газетчиков, которые скачут по верхам событий. Вспоминается и история станции Бам, 1912 год, отрывочек из стихотворения Некрасова «Железная дорога»: «А по бокам-то все косточки русские». Все эти случайные, бессистемные знания действительности отразились в повести, но они не воссоздали атмосферу колорита стройки. Запоминающимся образом стал только связист Степка Метелкин.

Степка выполнял свою обычную работу, в тихом и безлюдном месте соединял порванные непогодой провода. Сорвался коготь — и Степка слетел со столба. Об этом, о том, как едва живой Степка добирался до людей, рассказывает Б. Машук в нехитром эпизоде. А в нем есть и событие, и большой смысл. Сам герой, поданный ярко, зримо, оставляет впечатление удачной, но случайной находки автора, потому что другие герои вместе с их известными истинами о стройке проходят, как тени, не запоминаются. Начальник участка Лютлов. Познакомившись с ним, мы вспоминаем, что где-то с ним встречались. Оказывается, Лютов во многом похож на кореневского Ключева, а оба вместе они слабая тень «человека со стороны» (И. Дворецкий), наиболее яркого среди череды героев — руководителей производства, крутых, порой безжалостных, но умных.

Лютов Б. Машука и Ключев В. Коренева грубоваты, скупы на слова, но поданы многозначительно. Авторы намекают на то, что за легко обозначенными штрихами должно угадываться выпуклое изображение. Но тот первоначальный импульс, который «включает» читателя на довоображение, оказывается слишком слабым. За ложной многозначительностью стоит тень бледного образа. И для конечного результата, для читательского восприятия все равно, в чем издержки работы художника: неумелое пользование выразительными средствами и неумелый отбор фактов (В. Коренев), скольжение по поверхности

факта (Б. Машук) или первое, второе и третье (А. Прихненко).

Это был один из первых опытов освоения темы, поэтому опытов трудных, не всегда однозначных. Лицо БАМа не проступило, молодые прозаики не смогли передать по-настоящему атмосферу стройки. В чем же она, эта атмосфера? Любая формула тут будет неточной. Но всё же то, что бросается в глаза, даже и не художнику, надо видеть: стройка многонациональная, многоязыкая, стройка, вознесшаяся на гребне НТР, стройка современной, умной, сложной молодежи. Тем не менее нельзя сказать, что для самих молодых прозаиков она совсем ничего не дала. Новая тема у В. Сукачева работала на закрепление уже занятых им позиций, у В. Коренева и Б. Машука обозначилось нащупывание новой формы. Кроме того, у всех обнаружили себя издержки, от которых предстоит еще избавиться.

В литературе нет прямых дорог. По пути восхождения к высотам литературного мастерства могут быть и зигзаги, и отступления назад. Но только в движении прогресс.

Молодые прозаики, о которых шла речь, в большинстве своем не цепляются за найденные кажущиеся ценности. Они выверяют их, подвергают сомнению. Не всегда на их место приходят лучшие или хотя бы равнозначные. Нащупывание художественно-стилевых особенностей не обходится без потерь, и иногда стоит обратиться к прошлому опыту, хотя и опыт у молодых прозаиков небольшой, исчисляется несколькими произведениями.

Порой поиски приводят к надежной с виду, но робкой по существу схеме. И тогда мы констатируем общий грех — легковесность, показ истины в готовом виде, хотя человек приходит к ней через боль, через страдания, как и художник приходит к открытию себя через муки пройденных дорог. Но молодая проза в движении, молодая проза в поиске. А это залог рождения ярких индивидуальностей.



О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

Итак, еще одна новинка — изданные Хабаровским книжным издательством повести Александра Мишкина «Голубые погоны», «Танец с саблями», «Птицы летают без компаса»¹.

Герои этих книг — наши современники из того пласта жизни, который автор отлично знает и наблюдал изо дня в день.

Главные из них — рядовой Иван Степашкин («Голубые погоны»), капитан Андрей Ваганов («Танец с саблями»), пол-

ковник Виктор Потанин и майор Сергей Стрельников («Птицы летают без компаса»). Они связаны общей направленностью в развитии характера. Во всех трех повестях незримо присутствует еще один наш собеседник — автор, который хочет, чтобы читатель проникся симпатией именно к тем героям, которым сам автор симпатизирует. Он отдает каждому из них что-то от себя: Степашкину — свое образное видение мира; Потанину — свои мысли об основных принципах обучения и воспитания воинов.

Степашкин — еще в том возрасте, когда выбирают, кем стать. Он находит свое место — у самолетов: «Иван смутно ощущал, что все прошлое отсеклось и уносило далеко назад, и жизнь странным образом переначивалась, обретая еще неведомый, но очень значительный смысл. Теперь он накрепко был связан со множеством людей, которые были связаны с ним. И все вместе они одной ниткой были связаны с крылатыми машинами».

Хорошее это ощущение — быть крепко связанным со множеством людей — пришло к Степашкину не сразу; «неярко и угловато начиналась у Ивана армейская жизнь». Пришел в школу авиационных механиков обыкновенный деревенский паренек. И автор пристально всматривается в него: как он поведет себя в круговерти армейских буден? За этим вопросом встанет другой, еще более значительный: кому сегодня Родина доверила оружие, кого назвала своим защитником?

Чтобы полнее ответить, автор прибегает к приему противопоставления, в одном эпизоде за другим показывая, к чему Степашкин тянется и от чего он отказывается.

Восхищается Иван подвигом летчика-фронтовика, сержанта Петрова, погибшего в неравной схватке с врагом. И Степашкин причастен к тому, что память о героическом фронтовике живет. Это он, Иван, вместе с товарищем нашел в лесу остатки самолета. Раскапывали их всей школой, писали в Москву, в архив Вооруженных Сил, чтобы узнать имя героя.

Способный сердцем понять, что подвиги во имя Родины — соль, суть человеческих действий, что в них проявляется красота и целостность характера человека, Степашкин и сам совершает героический поступок, предупреждает летное происшествие. Он оказывается достойным наследником боевой славы отцов.

Среди тех, на кого Степашкин хочет походить, — лейтенант Климов, сержант Ракитный. Это надежные, сильные люди, они умеют думать, любят работать.

Но есть люди, с которыми Степашкину не по пути. Вот и рядовой Коробкин из таких. Это человек, который ничем не хочет делиться с сослуживцами: ни опытом, ни инструментом, ни дефицитными запчастями, которые он выклянчивает и прячет про запас. Зато он навязывает окружающим свои взгляды на жизнь. «Пого-

¹ А. Мишкин. Голубые погоны. Повести. Хабаровск, Кн. изд., 1976.

воришь с Коробкиным — и мысли вразброс», — отмечает Степашкин. Однако он-то быстренько свои мысли собирает.

Удивительно поэтическое, ничем не замутненное восприятие мира у этого солдата. И какие точные сравнения он находит. Самолеты у него «будто к прыжку приготовились». И еще: самолет «отскочил от бетонки и «уселся» в небо». Облака «лохматыми боками начнут стекла кабины вытирать».

Стремится найти свое место в жизни и капитан Ваганов («Танец с саблями»). Но если для Степашкина все только начинается, то для Ваганова служба как будто кончается. Ему, перехватчику, летчику первого класса, по состоянию здоровья предстоит перейти на вертолет. Ситуация сложная, и для самого автора — это этап в его биографии. Ведь, как и Андрей Ваганов, автор мечтал стать моряком, поступил в училище морских летчиков, а потом получил назначение в армейскую авиацию. Служил на Дальнем Востоке. И к самому автору относятся слова, сказанные им о своем герое: «Кувыркался в зоне техники пилотирования, вдосталь наслаждаясь бурной стремительностью, лихим нравом своего короткокрылого истребителя, перехватывая воздушные цели над океаном, метко стреляя по мишеням. А если схватывался с кем в воздушном поединке, то здесь ему равных не было».

Расставание с привычным миром пилота-истребителя было для Ваганова очень болезненным. Но приходит интерес к новой технике.

Постепенно проходит мучительное ощущение личной неудачи, Ваганов познает характер машины, теперь она выполняет все его желания. Что помогло летчику преодолеть кризис? Мужественная мысль: «Нужно быть полезным Родине, в каком бы состоянии ты ни был».

К Ваганову возвращается присущая ему эмоциональная чуткость, он снова углубляется в свое увлечение — сочиняет музыку.

Это качество — эмоциональная чуткость — обязательно для героев А. Мишкина. Впрочем, на первых порах исключением тут кажется Потанин («Птицы летают без компаса»). Но, оказывается, и он постиг высшую гармонию — гармонию человеческого характера.

Потанин убежден, что пилот может поднаться в воздух, только хорошо уладив свои земные дела. «С землей мы корнями связаны, а с высотой — сердцем», — говорит он. — ...Земля — вот мудрая советчица пилота, она летать научит и преданным ей быть обяжет». Он в курсе не только летной подготовки своих подчиненных, но и их семейных отношений. Он помогает молодой паре — старшему лейтенанту Смирнову и Ларисе, лейтенанта Прохорова мирит с супругой. Со всем этим «возится» командир полка, мечтающий о безразмерных сутках. Люди для него — самое дорогое.

Стремясь воспитать настоящих воздушных бойцов, Потанин опирается на требования, которые предъявит современный бой, и на опыт ветеранов. В своей требовательности он кое в чем опережает Курс боевой подготовки. Пара истребителей заходила на цель, точно по струнке, не маневрируя. «Поставь им двойку», — сказал полковник Потанин комэску Яшину. Тот же хотел подождать: мол, посмотрим, сколько будет попаданий. «Что мне их попадания? Без маневра они и до цели бы не дошли, зенитки бы их съели», — объясняет Потанин. Но Яшину дорог престиж отличной эскадрильи, и он докладывает, что по количеству попаданий оба летчика заработали по пятерке. Ему не важно, чему в действительности обучены летчики, была бы видимость соблюдена. «Неудовлетворительно ставь», — твердо настаивает на своем Потанин.

И еще один важный эпизод. Важный, чтобы понять принципиальность Потанина и его преданность авиации. У летчиков Смирнова и Анохина было одинаковое количество попаданий, и Яшин поставил им по пятерке. Потанин же распорядился:

«— Смирнову поставь тройку, а Анохину — пять».

— Оценки я ставлю, товарищ командир, согласно Курса боевой подготовки — недовольно произнес Яшин.

— Что мне Курс? Я не против Курса. Но Смирнов же пятый год бьет по мишеням, у него первый класс на груди, а Анохин недавно училищный аэродром покинул. Что же их приравнивать будем?»

Мишкин не возвеличивает своих героев. Их возвышает само дело, благородная цель, общая для авиаторов всех званий и должностей — сохранить небо нашей Родины чистым. Точно избранная цель облагораживает и образ жизни и самих людей.

Напутствуя молодого писателя в дорогу, хотелось бы еще сказать вот о чем. Мы не случайно назвали его героев нашими собеседниками. Автор вводит нас в поток их мыслей. Размышлений в книге много. А вот динамики, действия иногда не хватает. Не потому ли, что автор склонен к повторениям (так, герои разных повестей — Степашкин и Стрельцов — отказываются от надуманной любви)? Хочется верить, что в дальнейшем в поле зрения А. Мишкина попадут еще более значительные события, более зорким станет его взгляд на отношения людей, и он отобразит в своих новых произведениях широкий поток жизни с ее разнообразными и порой противоречивыми явлениями.

Удивляет несколько оформление книги — странный рисунок на обложке: погруженный в раздумья некий тип в лоскутном одеянии. По всей видимости, это капитан Ваганов. Но разве он сколько-нибудь похож на советского офицера! Как только мог художник А. Посохов так «преломить» в своем воображении созданный ав-

тором образ, обрядить его в нечто обвисшее?

Книга «Голубые погоны» в целом — несомненная удача автора. Она правдиво изображает жизнь современной армии, советских воинов.

А. МОСКАЛЕНКО



СЕВЕРНАЯ ЛЕНИНИАНА

Под руководством ленинской партии, при активной помощи великого русского народа малые народы Крайнего Севера пережили целую эпоху своего национального возрождения, приобщились к осознанному и активному историческому творчеству по строительству нового, разумного, справедливого и гуманного общества — социализма.

Естественно, что все эти народы, обретшие при социализме подлинно человеческую жизнь, с чувством глубокой любви, благодарности и признательности относятся к русскому народу, Коммунистической партии, к вождю народов — Владимиру Ильичу Ленину. С именем Ленина они связывают все светлые преобразования в своей жизни, свои успехи в творческом, созидательном труде. Они видят в Ленине прежде всего мудрого человека, который понял их нужды, пришел им на помощь, принес им свет и радость. Поэтому не случайно опозитизированный образ В. И. Ленина занял огромное место как в художественном фольклоре народов Севера, так и в его литературе и искусстве.

Магаданское книжное издательство выпустило в свет книгу Юрия Шпрыгова «Северная Лениниана»¹. Рекомендую книгу читателям, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор М. Г. Воскобойников пишет: «Северная Лениниана» — это первая книга, в которой магаданский литератор, кандидат филологических наук Ю. М. Шпрыгов, обобщая ряд работ других авторов, вносит многое свое, новое, убедительное в такую столь актуальную проблему, как создание образа Ленина в литературе народов Крайнего Севера».

В главе «Рождение северной Ленинианы», которой открывается книга, Ю. Шпрыгов подробно останавливается на проблемах создания Ленинианы в целом в советской литературе. Он пишет, что «создание образа В. И. Ленина в художественной литературе — задача не только большой общественной значимости, но и огромной эстетической и философской сложности, потому что личность Ленина наиболее полно воплотила в себе идеалы и содержание

революционной эпохи, эпохи перехода от капитализма к социализму, и потому что эпический и многогранный образ вождя революции можно создать только при условии глубинного отражения самих революционных событий».

Свой рассказ о северной Лениниане автор начинает с того, как был воспринят образ Ленина северными народами в первые годы Советской власти. Этим народам была нужна самая срочная помощь. И по личной инициативе В. И. Ленина русский народ, партия протянули руку братской помощи народам Севера и спасли их от гибели, а затем и привлекли к активному социалистическому строительству.

Вот об этой бескорыстной помощи Советской власти народам Севера, благодарные северяне рассказывали в своих первых легендах и сказаниях. В народной фантазии Советская власть, партия коммунистов, русский народ персонафицировались в образе могущественного богатыря — Ленина, который, подобно герою древнегреческой мифологии Прометею, принес людям свет и тепло, принес им радость и счастье. С другой стороны, уже в этих первых легендах о Ленине северные народы пытались и реально осмыслить образ вождя, осмыслить то, как это Ленин смог так хорошо узнать о их жизни, их бедах, их мечтах и чаяниях. Так стали создаваться новые легенды, в которых Ленин предстает перед нами уже не в виде сказочного великана и богатыря, а как простой, умный и добрый человек, который сам побывал в северных краях, близко познакомился с жизнью местных народов, узнал о всех их нуждах и протянул им руку братской помощи.

Естественно, что самый богатый фольклор не мог все же дать реального представления о Ленине: он выражал лишь наивную и трогательную любовь к Ленину, реальный образ которого призван был воссоздать уже не фольклор, а письменная литература северных народов.

Как известно, в 1925 году впервые девять представителей малых народностей Севера были направлены на учебу в Ленинград, где тогда были созданы вначале рабфак, а затем Государственный институт народов Севера и северные отделения при педагогическом институте имени Герцена, из стен которых и вышли первые поэты и писатели тайги и тундры,

С этого и начинается новая страница в создании северной Ленинианы, ибо уже среди первых представителей этих народов, получивших образование в Ленинграде и посвятивших себя литературному творчеству, не было ни одного, который не стремился бы в своих произведениях, опираясь прежде всего на фольклорные мотивы, а затем и на опыт русской советской литературы, воссоздать огромный, волнующий образ Владимира Ильича. Зачинателями северной письменной Ленинианы были такие представители младописменных литератур, как Николай Вылка,

¹ Ю. Шпрыгов Северная Лениниана. Магадан, Кн. изд., 1975.

Федор Тынэтэҕын, Аким Самар, Никита Сахаров, Алексей-Платонов, Матра Вахрушева, Иван Истомин.

С каждым годом в поэзии младописьменных народов Севера все отчетливее начинает звучать совершенно реально осмысленная тема о роли Ленина в тех глубоких преобразованиях, которые произошли и происходят в тайге и тундре.

Обстоятельно знакомя читателей с поэтами Севера — зачинателями северной Ленинианы, Юрий Шпрыгов отмечает их художественную незрелость, известный схематизм и декларативность, чрезмерную приверженность к фольклору. В то же время он совершенно справедливо замечает, что, «выражая мысли и чувства своего народа, первые творцы северной Ленинианы в лучших произведениях сумели запечатлеть отдельные черты облика вождя, показать глубокий след, оставленный им в жизни и сознании народов тайги и тундры».

Основной раздел книги занимает глава: «Современная поэтическая Лениниана народов Севера».

Если в ранних произведениях поэтов Севера главной темой была тема сопоставления прошлого и настоящего, то теперь главной темой северной поэзии становится тема дружбы и братства всех советских народов. Теперь в северной поэзии Ленин предстает перед нами уже не в образе легендарного сверхбогатыря, а прежде всего он выступает как идейный вождь и вдохновитель народов в их борьбе за создание социалистического общества, общества дружбы и братства людей труда.

Появляется новая, большая плеяда талантливых писателей и поэтов, произведения которых становятся достоянием не только советских, но и зарубежных читателей. Называя имена писателей чукчей Юрия Рытхэу и Антонины Кымытваль, нанайцев Григория Ходжера и Андрея Паскара, эскимосов Юрия Анко и Таисии Гухувье, нивха Владимира Санги и многих других представителей литератур манси, юкагиров, ненцев, эвенков, Юрий Шпрыгов отмечает, что эти писатели, развивая в своем творчестве ленинскую тему, осмысливают ее прежде всего как тему «единства, дружбы и братства всех народов нашей социалистической Родины... Это, — подчеркивает он далее, — осмысливается как претворенный в действительность завет великого Ленина, подается как политическая и нравственная норма нашей общественной жизни».

Среди поэтов Севера, в творчестве которых образ Ленина предстает перед нами в новом свете, автор книги справедливо выделяет чукотскую поэтессу Антонину Кымытваль. Кымытваль обладает своим, оригинальным, неповторимым поэтическим голосом, ее раздумья о Ленине отличаются большой глубиной, своеобразием, силой поэтического обобщения.

Органично в северную Лениниану вошли и раздумья поэтов Севера о Комму-

нистической партии, созданной Лениным, ее великих делах и свершениях. Эти думы хорошо выразил еще один из зачинателей Ленинианы эскимосский поэт Юрий Анко:

Не бойся тьмы! Чтоб в дороге помочь,
Чтоб нам в торосах навек не уснуть, —
В полярную непроглядную ночь
Партия Ленина осветит наш путь...
Партия нас оградит от беды,
Для партии — невозможного нет:
Партия скажет — и тают льды,
Партия взглянет — и всюду свет...

Мысли о единстве народа, партии, Ленина проходят и через многие другие произведения поэтов и прозаиков Севера, созданных в последнее время.

Нам думается, что Ю. Шпрыгов не совсем мотивированно и оправданно выделил в отдельную, заключающую книгу главу Такую, как «Ленинская тема в прозе Юрия Рытхэу». Фактически материал этой главы органично вливается в основной раздел книги, так как разделить поэзию и прозу Рытхэу нельзя. Это талантливый писатель, в творчестве которого синтетически, неразрывно связаны элементы самых различных жанров художественной литературы и публицистики. И, пожалуй, ленинский образ в его прозе как бы только дополняет, расширяет наши представления о ленинской теме в целом в его творчестве.

Следует тут же отметить, что Ю. Рытхэу в своем становлении как художник слова прошел типичный для многих других представителей младописьменных народов литературный путь.

Анализируя творчество многих представителей северных литератур, плодотворно работавших над ленинской темой, Ю. Шпрыгов совершенно справедливо замечает, что на них еще лежит печать недостаточной художественной зрелости, в их творчестве еще много дидактики, отмечается определенная узость тематики и недостаточно глубокое проникновение в явления действительности, которые нас окружают. Все это, как справедливо замечает автор, объясняется тем, что поэтическая Лениниана народов Севера — явление молодое, которое еще находится в процессе своего становления и развития «Однако, — замечает он тут же, — за сорок лет своего существования северная поэтическая Лениниана совершила заметную идейную и творческую эволюцию, в процессе которой поэты тайги и тундры внесли собственную страницу в советскую многонациональную Лениниану, смогли передать частицу безграничного чувства любви и уважения своих народов к Ленину, довести до нас их сокровенные мысли и глубокую память о вожде революции, показать его огромную роль в возрождении народов Севера, в пробуждении их самосознания, развитии просвещения, культуры и в строительстве новой жизни».

Книга Ю. Шпрыгова, безусловно, интересна и полезна. Но здесь нельзя обойти и ее недостатки. Прежде всего она выглядит как бы еще незавершенной и воспринимается лишь как фрагмент будущего капитального исследования очень важной темы. Тема Ленина в фольклоре и литературе народов Севера очень велика и глубока, она требует серьезных исследований и глубоких обобщений. Ведь речь-то здесь идет о спасении от вымирания и возрождении к жизни, к творчеству целых народов!

Рассматривая книгу Ю. Шпрыгова в этом плане, следует сказать, что она отличается еще композиционной рыхлостью и нуждается в более тщательном редактировании. Следует отметить, что и Магаданское книжное издательство не проявило должного внимания к изданию книги на столь важную и ответственную тему, книга выглядит внешне как сделанная наспех рядовая брошюра.

В то же время Ю. М. Шпрыгов, несомненно, проделал уже немалую работу над избранной темой и стоит на верном пути.

Н. БУТЕНКО.

■ ■ ■

НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ-

ДОВОЛЕНКА

После сборника рассказов, которым Александр Плетнев впервые заявил о себе в 1973 году, мы ждали от своего земляка, шахтера из города Артема, новых произведений. И его первая повесть «Дивное дело»¹ не обманула ожиданий: перед нами произведение, поистине радующее. И радуется оно не ахти какими дивными делами, запавшими в память подростка и рассказанными уже человеком возмужалым. Однако и в этом кроется секрет интереса, с которым повесть читается: ведь совсем не просто для автора — воспринимать мир с непосредственностью мальчишки, а объяснять его с мудростью взрослого. А все в повести именно так.

«Нашу Доволенку потрясали одно событие за другим». А потрясающие события, с точки зрения их свидетеля, — это пригон в крохотную («баба сядет, прикроет») деревеньку первого гусеничного трактора весной 1941 года, затем появление в районной газете стихов Ивана Раздолинского, сына свинарки Матрены. А дальше... война! — с нелегкими трудовыми днями и тяжким грузом печалей, когда из дали дальней в шесть тысяч километров, «как снаряды, летели похоронки и всегда точно, без промаха». И «сдрогалась крошка Доволенка, кричала бабьими голоса-

ми»... Словом, о деревне, о людях деревни, как они растили хлеб и поэтов, рассказывается в повести. И рассказывается, повторяем, так, как наблюдал и переживал события мальчик Сережа Журавлев между своими девятью и четырнадцатью годами.

Повесть небольшая, а пересказать ее трудно и боязно: ну как сбережешь языковое ее чародейство и тихий, неброский юмор самой плотной концентрации — порою в сто улыбок на страницу? Вот хотя бы «дивное дело», связанное с сыном свинарки. Не щадя себя, учила Матрена сына на учителя, а сама выглядела с ним рядом нищенкой: юбку год не меняет и на ногах «не то сапоги, не то валенки — так густо они покрытаны навозом». И судит деревня об Иване Григорьевиче и так и сяк: сараюшка у матери на одном колу держится, а не чинит; в огороде за месяц еле полгрядки картошки прополол... Зато всю ночь керосин изводит и бумагу: никак «планы составляет» ученые, полагает деревня. И вдруг — стихи в районной газете! Это как давний сибирский метеорит потрясло и поразило Доволенку. «Произошло что-то неслыханное», — фиксирует детская память. «Я Пушкина читал и портрет его видел в книжке, а теперь... Но ведь Пушкин — человек или бог?.. Разве мыслимо такое, чтоб он... полол картошку?.. Я был ошеломлен и ничего не понимал». Зато много поняла деревня, даже больше, чем надо: «Кто породил? А? Вот, она, земля наша.... Такое семя может не одну сотню лет зреть для всхода. И вот — взошло! При нас». С этим соглашались. Действительно, «дело-то это дивное», «крути не верти, а не от мира сего человек, тайну какую-то имел». И заговорила вся Доволенка: «Пает, пает». Припомнили, что «будто писателям статуй ставят. Ну-к, как у нас Григорьичу отгрохают». Вот только «из чего», озаботило дотошных: «у нас ведь чернозем — каменьев нету. Из глины не поставишь: дощ — и поплыл». Дошло и до матери: «Ему, тетя Моть, статуй будут ставить». — «Какой статуи?» — у нее даже тряпка выпала из рук. — Это чучелу, что ль?..» А поэт между тем дозревал и потом на фронте, где и он командовал взводом, от его стихов души обострялись у воинов — «прямо хоть сразу в бой».

И все же главное д и в о не в тракторе, не в стихах, всколыхнувших людей на время. Для нас, читателей, поистине дивное дело — удача автора в воссоздании образа среды, образа трудовой Доволенки с ее ролью в общенародном подвиге тех лет.

Тема деревни — извечная тема, но для оригинального писателя она всегда литературная целина. И все дело в том, где прошло писательское перо, какие пласты доподлинной жизни подняло. Мы привыкли встречаться в так называемой «деревенской прозе» с постановкой социально-экономических проблем, проблем руководства сельским хозяйством и т. д. В повести А. Плетнева этого нет, и нет даже обыч-

¹ А. Плетнев. Дивное дело. Повесть. «Октябрь», 1975, № 8.

ной «расстановки кадров». В Доволенке совхоз. Но кто в нем директор или хотя бы управляющий, кто над кем бригадирствует, мы не знаем. Заметнее только Максим Нилыч по его властным распоряжениям на сенокосе или севе (где из-за отсутствия борон плохо заделывались семена): «Да хоть пальцем втыкай каждую зернинку, хоть задницей елозь», а не то «самого в землю зарую». Но кто он, Максим Нилыч Миронычев? Просто «дядя Максим». Эти неясности со штатным расписанием героев объясняются тем, что мальчику Сереже до этого не было дела. Он и свою принадлежность к пионерии открыл только случайно, когда вымаливал книгу у тети Моти, клянясь, что, «честное пионерское», не порвет. Кроме того, и время было... не для проблем. А началась война — «выпустили» Доволенка: от всех ее 26 дворов ушло 27 человек, а вернулись пятеро покалеченных. Да в первые же дни шупальца вредительства истребили (под предлогом сапа) главную тягловую силу — лошадей. Тут, как видим, возникали свои проблемы — кому работать, на чем и как, чтобы Родина выстояла. В Доволенку этих дней и вглядывается пристально автор, все пропускает через сердце и воспроизводит правдиво, вдохновенно главное богатство деревни — людей. Все они для Сережи рядовые, родные, советские. «Богатые мы, как бог свят, богатые», — итожит в конце дядя Максим, имея в виду именно душ золотые россыпи.

И вот они проходят перед нами. Сережин отец, это он приводит в деревню первый гусеничный трактор. Потом воевал. Вернулся с поврежденным позвоночником и снова на ЧТЗ. От страшных болей не сядя, а стоя трактором правил. И, когда совсем немощу, «оголяя спину, ложился на холодную пахоту». Семен Кроликов вернулся без левой ноги. Митяй Занозов — без правой. Горьки их шутки, но юмор, даже если источник его печаль, — свидетельство неискоренимого оптимизма народного характера, оптимизма несокрушимо противостоящего самым роковым невзгодам. А через какие драматические перипетии проходит жизнь молодых! О Косте — трактористе — молодайки перекидывались: «Огонь — парень». А Костя свое нравственное кредо хорошо выразил частушкой: «Мне не надо пуд гороху — одну горошину. Мне не надо много девок — одну хорошую». А на хорошую претендуют двое. Ну соперник ладно бы, да в конечном-то счете решать все же Лиде, благоклонной, кажется, к «паету».

Судьба беспощадно усугубила ситуацию, когда недогоровший в танке Костя вернулся «страхолюдным» или, как сам и представлялся, «Казимодой». «Весь в крестах — медалях, а рожу-то перетянуло секись-накось». Да «на левой руке два пальца были заварены в сплошной комок». Что переживает парень, не выразить словами — поведение выдает. Мальчик Сережа готов был с себя содрать лицо и отдать

Косте... Так для испытания русского характера, знакомого нам по рассказу Алексея Толстого, возникло и тут аналогичное положение, втягивающее и одну беду мать, отца, Костю, Лиду. «Узнаешь красавца?» — гаерствует спяна Костя. — «Да где же тебя узнать, — будто не замечая смысла его вопроса, ответила Лидка, — когда герой героем. — И, вскинув руки, обняла Костю за плечи и прильнула к его губам долгим поцелуем». Не понял солдат, не поверил! Толкуя о своей «неполноценности» теперь, к зарубцевавшимся добавлял свежие раны. И не одному себе. Но торжествует нравственная философия, идущая из самых недр народной жизни: «Что ты заладил: ценный — не ценный! — не выдержал отец. — Мозги не сбили набекрень? Нет. А цену люди положат по тому, как жил да как жить будешь». Так рассудили в Доволенке, богатой истинными нравственными ценностями, а поступили в конечном счете и того лучше.

Не все доволенцы выступают перед нами крупным планом, не всех мы знаем по именам, но мастерское владение словесной живописью помогает А. Плетневу создавать образы людей живыми «до обмана» (как хотел того Горький). В самом деле, взгляните на деда Попова, участника еще гражданской войны. Теперь он в Доволенке вроде «универсама», призванного удовлетворять все потребности жителей: выделяет овчины и кожи, шьет полшубки, мастерит грабли и табуретки. Но стопроцентный молчун: за подделки даже цену на них не могли из него вытянуть. «Клади цену-то... распродыви тебя!» — срывались бабы. Таких старик выпроваживал, и вовсе не взимая платы. Характер?! А кличкой он помечен на деревне «Верхогляд». Похоже, что метко, и вот почему. Ходил он, «заложив руки за спину, в низко надвинутом на глаза картузе. Поэтому голову он задирали высоко, глядел вприщурку поверх земли и людей, будто на земле он оказался нечаянно».

Многообразны средства и приемы живописания героев у А. Плетнева: визуальные портреты, проявление характера в быту, в трудовой обстановке и особенно живая речь персонажей. Если судить о героях повести Плетнева по их языку, то в Доволенке не один Раздолинский вышел в поэты — тут все поэты, умеющие выразить себя образной репликой и словом. У старухи Верхоглядки спрашивают про мужа: «Да у него есть ли язык-то?» И какой ответ: «С контузии это у него, бабоньки, с контузии, Под Омском Колчак бухнул в него из пушки — контузия-то и приключилась». Такую фразу нельзя переиначить. Она, как слиток, сплавленный не тобой, а тебе на удивление Умеют говорить доволенцы. И, главное, не попусту, не на ветер пускают фразы-стрелы. Потому язык их, задиристо-действенный, и осаживает и напутствует: «Григорыч — ученый, и нечего в него пальцем тыкать, когда сам от макушки до подошвы дурак». А злой языко-

блуднице было замечено: «Счас я те, тетя Варя, язык вытяну: охота узнать, какой он — с метр поди будет?». И так всегда в повести: скажет кто свою фразу — и, как жучок-светлячок, высветит себя и другого.

В языке доволенцев немало своих, по-сибирски молвленных слов: «морозища — дыху нет», «ужгу бичом», «звал гусь индюка через реку плысть» и прочие. В других местах такого языка может и не быть, но тут он вполне коммуникателен: «Картошка уже на дыбки взялась, лук прочикнулся». Автор не промывает каждую фразу, не счищает наждаком зазубрины слов, и они оставаясь самовитыми, роднят нас с героями, заводят в их душевный мир. Нет, слова, быющие из речевого родника Доволенки, не мутят наш общелитературный язык, наоборот — они питают его минеральными солями и не дают ему опреститься до дистиллированного состояния.

Из рассмотренного нами группового снимка людей Доволенки стоит особо выделить образ Сережи. Это сквозь его «уши вострые», глаза зоркие и сквозь фильтр его души доходят до нас все остальные. Многими грехами своего характера и судьбой в целом образ Сережи достоин войти в ряд хрестоматийных детских персонажей, что, надеемся, так и случится.

Сережа, это видно читателю, любимец и гордость деревни, хотя «лескают» его и «чертенком косопузым», и «анчуткой грязнолапой», и «рахитным», и «золотушным». Как и всякий ребенок на выходе в подростковую фазу развития, он «весь из вопросов», с которыми и цепляется к людям «ряской-неотвязкой». Естественно его тяготение к тем, кто «больше всех знает». Так он стал другом и старого учителя Николая Ивановича, и «потаенного» поэта Раздолничного. С последним на излюбленном «угорчике» они сажались в разнотравье и... молчали. А в траве «свиристенье и стрекот» постепенно стихали или «становились глухими, невзвучными». «Чего они клещат?» — «Роса. Барабанчики с дудочками у них отсырели.» После таких уроков Сережа навсегда становится поэтом в отношении природы. Как он умеет ее наблюдать и даже вдохнуть в ее живую кипель какую-то организующую фабулу. Доверили мальцу проехать круг на сенокосилке и прогнали, потому что Серьга, видя впереди «какую-нибудь былинку или цветок», хотел, чтобы они «убежали от косы... стал подымать над ними полотно, делать огрехи».

Так природа воспитывала любовь. Любовь к миру в целом и к человеку в нем. «Я не любил и боялся мрачных людей». Злых тоже. Недоумевая, откуда она в человеке, злость И чтоб змеиный язык тетки Варьки не ранил сердце красивой и доброй Лиды, Сережа даже дерзнул однажды залепить ей рот снежком... Заступничества за людей, за птиц, насекомых он ждал и требовал от всех. Когда наш маленький Дон-Кихот подумает, что в каждой избе «по сумрачным углам притаилась

беда, скорбь», ему становилось больно оттого, что не может душой своей, «такой реденькой, продutoй», прикрыть всю Доволенку, все живое в ней. «И открыл бы я их тогда, когда над землей наступили бы теплое солнце, счастье и покой». А пока он плачет, когда плачет (увы! и его любовь!) Лида, и горит вместе с Костей в танке... «Сережа, зачем ты так живешь? — участливо спрашивает Лида, — Посмотри, твои ровесники по-детски живут, свои трудности переносят: работу, голод. Мало разве? Зачем тебе наше, взрослое. Сердце-то... еще слабой воробушки, а ты под беды взрослых плечи подставляешь».

Не только под душевные беды других подставлял свои детские плечи Сережа. Он взваливал на себя и взрослую работу. «Война отняла у меня детство, хлеб, учебу... Зато дала мне недетскую работу, недетские страдания и мечту дала о хлебе, о доброй одежде, о светлых, не замутненных горем днях». В стихию сельского труда Сережу влекло с малолетства. При случае он пробовал рубанок, просился на прицеп к трактору, верхом на Буске подтягивал копны сена. И ему очень хотелось стать косарем: «Это ж всю жизнь можно глядеть, как уходит полотно в густую траву, и она, трава, волной вскипает и ложится сзади ровным покрывалом...» Так было до войны. Война впрягла в работу уже не любопытства ради — в крестьянскую работу, тяжелую, разную: ворошил хлебушко на току, подвозил сено с луга, работал в кузнице. Но сильнее всего им, видимо, на пожизненно вошел в память бык Фомка, запряженный в заляпанные навозом тяжелые, как плот, сани, на которых вместе с Лидой Сергей вывозил навоз.

Так жил в Доволенке наш герой. Жил и хранил в душе жизни ушедших: «Ведь нету, — думал я, — Ильи Махотина, Васьки Занозова, а я есть и всегда в себе слышу их голоса, вижу их лица. Значит, — догадывался я, — хоть немного нужно пожить на свете, чтоб потом жить все время». Вот каким получился под пером Александра Плетнева образ Сережи. И, кажется, ему тоже суждено «жить все время» в памяти читателей.

У этого Сережи есть литературный тезка — Сережа из повести П. А. Павленко «Степное солнце». Там городской мальчик всего один сезон уборки урожая провел в колхозе, и красота юной степи, сердечность жителей составляли одну из самых светлых страниц его жизни. И все же это приобщение к деревне по касательной. Но Сережа рос в Доволенке, и не просто рос — он врос в нее, сформировался ею. «А что где-то там, за пределами? Какие там люди? Может быть... все не такое, как здесь: и роща, и озеро, и степь... Мне было так здесь хорошо...» В судьбе этого мальчика заложен особой силы потенциал — потенциал, воспитывающий нравственную преданность к сельскому труду у читателей-школьников, к которым повесть А. Плетнева, конечно, найдет свою дорогу.

Напрашивается догадка, что если автор повести — не кто иной, как вышедший из Доволенки Сережа Журавлев, то нам понятно, откуда такая достоверность изображенных в повести картин, событий, характеров, откуда такая богатая палитра красок. Автор повести, наверно, вправе сказать о себе словами известного русского писателя Лескова, не любившего «рацей» о том, что народ надо изучать. «Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудировав ее, а живучи ею. Я так и знал его... знал с детства и без всяких натуг и стараний».

Повесть А. Плетнева захватывает не сюжетом (его тонкие, ломкие линии только эпизодически выступают из летописи крохотной Доволенки), она поражает иллюзией правды, выступающей из всего ряда картин природы, быта и полнокровно живущей в языке автора и его героев. Речь повествователя льется поистине на тысячу ладов. В общем-то грустная история вдруг озарится всполохом такого неподдельного лиризма: «Нигде так не поется и не слушается песня, как в степи! Степь не сломает песне крыла, не вернет ее поющим исковерканной, она утает ее, песню, за синь оком и там, в дали дальней, уложит ее, ослабевшую, на мягкие травы». А порой чья-то речь заструится и на лад сказа: «Что шумит? А это дождик-кормилец к завтраму небушко вымоет и травку напоит и в огороде все убожит. И журавлики закричат, возликуют за полем, за лесом, журчатые жаворонки воспоют во славу лету...» И если это счастливые «находки», то находки для читателя, а не для писателя, который так просто, легко черпает их из бьющего родника доволенских златоустов. Характерно, что как в речах героев, так и в языке самого повествователя образные выражения рождаются из наблюдений замкнутого мира деревенской жизни, и потому каждого говорящего видишь в своей речи, как рыбу в чешуе. Оттого и образ деревни в целом проявляется еще резче.

Ничто столько не дает писателю, как сама школа жизни. Кажется, к этому выводу должны нас привести первые несомненные литературные успехи Александра Плетнева. И мы рады приветствовать появление на карте литературы его Доволенки

И. СПИВАК.



ГЛАЗАМИ

САМИХ АМЕРИКАНЦЕВ

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) своим синонимом стало название «Департамент грязных дел». Прогрессивная общественность мира давно разоблачала, клеймила позором подрывную деятельность ЦРУ в различных ча-

стях света, паталогическую ненависть архиреакционнейшего этого учреждения ко всему передовому, подлинно свободному и в образе жизни народов и в мыслях людей. «Тихие американцы», как метко окрестили современных рыцарей «плаща и кинжала», приложили руку везде, где было «горячо» на планете и лилась кровь борцов национально-освободительного движения, жестоко подавлялось стремление народов к свободе, независимости и социальному прогрессу. С тревогой и законными опасениями общественность следит за расширением влияния ЦРУ на общественную жизнь и политику США, недаром о ЦРУ говорят как о «государстве в государстве». Порождение «холодной войны», ЦРУ нынче, в условиях разрядки международной напряженности, становится опорой тех реакционных кругов, которые упорно цепляются за обанкротившуюся политику «холодной войны», хотели бы и дальше балансировать «на грани войны».

Известно, какое множество успокоительных заявлений, деклараций, интервью, инспирированных обеляющих статей официального, полуофициального и частного характера публиковалось по поводу действий пойманных с поличным агентов ЦРУ. Когда невозможным становилось отрицать факты, их соответствующим образом комментировали: говорили о «несчастном стечении обстоятельств» или о «нарушении инструкций», «отступлении от закона». Всячески затушевывалось главное — то, что противозаконной является вся система ЦРУ, сама цель, ради которой создано это гигантски разросшееся учреждение, пожирающее миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Замалчивалось то, что ЦРУ систематически вмешивается во внутренние дела суверенных государств, несет их народам новые беды, новые злодеяния, кровь. Деятельность ЦРУ окутывалась покровом неприкосновенности (с разведкой-де связаны насущные национальные интересы США), среднему американцу она казалась почти священной. Этому способствовала и буржуазная литература, восхвалявшая стопроцентных американцев антикоммунистов, подвизавшихся в ЦРУ.

Однако, как ни обеляли ЦРУ (чаще всего на его же деньги), как ни расписывали «высокие идеалы» сего учреждения, гнойник не мог не прорваться. И вот мир стал свидетелем того, как в буржуазной же прессе, будто из прорвавшегося мешка, посыпались скандальные разоблачения, сенсационные признания бывших агентов и чиновников ЦРУ. Стала известной, конечно, малая часть содеянного за десятилетия, но резонанс получился такой, что официальным инстанциям Вашингтона — комиссии Н. Рокфеллера, комиссиям сената и конгресса — пришлось заняться делами Центрального разведывательного управления. И хотя следователям отводилась чисто служебная роль пожарных, клубы удушливого дыма распространились широ-

ко и позволяли судить о степени опасности «горящего» объекта.

Выпущенный в свет издательством «Прогресс» сборник материалов зарубежной прессы «ЦРУ глазами американцев»¹ дает возможность советским читателям составить себе представление и о разразившемся скандале, и о том, что же такое есть ЦРУ. Не забудем при этом, что официальные заключения, выдержки из которых приводятся в книге, заявления чиновников ЦРУ — бывших и настоящих — являются вынужденными и, приподнимая немного завесу секретности, отнюдь не открывают всей правды. Но и сказанного достаточно, чтобы понять обоснованность тревоги американцев.

«В фокусе темы — Центральное разведывательное управление США, — говорится в предисловии. — 18 000 сотрудников (утверждают, что сейчас их стало 15 000), тысячи агентов различного калибра внутри страны и за границей, миллиардные ассигнования, роскошная штаб-квартира в пригороде Вашингтона — Лэнгли, свыше ста резидентур и опорных баз, тысячи сотрудников, прикрытых дипломатическими, торговыми, журналистскими и иными должностями. По данным журнала «Форин афферс», только в американских дипломатических представительствах за рубежом в 1970 году из 22 тысяч человек персонала 18 тысяч принадлежали к органам разведки и пропаганды».

«Власть ФБР и ЦРУ, — читаем в сборнике, — была абсолютна, непрекаема. Увольнение с работы, гонение, травля, диффамация, а то и просто физическая расправа — таков был и остается удел инакомыслящих, всех, кто пытался предупредить американский народ о растущей угрозе гражданским свободам, о неподотчетности и безнаказанности ЦРУ, об авантюризме его руководителей. Всепроникающая секретность стала синонимом патриотизма, по словам бывшего сенатора Фулбрайта, «божеством, а люди, приобщенные к секретам, образовали своего рода братство...»

...Трагическим финалом была развязанная американским военно-промышленным комплексом вьетнамская война. ЦРУ и военщина из Пентагона дезинформировали общественность о подлинном положении дел в Южном Вьетнаме... На совести ЦРУ и Пентагона, как и тех, кто внимал им и поощрял их, десятки тысяч американцев, сложивших головы в Индокитае».

Рост антивоенных настроений в США, потепление международного климата и разрядка напряженности, достигнутая благодаря усилиям Советского Союза и всех миролюбивых сил, побудили многих американцев более трезво взглянуть на деятельность ЦРУ, попытаться преодолеть завесу секретности. И американцы, свято веровавшие в «билль о правах», узнали, что

у них дома права человека попираются самым грубым образом: их почта вскрывается, разговоры подслушиваются, в дома производятся вторжения без ведома хозяев, обыски, распространяются порочащие людей слухи. В практике ЦРУ — убийства политических противников, похищения людей, вооруженные вторжения банд наемников на территорию суверенных государств, подкуп правительственных чиновников, наконец, свержение неугодных правящим кругам США правительств.

Читаешь материалы об истории втягивания Америки во вьетнамскую войну, о пресловутом деле «Уотергейт», где действовали взломщики из ЦРУ, о внедрении осведомителей и провокаторов в прогрессивные организации и профсоюзы США и за рубежом, о накопленных сотнях тысяч досье на прогрессивных деятелей, наконец, о «едином подходе для подавления беспорядков внутри страны» (это в самих-то США!) — и понимаешь «самокритичность» мистера Колби, директора ЦРУ, когда он вынужденно признает: «во многих местах слова «американская разведка» ассоциируются с чем-то грязным». Еще бы!..

Главы книги «Свободная» пресса», «Родственные души» свидетельствуют о том, как широко ЦРУ внедрилось в органы информации, прежде всего в самих США и странах НАТО. «ЦРУ, — читаем мы, — приступило к подкупу журналистов, работающих в таких агентствах, как Рейтер, Франс Пресс, Синьхуа, и персонала десятков газет в различных странах мира. Эти иностранные журналисты использовались в основном для опубликования фальшивых и вводящих и заблуждение материалов». ЦРУ были нужны послушные воле разведки газеты, журналы, целые издательские компании, и такие люди, такие органы печати, радио и телевидения были найдены, щедро субсидировались. Причем большинство сотрудников этих газет, «свободных журналистов», даже не подозревало о том, что они работают на ЦРУ.

Пользуясь своей неподотчетностью, ЦРУ создавало в США и за границей собственные предприятия и фирмы для осуществления своих коварных замыслов. Таковыми частными якобы организациями, на деле принадлежащими ЦРУ, являются известные своей провокационной деятельностью радиостанции «Свободная Европа» и «Свобода», созданные ЦРУ на территории ФРГ в начале 50-х годов. «Все ключевые позиции, — сообщала американская печать, — на обеих радиостанциях занимали сотрудники ЦРУ, которые и принимали все важные решения, касающиеся программ передач и работы радиостанции». ЦРУ в настоящее время владеет крупнейшим в мире «коммерческим» воздушным флотом, на самолетах которого производится не только заброска на чужие территории диверсантов и шпионов, оружия, но производится бомбежка, высадка вооруженных десантов и прочее. ЦРУ принадлежат такие «частные» авиакомпании, как

¹ ЦРУ глазами американцев. Сборник материалов зарубежной прессы. М., «Прогресс», 1976.

«Эйр Америка», «Эйр Эйша», «Сивил эйр транспорт» и многие другие. В интересах ЦРУ используются филиалы американских фирм за границей.

«ЦРУ использует американских предпринимателей для прикрытия и в качестве каналов для связи, а процесс тайной передачи денег и оружия делает необходимым поддержание дружественных отношений с банковскими учреждениями, создание «частных» авиатранспортных компаний, использование профессионалов для подделок и похищений», — спокойно констатировал журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин» 21 декабря 1975 года.

А вот еще одно свидетельство американской прессы: «ЦРУ вручало студентам американских колледжей тысячи долларов из своих фондов в целях сбора военной и другой разведывательной информации и направляло их в СССР и другие страны в качестве туристов. Другие американские студенты засылались ЦРУ с подрывными целями на международные молодежные фестивали, в частности, в Вену и Хельсинки».

Возник более чем странный союз: Центральное разведывательное управление и преступный мир. «Существуют вещи, — деликатно заметила по этому поводу «Нью-Йорк таймс», — которые может делать преступный мир и которые ЦРУ не может делать или от которых оно воздерживается». Так, гангстеры нанимались и посылались ЦРУ на Кубу, во Вьетнам, всюду, где требовались убийцы, взломщики, специалисты по похищению людей. И это считалось в порядке вещей. Полковник ВВС в отставке Флетчер Праути, бывший офицером связи между Пентагоном и ЦРУ, поясняет: «Вы должны рассматривать ЦРУ и организованную преступность как две огромные концентрические окружности, охватывающие весь мир. Окружности неизбежно перекрывают друг друга в некоторых местах». В материалах сборника читатель найдет данные о контактах ЦРУ с мафией, о найме бандитов-мафиози для разгрома прогрессивных профсоюзов, срыва стачки докеров в Марселе и т. п.

Тайные операции ЦРУ — один из тех разделов сборника, который привлечет особое внимание читателей. Тут говорится и о способах проникновения агентов ЦРУ в закрытые районы и зоны, методике проведения диверсий, приемах по «ловле душ». Список стран, в которых проводились эти тайные операции, охватывает несколько континентов Тут и страны Азии, Африки, Латинской Америки, тут и Европа. «ЦРУ долгое время поддерживало и не полностью дискредитированный бывший режим греческих полковников, — сообщает «Крисчен сайен монитор». — Самос худшее из деяний режима — это государственный переворот на Кипре против архиепископа Макариоса, который... вызвал волну террора, интервенцию турецких войск на Кипр и нарушил принципы мирного со-

существования между греками и турками на Кипре, складывавшиеся на протяжении целого поколения».

Крупнейший скандал в связи с вмешательством ЦРУ разразился в 1976 году в Италии. Кстати, один из директоров ЦРУ — Колби — в течение долгого времени работал в Риме как руководитель американской секретной службы в Италии. Эта страна всегда была в фокусе интересов ЦРУ в силу ее стратегического значения и положения в НАТО, а главным образом из-за опасения, что к власти в стране придут левые силы. ЦРУ в широких масштабах проводило субсидирование «некоммунистических» партий в Италии. То же самое можно наблюдать в Испании, Португалии, во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Одним из элементов политических операций ЦРУ являются пропагандистские кампании. Их назначение — подготовить нужное американской разведке «общественное мнение» путем создания обстановки страха, неуверенности, возмущения, разброда и слабости. Для этого ЦРУ использует газеты, радио, телевидение, листовки, фальшивые документы, организует экономический саботаж, сеет панические слухи. Так было, например, в Чили, где правительство Альенде подвергалось одной атаке за другой, пока ЦРУ и местной реакции не удалось осуществить фашистский переворот.

«Директор ЦРУ заявил конгрессу, — писала газета «Нью-Йорк тайме», — что с санкции правительства Никсона с 1970 по 1973 год было израсходовано более 8 миллионов долларов на тайную деятельность ЦРУ в Чили, призванную лишить президента Сальвадора Альенде Госсена возможности управлять страной... А пока ЦРУ занималось этим, правительство США сокращало субсидии Чили в рамках программы помощи иностранным государствам в виде займов. Товарные кредиты на приобретение остро необходимого чилийцам зерна тоже были резко ограничены».

Читатель найдет в книге данные об осуществлении скрытых действий и в других странах. «Кермит Рузвельт организовал в 1953 году в Иране путч, в результате которого Моххамед Моссадык был сброшен с поста премьер-министра. Переворот в Гватемале в 1954 году был также организован ЦРУ. Менее успешной была попытка свергнуть в конце 50-х годов индонезийского президента Сукарно». И далее: «Финансируемые ЦРУ вылазки на Кубу групп кубинских эмигрантов продолжались вплоть до середины 60-х годов, хотя по масштабам они были и меньше, чем высадки в заливе Кочинас». ЦРУ в Лаосе «своей деятельностью фактически привело США к крупному военному вмешательству». Лаосская операция стала «одной из самых крупнейших и самых дорогостоящих в истории ЦРУ: в частную армию ЦРУ было завербовано более 35 тысяч человек из племени мео и других горных племен Лаоса». Когда от тайной армии толку

стало мало, ЦРУ завербовало и финансировало еще более 17 тысяч наемников. Кровавыми делами отмечена деятельность ЦРУ во Вьетнаме. Только во время одной операции «Феникс», проводившейся ЦРУ, было уничтожено 20 тысяч человек гражданского населения.

И не успели отгреть залпы войны в Индокитае, как ЦРУ немедленно ввязалось в очередную военную авантюру в Анголе. Более 20 миллионов долларов, главным образом от ЦРУ США, было израсходовано на вербовку английских и прочих наемников для войны против народа Анголы. Известно, каким скандальным провалом закончилась эта затея.

В арсенале ЦРУ исключительно большая роль отводится пропаганде и дезинформации. По данным американской печати, на эти только цели ЦРУ израсходовало более миллиарда долларов. Что же представляют собой пропагандистские операции ЦРУ? «Иногда это означает просто сообщение публике истины (что именуется «белой» пропагандой), в других случаях используется смесь правды, полуправды и некоторого искажения истины, чтобы изменить взгляды населения («серая» пропаганда), нередко распространяется открытая ложь («черная» пропаганда), сопровождаемая отдельными правдивыми или полуправдивыми сведениями. Распространяется все это при помощи самых современных средств — газет и журналов, книжной продукции издательств, радиопрограмм и программ телевидения, лекций, диспутов, специально изготовленных «научных» трудов и т. п. На службе ЦРУ находятся подставные организации вроде Международной литературной ассоциации, органы эмигрантской прессы «Посев», «Русская мысль» и другие издания подобного типа, широко используются перебежчики и отщепенцы. Субсидируемые американской разведкой радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа» у своей кормушки собрали самых отъявленных антисоветчиков, эмигрантское отребье. Вынужденный приспособляться к условиям разрядки, «Голос Америки» по-прежнему является одним из главных рупоров антисоветской враждебной пропаганды. Штат этой организации превышает 2300 служащих, а годовой бюджет — 55 миллионов долларов. Руководитель «Голоса Америки» Кио, как сообщала «Тайм» еще в декабре 1974 года, заявил, что «Голос Америки» выделил сотни часов в своих передачах на изложение сообщений американской печати о Солженицыне. Они и до сих пор «жуют» ту же резину.

Для достижения своих целей ЦРУ не брезгует никакими средствами. Это и публикация заведомо искаженных данных о Советском Союзе и его политике, перепечатка и распространение подложных номеров газет с поставленной в них нужной для ЦРУ информацией, или издание и распространение «Атласа Китайской Народной Республики», составленного из карт, отра-

живших наглые территориальные притязания маоистов на земли своих соседей — Индии, Бирмы, Вьетнама, МНР, Советского Союза. Не останавливается ЦРУ перед фабрикацией заведомых фальшивок. Так, обозреватель газеты «Вашингтон пост» Виктор Зорза писал о так называемых «Записках Пеньковского», осужденного в Советском Союзе за шпионаж, что «книга могла быть сфабрикована только в ЦРУ». Сенатская комиссия, обследовавшая ЦРУ, обнаружила, что там расходовались деньги для того, чтобы «поставлять королям партнерш и оплачивать услуги людей с сомнительной репутацией при производстве порнографических кинолент в целях шантажа».

Но в ЦРУ пошли и дальше. На военной базе в Форт-Детрике (штат Мэриленд) американская разведка осуществляла программу разработки, производства и накопления целого ряда отравляющих веществ и ядов — как смертельного действия, так и временно выводящих людей из строя. Эти яды применялись агентами ЦРУ. Свои эксперименты «кученые» из ЦРУ проводили не только на животных. В одном из документов, переданных сенатской комиссии, говорилось, что «исследование наркотика ЛСД проводилось на людях в одном из госпиталей штата Массачусетс, в биологической лаборатории в Нью-Йорке и в «клинике» в одном из городов штата Мичиган». Известны случаи гибели людей, в результате этих преступных опытов.

Когда в ЦРУ создавался арсенал ядов, там уже созревали планы физического уничтожения политических деятелей, мешавших осуществлению планов американского империализма. Так возникла «проблема» устранения Насера, затем — Лумумбы, Фиделя Кастро. Разрабатывалось по несколько вариантов убийства с тем, чтобы само ЦРУ осталось в тени. В Чили агенты ЦРУ организовали убийство верного Республке генерала Шнейдера. Он мешал осуществлению планов фашистского переворота. «Заговоры против руководителей Доминиканской Республики, Конго, Кубы, Южного Вьетнама и Чили охватывают более чем 10-летний период и четыре президентства, — писала газета «Нью-Йорк таймс» 22 ноября 1975 года. — Их общим знаменателем было существование аморального тайного аппарата, который действовал с полного ведома высшего руководства ЦРУ».

Это лишь часть тех фактов, которые стали достоянием гласности, о которых писала американская печать. Не удивительно, что реакция честных американцев, стремящихся к миру, к улучшению американо-советских отношений, была непосредственной и бурной. «Такая деятельность ЦРУ является крайне возмутительным и непростительным злоупотреблением со стороны государства». «Я предлагаю расшифровать ЦРУ как «рак в Америке» (CIA — «Cancer in America»), который следовало бы вырезать раньше, чем он убьет нас самих».

«ЦРУ и ФБР — это угроза нашей стране. Если мы не обуздаем ЦРУ, нас перестанут уважать за рубежом. Если мы не призовем к порядку ФБР, мы утратим всякое уважение к себе дома... Что же это за страна Америка, что мы за народ, если позволяем кучке безликих спекулянтов осквернять нашу честь?!» — этой подборкой писем возмущенных, негодующих американцев и заканчивается сборник.

Разными мотивами, конечно, руководствовались те, кто приподымал завесу секретности над неблагоприятными делишками ЦРУ — одни искренне разоблачали злоупотребления и били тревогу, другие стремились к сенсации или сведению личных счетов, сказало, конечно, и соперничество разведок различных ведомств и межпартийная борьба демократов и республиканцев в преддверии предстоящих президентских выборов. Независимо от этого, обнародованные факты показывают весьма неприглядную картину «свободного мира», обнаруживают подоплеку буржуазной демократии. За бесконтрольными действиями ЦРУ обнаруживаются те тайные пружины, которые во многом направляют ход событий в «коридорах власти» в Вашингтоне. И составитель книги глубоко прав, когда он делает вывод:

«ЦРУ в том виде, как оно предстало перед миром, есть не только детище «холодной войны», оно продукт ослепленного антикоммунизмом правящего класса, вра-

щенный и вскормленный им моральный урод».

Ныне составлены объемистые тома комиссии Рокфеллера, комиссий сената и конгресса, произнесены подобающие случаю речи, руководителей ЦРУ по-отечески пожарили за «упущения», кому-то дали отставку и пенсию. Ворон ворону глаз не выклюет. И Центральное разведывательное управление занято теперь очередными делами: событиями в Ливане, где явно чувствуется его рука, разработкой спешных мер к подавлению растущего сопротивления захватчикам в Намибии и Родезии, апартеиду в ЮАР, к упрочению контактов с маоистами. «ЦРУ в последние годы, — отмечает печать, — значительно активизировала разведывательную деятельность в странах Персидского залива, которые являются не только главными поставщиками нефти, но и важным стратегическим районом для размещения военных баз США». Сюда направляется сейчас основной поток американского оружия, нарастает напряженность. Да мало ли забот у Департамента грязных дел. На Центральное разведывательное управление США уповают военно-промышленный комплекс, реакционные круги этой страны и других стран, противящиеся разрядке напряженности. ЦРУ внимает их голосу и шелесту долларов. Об этом не следует забывать.

Н. МИТРОФАНОВ.

Книги об освободительной миссии Советских Вооруженных Сил на Востоке

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ Под общей ред. и с предисловием Маршала Советского Союза А. А. Гречко. Изд. 2-е, доп. М., Политиздат, 1974. 501 с. Тираж 100 000 экз. Цена I р. 67 к.

В фундаментальном монографическом труде на базе архивных и опубликованных материалов всесторонне и глубоко раскрыта интернациональная политика Советского государства в годы второй мировой войны, показана решающая роль Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгроме фашистской Германии и империалистической Японии и в освобождении поработанных ими стран. В книге рассказывается

о военных операциях советских войск по освобождению стран Европы и Азии, оккупированных фашистской Германией и милитаристской Японией.

В одной из глав «Освобождение Северо-Восточного Китая и Кореи» — рассматриваются вопросы, связанные с военно-политической обстановкой на Дальнем Востоке в 1945 году и военными действиями СССР против милитаристской Японии.

Значительное место в книге уделено критике буржуазных фальсификаторов истории второй мировой войны, стремящихся принизить роль Советского Союза в разгроме фашистских агрессоров и японских милитаристов, в освобождении народов Европы и Азии.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ. М., «Наука», 1972. 352 с.
16 000 экз. Цена 1 р. 58 к.

Книга представляет собой сборник статей, в основу которых положены выступления советских историков на научной конференции, посвященной 30-летию со дня развязывания империалистами второй мировой войны. В статьях рассматриваются основные проблемы истории второй мировой войны, причины ее возникновения, борьба СССР за коллективную безопасность, за предотвращение войны в различных районах Европы, Азии, Дальнего Востока.

Статья Б. Г. Сапожникова посвящена роли империалистической Японии в подготовке и развязывании второй мировой войны. Статья А. С. Савина «Разгром милитаристской Японии» направлена против зарубежных фальсификаторов истории, игнорирующих значение блистательного разгрома советскими войсками Квантунской армии.

Авторы статей освещают также истинную роль США и Англии в победе над Германией и империалистической Японией.

Л. Н. Внотченко. ПОБЕДА НА ДАЛЬ-
НЕМ ВОСТОКЕ. Военно-патриотический очерк о боевых действиях советских войск в августе-сентябре 1945 года. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., Воениздат, 1971. 138 с. Тираж 40 000. Цена 1 р. 63 к.

В книге освещаются боевые действия Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота. Краснознаменной Амурской флотилии, а также войск монгольской Народно-революционной армии по освобождению от японских оккупантов в августе-сентябре 1945 года территории Маньчжурии, Северной Кореи. Южного Сахалина и Курильских островов.

В труде дается характеристика театра военных действий, а также инженерных сооружений противника, прикрывавших важнейшие операционные направления. Подробно излагаются подготовка и ход боевых действий наступающих фронтов в сложных условиях пустынно-степной и горно-таежной местности.

Героические подвиги частей и соединений, боевое мастерство солдат и офицеров, сумевших в короткий срок взломать долговременную оборону противника и разгромить его отборные части и соединения, — основное содержание книги.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. Хабаровск, Кн. изд., 1973. 152 с. Тираж 5000 экз. Цена 24 коп. Это коллективный труд, в котором приняли участие генерал-лейтенант Ф. К. Ищенко, контр-адмирал С. С. Бевз, генерал-майор И. К. Бокань, военный журналист Н. Ф. Сунгоркин и доктор исторических наук Н. А. Гоголев.

Часть книги посвящена героическому труду дальневосточников, другая, более обширная, — раскрывает их ратные подвиги. В книге приведены десятки примеров уча-

ствия дальневосточных дивизий в боях с фашистскими агрессорами под Москвой, на Волге, в битве под Курском и Орлом, в штурме Берлина.

Документально правдиво освещены и события финала войны на Дальнем Востоке — боевые действия Тихоокеанского флота, мастерство наступательных операций наших сухопутных войск, авиации, моряков Краснознаменной Амурской флотилии. Несмотря на обилие документального материала, приближающего книгу к научному исследованию, популярный стиль изложения делает ее увлекательным повествованием.

Н. Н. Яковлев. 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА. М., «Мол. гвардия», 1971. 190 с. Тираж 77 000 экз. Цена 38 коп.

В книге доктора исторических наук Н. Н. Яковлева раскрываются агрессивные замыслы японских милитаристов против СССР, прослеживается то, как в предвидении войны Японией против СССР западные державы содействовали развитию японской агрессии. Освещается ход боевых действий между Японией и США на Тихом океане в 1941—1945 годы, показано банкротство японской военной стратегии, особенно после того, как в войну вступил Советский Союз. Читатель знакомится с подвигами советских полководцев и солдат, штурмовавших укрепленные плацдармы агрессоров в Маньчжурии, Корею, на Курильских островах.

В. Королев. ГЕРОИ ВЕЛИКОГО ОКЕАНА. Очерки и докум., рассказы. Владивосток, Дальневост. кн. изд., 1972. 335 с. с ил. Тираж 25 000 экз. Цена 84 коп.

На документальной основе повествуется о подвигах 52 Героев Советского Союза — моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, удостоенных этого звания в дни войны против империалистической Японии.

Среди них прославленный разведчик дважды Герой Советского Союза В. Н. Леонов; капитан 3-го ранга Т. В. Терновский, который со своим отрядом моряков-десантников проявил исключительное мужество, и другие. Активное участие в боевых операциях Тихоокеанского флота самого автора позволило ему многое увидеть своими глазами непосредственно в бою, в боевом походе.

Н. А. Колотов. ОКЕАН В ОГНЕ. Моряки транспортного флота Дальнего Востока в Великой Отечественной войне 1941—1945 годы. Владивосток, Дальневост. кн. изд., 1972. 207 с. Тираж 20 000 экз. Цена 58 к.

Во Владивостоке на Центральной улице Ленина над бухтой Золотой Рог воздвигнут памятник. На граните высечены названия судов и фамилии членов экипажей, погибших в огне войны.

О тех, кто сражался и погиб, о тех, кто дожил до Победы и продолжает трудиться на благо родины рассказывает книга бывшего капитана, ныне преподавателя ДВВМУ Н. А. Колотова. Книга написана

на основе документов и воспоминаний участников событий.

Немало героических и трагических эпизодов найдет читатель на ее страницах: бой парохода «Ванцетти» у острова Медвежий, в котором советские моряки вышли победителями в единоборстве с вражеской подводной лодкой, подвиг команды парохода «Уэлен» у берегов Австралии, огненный рейс танкера «Азербайджан», кругосветное плавание «Белоруссии» и др. Читатель найдет также рассказ об участии моряков-дальневосточников в разгроме империалистической Японии. Они участвовали в высадке десантов в портах Корен, на Южном Сахалине, Курильских островах.

В книге помещены фотографии героев.

Н. И. Фабричный. ГЕРОИ ЗЕМЛИ САХАЛИНСКОЙ. Южно-Сахалинск, Дальневост. кн. изд., 1971. 70 с. Тираж 1000 экз. Цена 20 коп.

В разное время, в различных газетах и сборниках, в трудах военных историков рассказывалось о героях-сахалинцах. В предлагаемой книге сделана первая попытка объединить материалы как уже известные, так и новые, о шестнадцати героях Советского Союза — сахалинцах. Среди них А. Е. Буюклы, Н. А. Вилков, А. Р. Гнечко, Н. Д. Грищенко, П. И. Ильичев, В. А. Кот и другие. Автором широко использованы архивные, военно-исторические и литературные материалы. В конце дан список литературы о героях-сахалинцах.

А. Котенев. ГРОЗОВОЙ АВГУСТ. Роман. М., Воениздат, 1972. 375 с. Тираж 65 000. Цена 74 коп.

Роман Котенева отличается широтой охвата событий, рисующим разгром Квантунской армии. Автор рассказывает о боевых действиях советских войск от начала операции до ее блистательного завершения. Удачно написаны многие сцены боев с японцами, переход войск Забайкальского фронта через Большой Хинган, где каждая скала вражеской крепостью была. Диапазон событий — от штаба фронта до отделения автоматчиков. Автор стремится показать психологию советского человека на войне, создает запоминающиеся характеры героев.

Роман завершается залпами победного салюта в Порт-Артуре. «Это были последние залпы второй мировой войны».

К. Овечкин. ЧЕРЕЗ ХИНГАН. Записки военного корреспондента. Хабаровск, Кн. изд., 1974. 128 с. Тираж 15 000 экз. Цена 21 коп.

Свой рассказ Константин Овечкин начинает с февраля 1945 года. Автор по должности сотрудника дивизионной галеты часто бывал в пехотинцев, танкистов, артиллеристов. В книге живо переданы и предгрозовая обстановка последних месяцев перед войной, и впечатляющая картина бое-

вых действий войск 2-го Дальневосточного фронта в отрогах Малого Хингана в августе 1945 года.

Б. Воробьев. ПРИБОЙ У КОТОМАРИ. Героическая повесть. М., «Мол. гвардия», 1973. 144 с. (Честь. Отвага. Мужество). Тираж 100 000 экз. Цена 17 коп.

Автор посвящает свою повесть подвигу армейских разведчиков. Действие повести происходит в августе 1945 года на Курильских островах.

Р. Недосекин. БОЛЬШОЙ ХИНГАН. М., Изд-во ДОСААФ, 1973. 221 с. Тираж 100 000 экз. Цена 35 коп.

Разгром японской Квантунской армии в Маньчжурии советскими войсками в августе-сентябре 1945 года — тема книги. Она написана бывшим участником этих событий. Книга включает в себя две повести: «Большой Хинган» и «Тогда на Востоке».

Первая повествует о переходе частей Забайкальского фронта через хребты Большого Хингана. Очень реальные и точные в повести приметы военного быта, понятны и закономерны поступки каждого персонажа. Своеобразен главный герой Андрей Кречетников, в прошлом шахтер-подrywник.

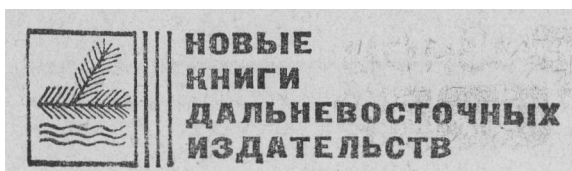
Герой второй повести «Тогда на Востоке» попадает на Дальний Восток в 1943 году. Ему пришлось служить здесь на границе в грозные годы Великой Отечественной войны. И настало время, когда части 1-й Краснознаменной армии начали решительное наступление в Маньчжурии. Дождались своего часа Григорий Ширай и его друзья.

АВГУСТОВСКИЕ ГРОЗЫ. Советские писатели о победе на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Хабаровск, Кн. изд., 1975. 560 с. Тираж 15 000 экз. Цена 1 р. 60 к.

Сборник художественной прозы рассказывает о завершающем этапе Великой Отечественной войны, когда советские воины, не щадя себя, освобождали народы Китая и Кореи от японского империализма. Книга включает в себя отдельные произведения, фрагменты из повестей и очерки писателей и бывших военных корреспондентов: Г. Маркова, А. Грачева, В. Воробьева, К. Овечкина, Р. Недосекина, Н. Занина и других.

Правдиво и глубоко рисуют они картины сражений на полях Маньчжурии и в Корее, на Курилах и Сахалине. Тяжелые фронтовые будни и героические подвиги воинов-дальневосточников оживают на страницах книги для тех, кто был участником и современником описываемых событий, они воскресают в памяти легендарные дни, а молодежи расскажут о ратном подвиге советских солдат, которых никогда не забудет Родина.

**Э. ОСИПОВА,
Л. ЦИНОВСКАЯ.**



ХАБАРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГВАРДИЯ ПЯТИЛЕТКИ. (Хабаровский край, 1976). Выпуск шестой. Очерки. Сост. В. В. Сукачев. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 144 с. Тираж 3000 экз. Цена 20 коп.

Очередной шестой выпуск очерков рассказывает о гвардейцах труда Хабаровского края — о людях, идущих впереди на самых различных объектах народнохозяйственного строительства, добившихся высоких показателей в соревновании за досрочное выполнение личных и коллективных заданий девятой пятилетки. Передовики социалистического соревнования, маяки производства — герои очерков дальневосточных журналистов.

Н. Дубинина. ТЫ ПОЗОВИ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК! Хетагуровское движение девушек-патриотов 1937—1939 годы. Исторический очерк. Хабаровск, Кн. изд., 1976. Тираж 5000 экз. Цена 35 коп.

В своем очерке Н. И. Дубинина, кандидат исторических наук, исследует патриотическое движение советской молодежи, в том числе девушек, устремившихся по призыву комсомолки В. С. Хетагуровой в конце 30-х годов в Дальневосточный край для быстрого освоения его природных богатств, всемерного экономического и культурного развития, укрепления обороноспособности. Исследователь основывается на тщательном изучении архивных материалов, использует воспоминания, собранные в партийном архиве Хабаровского крайкома КПСС, дает социально-общественную характеристику этому движению.

В. Аникеев. МОСТ. Документальная повесть. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 256 с. («Адрес подвига — Дальний Восток»), Тираж 10 000 экз. Цена 63 коп.

Документальная повесть журналиста Владислава Аникеева «Мост» выходит в серии, адресованной молодым первопроходцам Дальнего Востока, строителям БАМа и других новостроек края, и посвящена всем, кто своими руками создавал второй на великой дальневосточной реке мост у

города Комсомольска-на-Амуре, всем, кто причастен к этому строительству, — изыскателям, проектировщикам, ученым, металлургам, транспортникам и мостостроителям.

И. Еремин СЕРДЦЕВИНА. Стихи и поэма. Благовещенск, Амурское отд. Хабаровского кн. изд., 1976. 80 с. Тираж 5000 экз. Цена 35 коп.

«Сердцевина» — третий сборник поэта, члена Союза писателей СССР Игоря Еремينا. В книжку включены новые стихи и поэма «Солдатка», в которых автор продолжает взятое ранее направление: заботы и радости, волнения и тревоги нашего современника — труженика, борца за все светлое в жизни. Глубокий лиризм и гражданская страстность — отличительные черты стихов Игоря Еремينا.

В. Ефименко. МАНЬЧЖУРСКИЙ АВГУСТ. Повести. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 432 с. Тираж 30 000 экз. Цена 82 коп.

В книгу вошли две повести В. М. Ефименко — «Маньчжурский август» и «Интервью». Первая повесть о победе Советской Армии над империалистической Японией в августе 1945 года. Главные ее герои — солдаты и офицеры громкоговорящей установки, предназначенной для пропаганды в войсках противника. Действие второй повести происходит в наши дни, в ней поднимаются морально-этические проблемы, утверждается советский образ жизни.

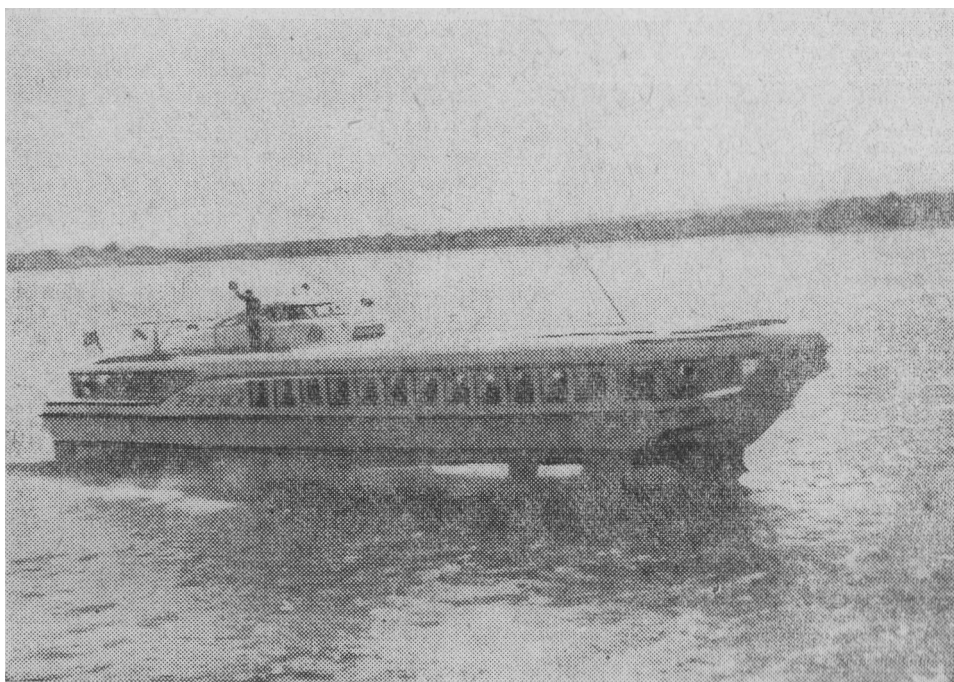
НЕКРАСОВКА: ПТИЦЕФАБРИКА, СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМБИНАТ. Из биографии строительства первого животноводческого комплекса в Хабаровском крае. Сост. А. С. Сутурин. 104 с. («Экономическая библиотечка дальневосточника»). Тираж 3000 экз. Цена 16 коп.

В брошюре обобщается опыт ударного строительства в селах Хабаровского края. Ее авторы — руководители предприятий и строки, студенческих отрядов, бригад, рабочие, секретари партийных организаций, принимавшие участие в сооружении Некрасовской птицефабрики и Хабаровского свиноводческого комбината.

А. ЕВГРАФОВ.



Флот Зейского моря



В начале июня вверх по Амуру ушел грузовой теплоход «Сихотэ-Алинь». Его экипаж увел из Хабаровска в Благовещенск плавамагизин «ПМ-1» и две новые баржи «МП-201» и «МП-203», которые речники-судостроители собрали для транспортировки грузов в адрес строителей Байкало-Амурской магистрали. На палубе одной из них на специальных ступень-санях отправилась в далекое путешествие крылатая «Ракета-220». Сейчас хабаровский скороход трудится на Зейском водохранилище. Экипаж «Ракеты-220» во главе с капитаном В. В. Шаровым открыл новую скоростную пассажирскую линию Зея — Хвойный для обслуживания строителей новой Транссибирской магистрали. Если ранее на этом участке ходили мелкосидящие глиссирующие пассажир-

ские «Зори», то сейчас когда Зейское водохранилище заполняется водой, эти хоть и быстрые, но недостаточно прочные суденышки работать уже не могут.

По рукотворному водохранилищу водят плоты новые буксиры-толкачи мощностью 235 сил. Их создали для плавания судостроители волжского города Рыбинска, а собрали рабочие Свободненского завода. Первое судно из этой серии речники назвали «БАМ». Носят имена станций магистрали века, новых рабочих поселков и опорных пунктов строителей и другие суда этой серии «Зейск», «Хвойный», «Береговой», «Снежногорск».

Судоходство по рукотворному морю и в верховьях Зеи важно сейчас тем, что водным путем идут важнейшие грузы для

строителей Байкало-Амурской магистрали. Поэтому флот на Зее будет пополняться судами новых типов. Так, в его составе уже к концу 1976 года появится пассажирский теплоход нового типа «Восход». Этот скороход сможет работать в озерных условиях и будет отличаться лучшими, чем у «Ракет», мореходными качествами благодаря применению новой крыльевой системы.

Появятся на Зее 100-тонные нефтеналивные баржи, а также сухогрузные баржи грузоподъемностью 200 тонн. К их сборке уже приступили амурские судостроители.

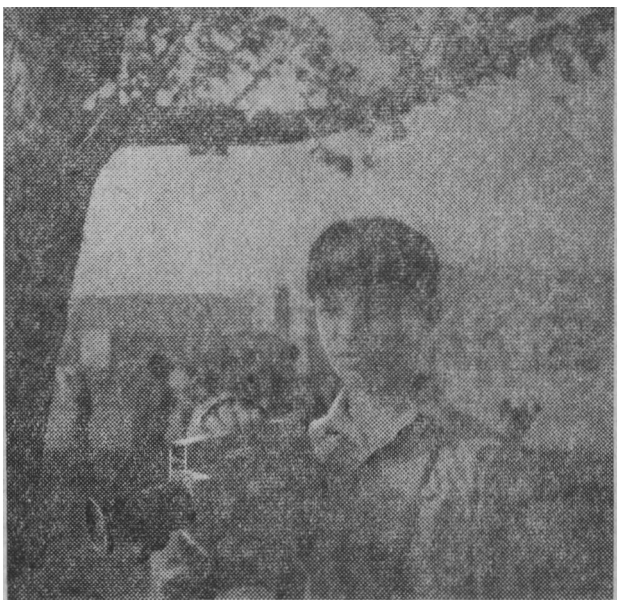
А. ТРОШИН,
инженер Амурского
речного пароходства.
Фото автора
«Тихоокеанская звезда».

Арсень- евская кино- студия

В любительской киностудии при Доме пионеров города Арсеньева удивляешься прежде всего количеству ее участников — за пятьдесят перевалило число активистов. Все они освоили специальность кинодемонстраторов и получили удостоверения, проводили кинопаузы, а также любительские кинофестивали в родном городе.

Душой студии, ее руководителями являются супруги Петровы — Нина Михайловна и Анатолий Саввич.

Петровы и их питомцы на каждом краевом фестивале любительских фильмов показывают свежие картины. И всегда их работы получают призы. Так, на недавнем втором краевом туре Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся студия получила диплом за публицистический фильм «Берегите лотосы!» Кстати, тема природы стала для студии одной из ведущих. Например, ребята сняли ленты: «По родному краю», «Защищайте тигров!», «Даубихинская долина», «Совхоз «Женьшень».



Успешной работе студии способствует то, что занятия в ней ведутся по программе народных киноуниверситетов, с привлечением опытных режиссеров, операторов, киноведов, краеведов, работников кинотеатров. Особенно запомнятся ребятам занятия прямо в тайге — на съемочных площадках фильма «Дерсу Узала», золотого призера Московского международного кинофестиваля, где они увидели работу Акиры Куросавы и акте-

ров Максима Мунзука и Юрия Соломина.

Студия носит имя В. К. Арсеньева и старается оправдать это дальними походами, горячим стремлением передать увиденную красоту людям и приобщить их к ней. Видимо, за то и любят студийцы своих руководителей-методистов, что они передают им свою арсеньевскую жилку. Глазами Арсеньева видят их питомцы родную тайгу.

Вл. СВИРИДОВ.

Юбилей ученого



Из поколения в поколение передают нанайцы легенды, сказки, бытовые зарисовки. Что-то из этого наследия народного бесследно утрачено, другое претерпело значительные изменения. Но многие устные предания сохранили до наших дней свою первозданную свежесть, колоритность языка, яркость таланта рассказчика. Долгое время они не были известны широкому кругу читателей, пока не появился исследователь, который не только отыскал этот дар народа, но и впервые опубликовал.

Имя этнографа Юрия Александровича Сема широко известно научной общественности Дальнего Востока и Сибири. И это не удивительно: из 35 лет своей трудовой деятельности 23 года он отдал служению этнографической науке в нашем регионе.

Впервые, еще студентом Восточного факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, Ю. А. Сем приезжает на Амур на полевую практику и в 1951 году. На следующий год он участвует в работе Ангарской и Улан-Удэнской археологических экспедициях под руководством А. П. Окладникова.

В 1954 году Юрия Александровича приглашают в Дальневосточный филиал АН СССР имени академика В. Л. Комарова, где он стал заниматься

этнографией и особенно изучением самой многочисленной народности юга Дальнего Востока СССР - нанайцев. Прошлому этого народа посвящена и его кандидатская диссертация «Родовая организация нанайцев, XVII в. — 1917 г.»

Уже более десяти лет Ю. А. Сем возглавляет в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР сектор этнографии и антропологии. Сотрудники сектора изучают культуру, быт, социальную психологию тунгусо-манчжурского и палеоазиатского населения восточных районов СССР, особое внимание уделяя анализу исторического опыта развития малых народов советского Дальнего Востока.

Широкий научный диапазон Юрия Александровича. К 50-летию им опубликовано 104 научные работы — среди них монография «Нанайцы. Материальная культура. (Вторая половина XIX — середина XX вв.). Этнографические очерки». Скоро выйдет из печати книга о Л. И. Шренке в серии «Научная биография». В портфеле у автора — монографии о тазах, Палладине Кафарове, Н. М. Пржевальском, публика-

ции о В. К. Арсеньеве, научные задумки на многие годы творческой деятельности. Есть у Юрия Александровича и работы, вышедшие за рубежом. В 1967 г. вместе с профессором И. И. Брехманом им опубликована в трудах Калифорнийского университета (США) статья «Этнофармакологическое исследование некоторых психоактивных средств малых народов Сибири и Дальнего Востока». На 14 языках народов Европы, Азии и Африки издана записанная и обработанная им нанайская сказка «Мэрген и его друзья». Есть у него работы и о географических исследованиях и открытиях. Круг интересов Юрия Александровича Сема распространяется и на область фольклора, ономастики и топонимики. В секторе подготовлена уникальная картотека топонимов Дальнего Востока, насчитывающая более 70 тысяч названий, подготавливается большая библиография «История и культура народов Дальнего Востока», состоящая из 250 тысяч названий работ на русском и зарубежных языках.

А. МАНДРИК,
ученый секретарь института.

Папоротник на экспорт

На экспорт в Японию отправил 77 тонн папоротника-корляка коллектив госпромпхоза «Анивский», перевыполнивший план на 12 тонн. Сбор папоротника с каждым годом увеличивается: в прошлый сезон его было отправлено 35 тонн.

Наши островные соседи со следующего года

просят наладить также сбор и отправку еще одного деликатеса — молодых побегов лопуха-белокорытника. Сейчас изучается его сырьевая база и технология заготовки.

«Советский Сахалин».



НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ

В ежегодных экспедициях по Сахалину и Амуру мы собираем традиционные искусные поделки нанайцев, ульчей, удгейцев, нивхов, ороков эвенков.

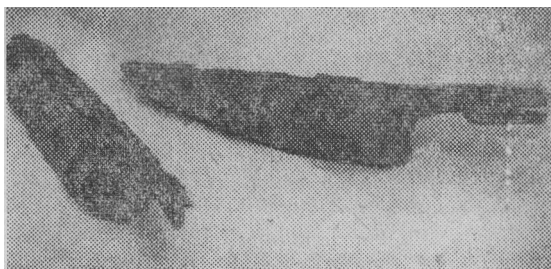
Особенно хотелось отметить умение мастеров-художников изготавливать детские игрушки. Прекрасно сработанные из дерева медведи, собаки, утки. Точность пропорций, строгость силуэта отличают эти изделия.

Девочки-северянки любили играть с куклами, которые изготавливались из бумаги, бересты, дерева и даже металла. Не угасли художественные традиции прошлого. И сегодня на халине и Нижнем Амуре народные умельцы создают замечательные игрушки, в которых и опыт поколений, и мудрость многовековых художественных традиций.

Са-

Нивхскую куклу, которую видите на фотографии, изготовила восьмидесятилетняя бабушка Вакзук из села Ноглики. Она хорошо знает традиции своих предков в изготовлении народных игрушек. На кукле меховые торбаса, национальный халат и головной убор. По подолу на фоне темно-синей полосы нашиты медные подвески. Интересно, что наряд куклы в миниатюре повторяет одежду взрослых. Для кукол нивхские, нанайские и ульчские мастерицы изготавливали подстилки из бумаги и бересты. Они представляют собой орнаментальные кружево.

Игрушки народных мастеров представителей малых народностей Дальнего Востока, радуют



глаз яркой образностью, строгостью цветового решения и мягким юмором. В последнее время идет процесс возрождения этого древнего вида тради-

ционных художественных промыслов.

П. ГОНТМАХЕР.
Фото автора.



Утро в Южно- Сахалинске

Город смывается

Фото В. Журавлева.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Уже пролегли по Восточному участку БАМа сотни километров железнодорожных путей, завершается строительство Зейской ГЭС, горняки, строители, хлеборобы, рыбаки Дальнего Востока самоотверженным трудом выполняют решения XXV съезда КПСС. О наших современниках, преобразующих дальневосточную землю, расскажет наш журнал в 1977 году.

В журнале будут опубликованы новые произведения прозаиков и поэтов Дальнего Востока. Журнал расскажет об истории края, об его необычной природе и богатствах.

В 1977 году редакция намерена предложить читателям следующие произведения:

Георгий ХАЛИЛЕЦКИЙ — «Океанский проспект», роман о наших современниках, строителях городов, морях Тихоокеанского флота.

Павел ХАЛОВ — «Тяжелая бригада», роман о сильных, страстных людях, строителях и водителях на дальних рейсах.

Василий НИКОНОВ — «Шилка», роман, посвященный труду и судьбам корабелов, строителей речных судов.

Николай ЗАДОРНОВ — «Хеда», исторический роман.

Роман ШОЙХЕТ — «Земля», повесть, рассказывающая о судьбе переселенцев на целинные приамурские земли.

Редакция готовит к печати также рукописи новых произведений:

В. Александровский — «Теплый дождь», повесть; Е. Гриценко — «Окно в соседнем доме», повесть; А. Максимов — «Открытые двери», повесть; А. Мишкин — «Облака на рассвете», повесть; Ю. Пшонкин — «На Камчатке березы каменные», повесть; Р. Райгородецкий — «Делай, как я», повесть; Н. Рогаль — «Пятое апреля», роман; В. Руссков — «Амурский бульвар», роман; В. Сукачев — «Военная», повесть; В. Христофоров — «Деньги за путину», повесть.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ПРИНИМАЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНО В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На год — 6 руб.

На 6 месяцев — 3 руб.

На 3 месяца — 1 руб. 50 коп.

50 коп.

ИНДЕКС
73103